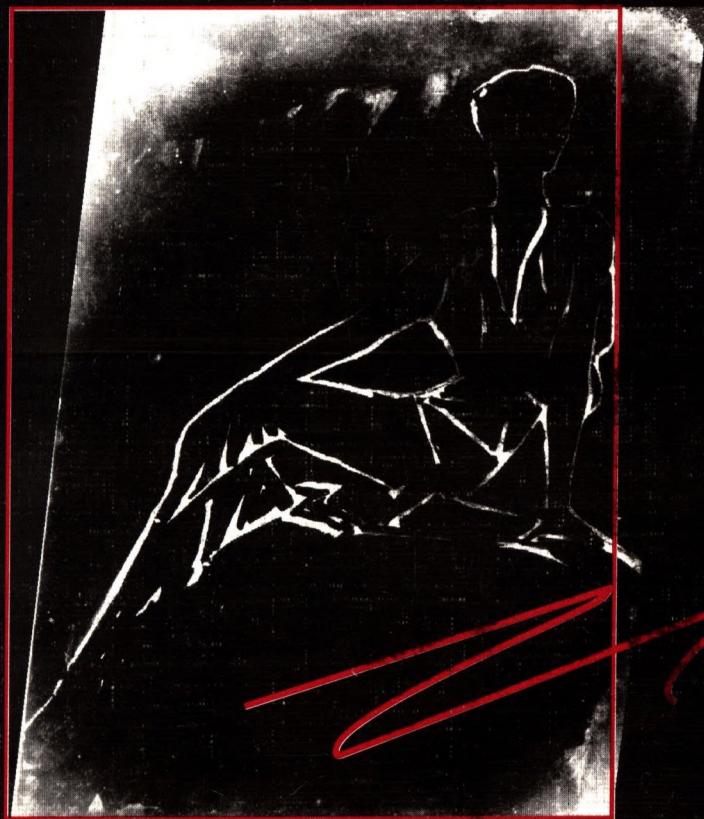


РАСПЯТЫЕ



РАСПЯТЫЕ

Писатели —
жертвы
политических
репрессий

АВТОР — СОСТАВИТЕЛЬ
Захар Дичаров

ВЫПУСК 6
СЛОВО, ВЗЯТОЕ В ЦЕПИ



Издательство
Русско — Балтийский информационный центр
БЛИЦ
Санкт — Петербург
2000

*Настоящее издание осуществлено
при поддержке Законодательного собрания
города Санкт-Петербурга*

Петербургского писателя Захара Дичарова Американский библиографический институт назвал “человеком года”. Его имя внесено в международные энциклопедические справочники “Европа-500” и “Кто есть кто — год 2000-й”, включающие фамилии людей, добившихся выдающихся результатов в профессиональной области, в том числе — литературе. Прозанк, публицист, историк литературы, автор двух десятков книг З.Дичаров — создатель книжной серии “Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий”.

“Известия” № 213 от 11 ноября 2000 г.

Книга “Слово, взятое в цепи”, которая завершает собой серию “Распятые. Писатели—жертвы политических репрессий” посвящена незаконным и насильственным действиям партийной и государственной цензуры в советский период.

Многие талантливые произведения русской литературы оказались погребенными в архивах НКВД—КГБ, в толстых папках чиновников партийной и государственной политической структуры. Дорогие для нас имена многие годы были запрещены: Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Николай Заболоцкий, Анна Ахматова, Михаил Зощенко и десятки других. Помещая здесь документы, на которых ранее значились строгие грифы “Совершенно секретно” или “Секретно”, мы знакомим читателя с тем, что не так давно было тайной, с теми, кто клялся эту тайну хранить.

Слово, взятое в цепи, ныне получило свободу.

ISBN 5-86789-127-5

© Коллектив авторов, 2000
© З.Л. Дичаров. составление, подбор
иллюстраций, 2000
© Издательство “Русско-Балтийский
информационный центр БЛИЦ”, 2000

Что войны, что чума? — конец им виден скорый,
Их приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?

Анна АХМАТОВА

Мы продолжаем в книге 6-й печальный мартиролог, — повествование о трагических судьбах литераторов; это и о них было сказано:

«...Во время террора 30-х годов тысячи и тысячи верных партийцев и простых советских граждан будут обвинены как тайные враги народа, чтобы Джугашвили мог доказать себе и России, что он — действительно Сталин».

Роберт ТАКЕР. Сталин. Путь к власти

СЛОВО, ВЗЯТОЕ В ЦЕПИ

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это — Бог.

Ник. Гумилев

С л о в о... Это о нем Даль, великий русский лексикограф, сказал:
«Живым словом — победить!»

Но во все века российского самодержавия ж и в о е слово находилось под гнетом цензуры. Под строгим запретом.

Миновал Октябрь 1917 года. Стало ли с л о в о полнокровной плотью речи, печати, книги; сутью человеческого познания?.. Нет. Три четверти столетия государство пребывало в оковах чрезвычайных мер, несовместимых с правовыми основами.

Свобода слова и печати по существу оказалась в н е истинного, основанного на праве закона. И хотя Конституция, принятая 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов, и все последующие конституции, так же как и Конституция 1936 года, провозглашали свободу слова и печати, собраний и митингов, демонстраций и уличных шествий, — все это оставалось пустой декларацией.

Вот что в связи с этим говорит поэтесса Зинаида Гиппиус в своей книге «Живые лица»: «...весной восемнадцатого года они (правительство. — З.Д.) лишь целились запретить всю печать, но еще не решались... Антибольшевистская интеллигенция... собиралась бороться с большевиками “словом”... Что его просто-напросто уничтожат, она вообразить не могла».

Но — печать как таковая не была запрещена, а тем, кто давал ей оценку, как выразителю той или иной идеологии, сделался — как ни удивительно — один из видных современных поэтов Валерий Брюсов.

«Поэт Валерий Брюсов — с восемнадцатого, кажется, года — коммунист. Мало того, он сразу же пошел в большую цензурную комис-

сию... Заявил себя цензором строгим, беспощадным, суровым», — пишет Зинаида Гиппиус. И в другом месте продолжает: «...Не успели уничтожить печать, как Брюсов сел в цензоры — следить, хорошо ли она уничтожена, не проползет ли в большевистскую какая-нибудь неудобная большевикам контрабанда».

Начальник Главлита Сергей Ингулов, занимавший этот пост в 1935–1937 годах и попытавшийся хотя бы в малейшей степени смягчить цензурный произвол, был снят с работы, исключен из партии, арестован. Расстрелян.

То была не имеющая примеров система партийно-государственного контроля.

Учреждения с короткими, как удар топора, названиями — «Главлит», «Главрепертком», «Главискусство» — определяли не только культурную политику огромной страны, но также и судьбы писателей, журналистов, деятелей искусства. И вместе с тем судьбы и мысль читателей. Зрителей. Слушателей.

Именно они, эти Г л а в к и, должны были формировать вкусы и взгляды, идеологию народа так, как предписывали Программы ВКП(б) и КПСС, как приказывали обязательные постановления партийных органов.

Ничто не ускользало от взора бдительных контролеров и запретителей.

Вся сфера духовной жизни общества: литература и кино, классическая музыка и цирк, фонды библиотек и школьные программы, — всё это подвергалось всеобщей и безусловной цензуре.

Правда, еще в начале 20-х годов, на основании статьи 14 Конституции РСФСР, складывалось убеждение в необходимости освободить прессу от предварительной политической цензуры, но оно не сделалось практикой. Дело дальше проекта не пошло.

Ложь и двойная бухгалтерия стали господствующими принципами в отношении государства к печатному слову. Пропаганда на весь мир провозглашала: «В свободном социалистическом государстве — цензура не существует». Но фальшивые эти вывески маскировали черную истину.

Еще в 1926 году по приказу Главлита вместо термина «цензура» велено было употреблять: «Окрлит», «Улит», «Гублит», «Обллит». Дескать, не цензура это, а так себе — органы контроля...

И уже тогда, в двадцатые годы, цензура чувствовала себя куда как вольготно. Она — властвовала и царствовала. Даже Анатолий Луначарский, нарком просвещения, человек близкий к Ленину, открыто называл цензуру не иначе как «Держиморда, который только и знает удовольствие куражиться, самодурствовать, тащить и не пущать». Он уже тогда реально предвидел ту пору, когда сильная пролетарская власть превратится в «полицейшину и аракеевщину».

Советская литература ступила на тропу трагического истязания еще задолго до шквала сталинских репрессий; на пути свободной информации встал железный щит.

Большие и малые «Литы» — работали вовсю. Под откос истории летели плоды многолетнего труда, лишённые права на жизнь. И невольно возникает вопрос: какова же была судьба всех тех рукописей, уже подготовленных корректур, гранок, которым было отказано в праве на публикацию; запрещённых к изданию?..

На это отвечает некий краткий и выразительный документ.

5 января 1927 года в Ленинградский Гублит поступает следующее распоряжение: «Гранки и тексты рукописей к сдаче в Центроархив не подлежат. Их следует **уничтожить** как секретный материал, утративший значение. Зав. Общим отделом Главлита. Ревельский».

1 декабря 1934 года. Убийство Сергея Мироновича Кирова. Тайный и страшный сигнал к началу сталинских репрессий. Цензура страны Советов уподобилась опричнине царя Ивана Грозного. Та привязывала к седлам собачьи головы и метлы («грызем врагов царевых, яко псы лютые. Выметаем начисто дух ихний, нечистый...»). Опричники Ягоды, Ежова, Берии навешивали на писателей, на их творчество ярлыки «врагов народа». Чуть ли не с первых дней революции началась блестящая охота на инакомыслящих.

И во все эти трагически памятные годы Главлит и прочие «Г л а в к и от идеологии», демонстрировали свое яростное рвение — быть архикристалльным ведомством, которое усерднее, преданней, нежели кто-либо, лижет пятки партийно-советской бюрократии в ее борьбе с «вражеской идеологией».

Политический контроль за «опасными мыслями», точно ржавчина, разъедал общество, пытаясь сделать его примитивномыслящим, интеллектуально тупым. Что же происходило с этим обществом в результате многолетнего постоянного давления на творческий процесс, на интеллект — при ограничении самых простых гражданских свобод?..

Люди уходили в себя. Создавалось страшное для общества п о д п о л ь е м ы с л и. Это было едва ли не единственным универсальным средством для выживания интеллигенции. И это рождало в сознании людей мыслящих неизбежное стремление ко лжи во всем, начиная от простейшей политики и кончая социальной философией.

Припоминается один эпизод.

Как-то встретился я на Невском с Михаилом Дудиным — это было где-то за год до его кончины. Разговор был такой. «проходной», о разном. Михаил Александрович, как всегда, был шутлив, слегка ироничен, но поразила в его тоне какая-то подавленность, старание упрятать ее...

И вот теперь, спустя годы после его ухода из жизни, встретилось его стихотворение тех лет. Оно поразило несвойственной автору глубокой печалью.

Измаялась душа, устало тело
У песни на последнем рубеже.
Мечта сгорела, радость отболела,
И жизнь давно прохлопана уже.

Итог ёе невыносимо тяжек
Означился на пройденном пути.
И — Бог молчит, и новый вождь не скажет
Уверенно, куда теперь идти.

Со временем и совестью в разладе,
Мир рушится, куда ни погляди.
Знамена славы отшумели сзади,
И сумрачно и глухо впереди.

В самой тоске безжалостных сомнений
Кто приберет грядущее к рукам?
Что скажет завтра деспот или гений
Моей земле, народам и векам?

Что ляжет завтра на судьбу народа,
На кровь и боль непоправимых зол —
Иль разума высокая свобода,
Или самоуправства произвол?..

1975

Михаил Дудин, — великий жизнелюб, смело и бодро смотревший в будущее, — что побудило его начертать эти грустные, исполненные душевной усталости строки? Та жизнь, что кружилась и рушилась рядом с ним и около него?..

Неведомо.

Но сегодня эти его стихи — к месту.

Когда говорим о «С.ЛОВЕ», что было взято в цепи, строки эти с такой жгучей силой выражают чувства поэта: нет настоящей свободы для слов, которые рвутся из души, нет боли вольной, что приносит народу радость. Почему? Цензура?.. Нет. Само бытие, что угасило состояние глубокой внутренней свободы, настолько всё вокруг изломано, сокрушено. Изуродовано.

О гласности, о вольной печати, о возможности свободно декларировать свои мысли мечтали в Российской империи задолго до октября 1917-го. Устав Северного общества де-



Михаил Дудин

кабристов гласил: «По установлении в России республики — утверждается свободное тиснение и уничтожение цензуры».

«— Граждане российские! Может ли быть вольность политическая там, где нет простой человеческой вольности?..» — восклицает в пьесе Мережковского «Павел Первый» декабрист Мордвинов.

Но вот свершилась Великая Октябрьская, а почти столетие спустя, однако, на прессу, на печать, по-прежнему надеты, как намордник, запрещающие циркуляры обо всех явлениях советской жизни, которые хотя бы в малейшей степени могут изобразить ее в мрачных тонах и дать этим пищу для враждебной иноземной печати.

«ЦИРКУЛЯР ГЛАВЛИТА
О ЗАПРЕТЕ ПУБЛИКАЦИИ
СВЕДЕНИЙ
О САМОУБИЙСТВАХ
И УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВАХ
23 апреля 1925 г.

СЕКРЕТНО

ЦИРКУЛЯРНО

Всем Гублитам и Политредакторам Главлита

Главлит предлагает не допускать помещения в печати сообщений о самоубийствах и о случаях умопомешательства на почве безработицы и голода.

За Заведующего Главлитом В.Мордвишкин

Завед. Админ. Контр. Отделом
Ревельский

Весьма красноречивая деталь к утверждению «социалистического сознания».

Понадобилось почти шестьдесят лет, чтобы появился закон, запрещающий всякую цензуру...

А до того как свершилось это событие, гильотина цензуры непрерывно секла и отсекала каждое с л о в о, если оно несло в себе идеи свободы. Их было много, тех, кто стал жертвой «усекновения мысли»: Николай Бердяев и Борис Зайцев, Анна Ахматова и Михаил Зощенко, Борис Пильняк и Борис Пастернак, Александр Твардовский и Василий Гроссман, Михаил Булгаков и Андрей Платонов, Николай Гумилев и Виктор Некрасов, Юрий Трифонов и Осип Мандельштам...

И другие — «Несть бо им числа».

Долгая-долгая эпоха, когда творческий процесс, словно сквозь строй, проходил через этапы сопротивления идеологическому, нравственному гнету со стороны всемогущей, всевластной партийной бюрократии. Вересаев писал: «Мы не можем быть самими собой, нашу художественную совесть все время насилуют, наше творчество всё больше становится двухэтажным: одно мы пишем для себя, другое для печати».

И созвучно этому — сказанное Борисом Пастернаком: «Культурную революцию мы не переживаем, мне кажется, мы переживаем культурную реакцию... Философия тиража сотрудничает с философией допустимости. Они охватили весь горизонт. Мне нечего делать...» Писатель уже подчинен не себе, а только — страху, и недаром в году 1937 он же пишет в одном из писем: «Когда-нибудь я опять буду принадлежать себе. Своему уху и глазу, вкусу и убеждению». Когда-нибудь...

Да, это было так. Были те, кто пресмыкался перед властью. И были те, кто знали: власть не потерпит правды и, значит, надо с нею бороться всеми средствами. Этапами борьбы против хлыста цензуры было многое: это и эзопов язык, это и публикации в зарубежной прессе, это — «тамиздат» и «самиздат». Как ни старалась стоящая на страже партийных кодексов цензура сжимать в своих змеиных объятиях процессы духовного дыхания общества, — наиболее прогрессивная его часть не смирялась перед насилием.

Протестная мысль, протестная песня находили себе место вне казенной культуры. Тюремно-лагерная песня звучала не только за колючей проволокой, она гуляла по молодежным аудиториям и студенческим общежитиям, вырывалась на свободу, записанная на магнитофонную пленку.

Понимал ли Сталин и его окружение, что Слово нельзя арестовать, посадить за решетку? Расстрелять?.. Да, они понимали и потому-то так жестоко расправлялись с теми, кто были его творцами и носителями. Спустя годы после XX и XXII съездов КПСС, когда культ Сталина рухнул, Никита Хрущев в своих воспоминаниях, обращаясь к прошлому и касаясь роли Жданова в известном постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград», писал: «...Нельзя палкой, окриком регулировать развитие литературы, искусства, культуры. Нельзя проложить какую-то борозду и загнать в эту борозду всех, чтобы они шли, не отклоняясь от проложенной прямой».

Это было позднее прозрение и запоздавшее раскаяние. Даже смерть «Отца народов» еще ничего не изменила.

В одном из разговоров с Борисом Эйхенбаумом Анатолий Маренгоф сказал:

«— Сегодня; то есть 9 февраля 1957 года, в с е мои пьесы запрещены.

— Сколько их?

— Больше девяти. Юношеские не в счет, очень плохие — тоже. Одни запрещают накануне первой репетиции, другие накануне премьеры, третьи — после нее, четвертые — после сотого спектакля («Люди и свиньи»), пятые — после двухсотого («Золотой обруч»).

За право писать, не подвергаясь политическому насилию, цензорскому и редакторскому произволу, литераторы боролись как могли,

кто-то печатался в «тамиздате» или «самиздате», но чаще всего поток писательских жалоб устремлялся в Москву. К тем, кто стоял на самой вершине власти. Примеров было много. Архив сохранил один из них.

«ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ М.Е.ЛЕВИТИНА
ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР А.И.МИКОЯНУ
О ЗАПРЕТЕ ЛЕНОБЛЛИТОМ ПУБЛИКАЦИИ
ЕГО КНИГИ “ДЕЛО О СОСУЛЬКЕ”
[июнь 1957 г.]

УВАЖАЕМЫЙ АНАСТАС ИВАНОВИЧ!

Я обращаюсь к Вам в самое тяжелое для меня время и не только как к члену Президиума нашего Ленинского Центрального Комитета, но и как к человеку, к которому особенно близко лежит мое сердце. Я — коммунист, писатель, всю жизнь старающийся своим трудом, в меру своего таланта, служить своему народу. Но вот теперь, когда и по возрасту я далеко не молод и недавно перенес тяжелейшее сердечно-сосудистое заболевание, именно теперь на меня обрушилось тяжелее всех болезней горе. Ленинградский Горлит не дал разрешение Лениздату печатать мою книгу сатирических рассказов “Дело о сосульке”.

Книга моя содержит целый ряд ранее напечатанных произведений и открывается сатирической повестью “Дело о сосульке, или Пятнадцать галочек”. Повесть эта направлена против всяческих бюрократических ухищрений и показывает галерею портретов волокитчиков, взяточдателей и формалистов. Повесть, повторяю, сатирическая и написана в плане обычных и всегда неизбежных для этого жанра — гиперболы и гротеска. Рассказывая в ней о некоем “Главнокрышпотолке”, я, понятно, сгустил краски, без чего, как Вы знаете, немыслима никакая сатира...»

* «ПОМЕТА: Главлит, т. Романову. Прошу рассмотреть, есть ли основание у Ленгорлита вмешиваться в издание повести т. Левитина. Микоян. — 57 г.»

А — результат?..

Книга света не увидела. И это не удивительно.

Однако время жалоб шло на убыль.

1 декабря 1956 года Отдел культуры ЦК КПСС подал в руководство «Записку о некоторых вопросах современной литературы и о фактах неправильных настроений среди части писателей».

В обширном документе подвергнут в духе критического неприятия

* Этот рассказ мы воскрешаем на страницах нашей книги.

среди других и рассказ писателя Даниила Гранина «Собственное мнение», опубликованный в «Новом мире», № 8. 1956 г.* Эта записка показала: время молчания, время, когда уста литераторов были плотно сомкнуты — минуло.

«Записка» раздраженно информирует: писатель Константин Паустовский заявил по поводу романа Дудинцева «Не хлебом единым»: «...роман зовет на бой против чиновников, которые захватили управление всей нашей жизнью и душат всё честное, смелое и творческое... У нас в стране безнаказанно существует и даже в некоторой степени процветает... племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего с революцией, ни с нашим строем, ни с социализмом. Это циники и мракобесы... Это маклаки и душителы талантов».

Резко. Правдиво. Откровенно.

Но на то и «власть над умами», чтобы показать — к т о в культуре, в идеологии хозяин. Для острастки тех из литераторов, которые вздумали возглашать слово протеста и осуждения. Кнут. И кнут — вот он:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС
«О КЛЕВЕТНИЧЕСКОМ
РОМАНЕ Б. ПАСТЕРНАКА»

СТРОГО СЕКРЕТНО

П № 188/ХЛП
23 октября 1958 г.

1. Признать, что присуждение Нобелевской премии роману Пастернака, в котором клеветнически изображается Октябрьская социалистическая революция, советский народ, совершивший эту революцию, и строительство социализма в СССР, является враждебным по отношению к нашей стране актом и орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны.

2. Опубликовать в журнале «Новый мир» и в «Литературной газете» письмо редакции журнала «Новый мир», направленное Пастернаку в сентябре 1956 года.

3. Подготовить и опубликовать в «Правде» фельетон, в котором дать резкую оценку самого романа Пастернака, а также раскрыть смысл той враждебной камлании, которую ведет буржуазная печать в связи с присуждением Пастернаку Нобелевской премии.

4. Организовать и опубликовать выступление виднейших советских писателей, в котором оценить присуждение премии Пастернаку как стремление разжечь холодную войну.

Секретарь ЦК

АП РФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 269. Л. 8. — Подлинник.

Опубл.: Источник., 1993., 1993. № 4. С. 104.

Не будем повторяться: это постановление вызывало во всем мире широкий отклик. Пример того, как в социалистическом государстве берут за горло и душат известного писателя, его творчество — оказалось острейшим и поразительным. Но такой шаг партийных боссов и не мог быть иным. «Глаза и уши государевы» щедро и неустанно питали апартаменты на Старой площади «особой» информацией.

В «ЗАПИСКЕ КГБ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Н.С.ХРУЩЕВУ О НАСТРОЕНИЯХ
СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
от 15 июня 1960 г.» говорится:

«...вокруг драматурга АРБУЗОВА и в меньшей мере РОЗОВА сложилась группа драматургов... которые сплочены на нездоровой основе «борьбы» с драматургией «сталинского режима», с так называемыми «правомерными лакировщиками».

К участникам этой группы «Записка КГБ» относит и ленинградского драматурга ВОЛОДИНА.

И в этой же «Записке» содержится критика в адрес «Ленфильма», где «снят фильм “Иду на грозу”... (по роману Д.Гранина. — З.Д.), порочно изображающий отдельные стороны жизни... все женщины, изображенные в фильме, распущенные люди, стоящие на грани проституции».

К ленинградской интеллигенции, а особенно литературной, «Большой дом», резиденция «органов», всегда проявлял повышенное внимание...

В ЦК партии поступает очередная «Записка» КГБ СССР.

«ЗАПИСКА КГБ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР
В ЦК КПСС
ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОТОРЫХ ХУДОЖНИКОВ
6 июня 1960 г.

СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО

ЦК КПСС

...УСПЕНСКИЙ (литературный псевдоним КОСИЦКИЙ) К.В. 1915 года рождения, член Союза писателей СССР, проживающий в Ленинграде, за антипартийные высказывания в 1944 году исключен из КПСС. Среди своего окружения систематически ведет злобные антисоветские разговоры, клеветает на политический строй в СССР, поддерживает преступные связи с иностранцами, по его выражениям «...Советская власть поедает сама себя, она обречена на гибель... вы живете в полицейском государстве... социализм построен руками заключенных... Америка оказывает сдерживающее действие на наших фашистов... советский режим опрокинет нас в доисторические времена...».

Враждебные взгляды УСПЕНСКИЙ навязывает собеседникам, склоняет их на свою сторону, у себя на квартире хранит антисоветскую литературу, полученную им из-за кордона.

В целях прекращения враждебной деятельности УСПЕНСКОГО... имеется в виду провести следствие и привлечь... к уголовной ответственности.

...Председатель Комитета Государственной безопасности А.ШЕЛЕПИН».

Изоляция в отношении КОСИЦКОГО была настолько велика, что в архивных документах Союза писателей его имени не оказалось. Все они были уничтожены.

В 1961 году в Калуге вышел альманах «Тарусские страницы», в котором среди других были опубликованы и стихи Николая Заболоцкого. Альманах подвергся грубой, несправедливой проработке и в официальной печати и в партийных органах на уровне ЦК КПСС.

Особого внимания удостоилось стихотворение Николая Заболоцкого. О нем было сказано:

«Стихотворение Н.Заболоцкого “Прохожий” — это проповедь безысходности и упаднических настроений. Демобилизованный солдат — основной персонаж стихотворения — завидует погибшему летчику, его “дивному покою”, так как за живым солдатом, —

Шагая сквозь тысячи бед
И горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед».

Но настоящий разгул шпионажа, свирепой слежки за писателями, наступил в 1964 году. Комитет Госбезопасности отыскал достойный для его жандармской деятельности объект именно в Лениздате.

Речь идет о «Деле Иосифа Бродского», именно ему посвящена очередная «Записка», приводимая ниже.

«ЗАПИСКА
КГБ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР
В ЦК КПСС О ПРОЦЕССЕ
НАД И.БРОДСКИМ
20 мая 1964 г.

СЕКРЕТНО
ЦК КПСС

Комитет государственной безопасности располагает данными о том, что часть творческой интеллигенции активно обсуждает судебный процесс над БРОДСКИМ Иосифом Александровичем, 1940 года рождения, автором упаднических, идеологически вредных стихотворений.

В 1960–62 годах Бродский поддерживал близкие отношения с арестованными и осужденными за антисоветскую деятельность УМАНСКИМ А.А. и ШАХМАТОВЫМ О.И.

Разделяя их враждебные взгляды, БРОДСКИЙ вместе с ними пытался передать американскому туристу клеветнические материалы, поддерживал немерение ШАХМАТОВА захватить самолет с целью побега за границу.

Учитывая раскаяние БРОДСКОГО и его молодость, органы госбезопасности приняли решение его к уголовной ответственности не привлекать.

Однако и после профилактики БРОДСКИЙ уклонялся от общественно-полезного труда и занимался сочинением идеологически вредных стихотворений. За период с 1956 года по настоящее время БРОДСКИЙ сменил 14 мест работы, его трудовой стаж за последние четыре с половиной года составил 9 месяцев.

В начале 1964 года по ходатайству общественности прокуратура Дзержинского района г. Ленинграда возбудила уголовное дело по обвинению БРОДСКОГО в тунеядстве. Рассмотрев дело в открытом судебном заседании с участием общественного обвинителя, народный суд приговорил БРОДСКОГО к высылке на 5 лет в специально отведенные местности с обязательным привлечением к труду. Осуждение БРОДСКОГО вызвало различные кривотолки в среде творческой интеллигенции.

В значительной мере этому способствовала член Союза советских писателей ВИГДОРОВА Ф.А., по собственной инициативе присутствовавшая на суде и составившая необъективную стенографическую запись хода процесса. Эту запись вместе с копиями коллективного письма протеста в Ленинградское отделение Союза писателей якобы за подписями четырех молодых литераторов, выписки из письма поэтессы ГРУДИНИНОЙ и некоторых других документов ВИГДОРОВА разослала в ряд учреждений и редакций газет и журналов.

Кроме того, она распространила эти материалы среди некоторых творческих работников.

Тенденциозный подбор материалов создал в ряде случаев мнение, что осуждение БРОДСКОГО является возрождением методов, применявшихся в период культа Сталина и чуждых принципам социалистической законности.

Члены Союза писателей Л.ЧУКОВСКАЯ, Р.ОРЛОВА, Л.КОПЕЛЕВ оценивают процесс над БРОДСКИМ как «рецидив печально известных методов произвола». Поэтесса Н.ГРУДИНИНА считает, что во время суда над БРОДСКИМ было допущено «беззаконие».

Поэт Е.Евтушенко, прочитав материалы ВИГДОРОВОИ, заявил, что процесс над БРОДСКИМ пахнет фашизмом, нарушается законность.

С.МАРШАК, К.ЧУКОВСКИЙ и Д.ШОСТАКОВИЧ принимали меры к защите БРОДСКОГО, к которому, по их мнению, суд отнесся несправедливо.

Сотрудница Сибирского отделения Академии наук Р.БЕРГ заявила, что дело БРОДСКОГО — «историческое явление, поворот к 1937 году».

Следует отметить, что наиболее активно муссируются слухи вокруг дела БРОДСКОГО в кругах творческих интеллигентов еврейской национальности. Вследствие достаточно широкого распространения материалов ВИГДОРОВОИ, они стали достоянием буржуазной прессы. Об этом свидетельствует тот факт, что 13 мая 1964 года в английской газете «Гардиан» опубликована клеветническая статья некоего В.ЗОРЗА, в которой излагаются, а в некоторых случаях дословно цитируются выдержки из собранных ВИГДОРОВОИ материалов.

Комитет Госбезопасности принимает меры по розыску лиц, способствовавших передаче тенденциозной информации по делу БРОДСКОГО за границу.

Председатель
Комитета Госбезопасности
В.Семичастный

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 30. Д. 454. Л. 98–100. — Подлинник».

Вокруг «Дела» Иосифа Бродского возникла настоящая свистопляска, документу под названием «Оперативные цензорские указания руководства Главлита от 13 июня 1965 года. СЕКРЕТНО» дано примечание 98-е. В нем, достаточно красноречиво сказано о существовании этого Дела».

«23 ноября 1964 г. в газете «Вечерний Ленинград» была опубликована статья Я.Лернера «Окололитературный трутень» — о талантливом молодом поэте Иосифе Бродском, стихи которого широко ходили в самиздате, их пели под гитару. В фельетоне И.Бродский обвинялся в «паразитическом образе жизни» на том основании, что не имел постоянного места работы. Вскоре он был арестован. На суд из Москвы приезжали более 20 писателей, публицистов. Среди свидетелей защиты были ленинградские профессора-литературоведы Е.Эткинд и В.Адмони, поэтесса Н.Грудинина. Московская журналистка Ф.Вигдорова сделала запись судебного заседания. Приговор суда был максимальным по статье «О тунеядстве»: 5 лет высылки. Однако под давлением западной общественности советское руководство пошло на уступки: меньше чем через полгода после суда И.Бродский был реабилитирован и возвратился в Ленинград. В 1972 г. он эмигрировал из СССР».

Но так же, как нельзя остановить движение волн на море, так же, как невозможно запретить человеку дышать, — так же тщетны были все усилия и действия меча карающего в образе КГБ и устрашающего в образе вездесущей цензуры, остановить ход мысли, ее развитие и становление.

В этом им приходилось признаваться.

«ЗАПИСКА
КГБ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР
В ЦК КПСС ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
11 декабря 1965 г.

СЕКРЕТНО
ЦК КПСС

...Нельзя умолчать о фактах, когда в отдельных литературных объединениях и клубах нашли себе прибежище антиобщественные элементы, занимающиеся изготовлением идейно порочных или прямо антисоветских произведений, которые с враждебным умыслом по нелегальным каналам передаются за границу. Никогда еще, пожалуй, после белой эмиграции в столь широком масштабе за рубежом не печаталась антисоветская макулатура, причем ее значительную часть составляют «труды», чьи авторы проживают на территории СССР. Некоторые из них превратились по сути дела во внутренних эмигрантов, стали агентами наших идеологических противников.

Недостатки и просчеты в печати, литературе, произведениях искусства широко используются против нас нашими идеологическими противниками. Некоторые представители антисоветских центров за рубежом говорят, что в идеологическом плане они работают против СССР на советском материале, на переводах и компиляциях из литературных источников и произведений искусства, создаваемых внутри страны.

Во всей этой обстановке нетерпимым является равнодушие к подобным явлениям со стороны некоторых руководителей ведомств и учреждений, органов печати, отдельных звеньев партийного аппарата на местах. Примиренчество, нежелание портить отношения или вызывать недоброжелательность со стороны политически заблуждающихся людей, стремление хорошо выглядеть в любых ситуациях приводят к тому, что мы делаем в области идеологии неоправданные уступки, затушевываем явления и процессы, с которыми надо бороться, дабы не вызывать необходимость применения административных мер и нежелательных последствий...

Председатель
Комитета Госбезопасности
*В. Семичастный**

* В период 1965–66 годов ленинградская литература и сами литераторы были объектами особо пристального внимания со стороны союзного партруководства.

Читаем:

«ЗАПИСКА
ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ
КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ЦК КПСС В СВЯЗИ С ТЕЛЕПЕРЕДАЧЕЙ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
“ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВТОРНИК”
18 февраля 1966 г.

В ЦК КПСС, на Центральное телевидение поступили десятки писем в связи с передачей Ленинградского телевидения «Литературный Вторник», транслировавшейся 4 января с.г. по системе Центрального телевидения. Авторы многих писем справедливо протестуют против допущенных в передаче грубых ошибок и неверных положений по проблемам развития русского языка, русской культуры и ее традиций.

Высказывая отдельные обоснованные замечания об увлечении некоторых местных Советов переименованием улиц, населенных пунктов, участники передачи (писатели Л.Успенский, О.Волков, В.Солоухин, литературный критик В.Бушин, литературоведы и искусствоведы Б.Вахтин, В.Иванов, Д.Лихачев, Л.Емельянов) заняли в целом неправильную тенденциозную позицию в освещении этих вопросов. Авторы программы «Литературный Вторник» в развязном тоне потребовали вернуть прежние наименования городам Куйбышеву, Кирову, Калинин, Горькому, высмеивали такие общепринятые сокращения как РСФСР, ВЦСПС, протестовали против наименования Ольгина моста в Пскове мостом Советской Армии.

Выступая за чистоту русского языка, они приводили в качестве его эталона произведения Пастернака, Белого, Мандельштама, Хлебникова, Булгакова, Солженицына, цитировали протопопа Аввакума, но при этом совершенно не упоминались имена Чехова, Горького, Маяковского, Шолохова. Участники передачи предложили устраивать публичные концерты духовой музыки.

Назвав наш народ беззаботным в отношении своего прошлого, авторы передачи пытались создать ложное впечатление, что памятники старины в нашей стране якобы не сохраняются, в то же время ничего не было сказано о мероприятиях Советского государства по сохранению и реставрации памятников нашей культуры и революционной истории.

Участники передачи игнорировали элементарную журналистскую этику, отступив от тезисов, утвержденных руководством телевидения в соответствии с существующими правилами. Этот факт использования телевидения в целях пропаганды субъективистских и ошибочных

взглядов привел к нежелательным последствиям. Неправильная позиция участников «Литературного Вторника» нашла одобрение в ряде писем, поступивших на Ленинградское телевидение. Так, гр. Степанов из Москвы пишет, что переименование Петрограда в Ленинград было ошибкой. В другом письме за подписью «Семейное общество» содержится призыв объявить сбор денег среди населения на реставрацию церкви. Научные работники Института русского языка Академии наук СССР т.т. Григорьев и Строганов считают варварством переименование Охотного ряда в проспект Маркса.

Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР, обсудив передачу «Литературный Вторник», освободил от работы директора Ленинградской студии телевидения т. Фирсова и главного редактора литературно-драматических программ т. Никитина, принял меры по укреплению дисциплины и повышению ответственности работников студии. Ленинградскому комитету по радиовещанию и телевидению поручено подготовить передачу, отражающую марксистско-ленинские взгляды на развитие русского языка и русской культуры».

Ни одного участка литературы бдительное око партийного контроля не оставляло. Во всех ее творениях, в том числе и в художественной фантастике, ему виделось покушение на советскую идеологию, на самый образ советской действительности.

ИЗ «ЗАПИСКИ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ ЦК КПСС О СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ В ИЗДАНИИ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5 марта 1966 г.

ЦК КПСС

Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС считает необходимым доложить о серьезных недостатках и ошибках в издании научно-фантастической литературы. Особого внимания, по нашему мнению, заслуживают произведения так называемой «социальной» или «философской» фантастики, в которых моделируется будущее общество, его политические, моральные, человеческие аспекты...

Советская научная фантастика всегда отличалась своими прогрессивными тенденциями, твердо стояла на основах научного мировоззрения, смело вторгалась в сложные и малоизученные жизненные проблемы. Для нее были характерными высокий гуманизм, глубокая вера в силу человеческого разума, оптимистический взгляд в будущее человечества, неизменно связанное с победой и торжеством коммунистических идеалов.

Однако в последние годы в результате снижения требовательности со стороны издательств и редакций журналов к авторам, к идейно-

художественному уровню произведений, научно-фантастическая литература претерпела определенную эволюцию. Книги этого жанра начали все дальше отходить от реальных проблем науки, техники, общественной жизни, их идеологическая направленность стала все более притупляться и, наконец, стали появляться произведения, в которых показывается бесперспективность дальнейшего развития человеческого общества, крушение идеалов, падение нравов, распад личности. Жанр научной фантастики для отдельных литераторов стал, пожалуй, наиболее удобной ширмой для протаскивания в нашу среду чуждых, а иногда и прямо враждебных идей и нравов. По мнению литераторов А. Громовой, Н. Нудельмана, З. Файнбурга основоположником "философской" фантастики является современный польский писатель Станислав Лем. В его многочисленных романах и повестях, которые, кстати сказать, печатаются главным образом в СССР (за последние пять лет его книги вышли у нас тиражом в 1 млн. 150 тыс. экземпляров), будущее коммунистическое общество представляется бесперспективным и вырождающимся...

И вот, усвоив эту "философию", полную пессимизма и неверия в силу разума, представители отечественной "философской" фантастики вступили в противоборство с идеями материалистической философии, с идеями научного коммунизма. Для иллюстрации считали бы возможным подробно остановиться на содержании наиболее показательных в этом смысле произведений, принадлежащих перу братьев А. и Б. Стругацких.

"Попытка к бегству" — повесть, рассказывающая о своеобразном быте будущего коммунистического общества, когда космические перелеты стали ничуть не труднее современной загородной поездки на автомобиле. Два героя произведения решают провести свой отпуск на одной из неисследованных планет. Во время подготовки к прогулке в космос к ним обратился некто в белом, Саул, уговаривая взять его с собой. Отпускники берут его и в скором времени без хлопот оказываются на неизвестной планете, которую называют в честь своего спутника — Саулой.

Планета оказалась обитаемой существами, удивительно похожими на людей. Но у них фашистский строй, концлагеря, гнет и несправедливость. На планете нескончаемым потоком движутся неведомые машины, вылезая из одной дыры в планете и скрываясь в другой. Намекнув, что машины созданы некоей высшей цивилизацией, авторы показывают, как заключенные ценою жизни сотен и тысяч своих товарищей понуждаются голыми руками захватить одну из этих машин и разгадать секрет управления ими.

Основа замысла повести в том, как будут реагировать земляне, члены коммунистического общества, при столкновении с инопланетным фашизмом. Оказывается, они бессильны, не должны и не хотят

вмешиваться, ибо всякое их вмешательство, по мнению авторов, обречено. Авторы иронизируют: “Можно натянуть белые хламиды и прямо в народ... И мы станем проповедовать социализм... Местные фарисеи посадят нас на кол, а люди, которых мы хотели спасти, будут с гиком кидать в нас калом...”

Наиболее ярко “философские” концепции Стругацких изложены в их последней вещи “Хищные вещи века”.

В ней рассказывается об образе жизни некой “Страны Дураков”. Эта «капиталистическая», по утверждению авторов, страна представляет собой общество всеобщего благоденствия, общество изобилия. Здесь жители получают блага бесплатно за счет “фонда обеспечения личных потребностей” — одежду, продукты питания, книги... И в то же время никаких духовных интересов у людей Страны Дураков нет. Они не знают, кому поставлен памятник на центральной площади столицы. Книги в их глазах не представляют никакой ценности. Общество лишено классовой структуры, поэтому в нем нет и никаких социальных движений. Людям здесь смертельно скучно. Они всем пресытились... поскольку духовных интересов у жителей Страны Дураков нет, они ищут всевозможных наслаждений, любых, лишь бы давали острые ощущения. Не зная, куда себя девать, скучающие, сытые, бездельничающие люди идут к “рыбарям” в развалины Старого метро, где полоумные молодчики представляют им всякого рода “сильные ощущения”, вроде зрелища гирлянд дохлых крыс или нападения ржавого робота. На площадях города устраиваются особые радения — “дрожка”, во время которых люди с помощью массовых стимуляторов приводят себя в истерическое состояние...

Книга заканчивается размышлениями о предстоящей длительной новой войне по спасению человечества, “самой бескровной и самой тяжелой для ее солдат”...

Отдавая себе отчет в том, что Страна Дураков выглядит слишком пасквильно, авторы решили оградить себя предисловием, в котором пишут: “Речь в повести идет о чрезвычайно тревожной и все усиливающейся тенденции, свойственной современному капиталистическому миру”. Стругацкие поясняют, что они имеют в виду “массовую идеологию, ежедневно и ежечасно порождаемую практикой частнособственнического предпринимательства”...

...Как же могло случиться, что в научно-фантастическую литературу проникли идейно-чуждые влияния, идеалистические философские концепции, пессимистические настроения? Вольно или невольно в ряде произведений этого жанра проповедуются антиматериалистические взгляды на человека, природу, общество, и в сознание читателей вносятся идеи, противоречащие элементарным научным истинам о развитии человеческого общества.

...Учитывая серьезные недостатки и ошибки в издании литературы

по научной фантастике, Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС считал бы целесообразным осуществить следующие мероприятия:

1. Поручить редакции журнала "Коммунист" опубликовать обстоятельную критическую статью об ошибочных тенденциях в современной научно-фантастической литературе. Это необходимо, поскольку в двух статьях, опубликованных ранее на страницах "Коммуниста" (Е.Брандис и В.Дмитриевский "Будущее, его провозвестники и лжепророки" № 2 за 1964 г. и М.Емцов и Е.Парнов "Наука и фантастика" № 15 за 1965 г.), содержатся путанные оценки современной научно-фантастической литературы, всячески восхваляется творчество братьев Стругацких, что, в известной степени, дезориентировало общественность».

Но не следует, однако, думать, что голос писателей, протестующих против все еще сохраняющегося режима славословия, хотя бы и по другим, не сталинским нотам, не заговорит, не заявит в конце концов о правде жизни, о ее горестях и нуждах.

Этот голос прозвучал.

Он раздался 16 мая 1967 года в «Письме А.И.Солженицына IV Всесоюзному съезду советских писателей»:

«...Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (полностью не печатают и сейчас), исключили из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался "контрреволюционным" Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский "анархистствующим политическим хулиганом"? Десятилетиями считались "антисоветскими" неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено "грубой политической ошибкой". Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилев, Клюев, не избежать когда-то "признать" и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или не вскоре, его возвращают нам, сопровождая "объяснением ошибок". Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

ОНИ ЛЮБИТЬ УМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫХ!

Но позднее издание книги и "разрешение" имен не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несет наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели 20-х годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа, и на особые свойства Сталина, однако их уничтожили и заглушили вместо того, чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях "пропустят — не пропустят", "об этом можно —

об этом нельзя". Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передавать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи ее идут не в чтение, а в утильсырьё...»

Вряд ли найдется хоть один литератор времен 50-х — 80-х, который не испытывал бы на себе, что такое советская политическая цензура. Мой роман «Хановой», изданный в 1971 году в издательстве «Современник» (Москва), не один раз путешествовал от тогдашнего Горлита к редактору и обратно. Главу за главой из него изымали, потому что шла в них речь об арестантских лагерях, расположенных в северных широтах. Книга вышла, обворованная цензурой. В этом выпуске «Распятых» украденное представлено читателю в моем рассказе «Диалоги». Не помню уж при каких обстоятельствах я поделился с Константином Симоновым тем, как рвут на части этот мой роман, а потом и написал ему. Спустя какое-то время получил от него письмо. Даю его целиком, без комментариев. Они — в том, что сказано самим его автором по поводу романа Василия Ажаева «Вагон».

«Уважаемый Захар Львович, получил Ваше письмо.

Можно быть разного мнения об «Одном дне Ивана Денисовича». Книга эта, как и всякая другая, может нравиться или не нравиться. Я в свое время в печати приветствовал появление этой книги и остаюсь при том взгляде, что это было очень правильно, что ее напечатали. Хотя при этом ее герой мне в чем-то отнюдь не близок и отнюдь не все умонастроения автора я разделяю. Но книгу эту надо было напечатать, не только как очень талантливую, но и как бросающую определенный свет на трагические стороны истории нашего общества. Так как я не во всем согласен с Солженицыным (если говорить о взглядах на жизнь и общество), я тем более считаю, что его книга не единственный свет в окошке, что об этих же сторонах нашей истории могут и должны написать другие люди, в чем-то по-другому смотрящие на те или иные факты, по-другому оценивающие всю эпоху в целом, делающие свои выводы.

Из всего сказанного ясно, что я считал и считаю совершенно нелепым тот запрет, который наложен в наших издательствах и в нашей цензуре на само упоминание о том, что в истории нашего общества был тридцать седьмой год и все, что с ним связано. Эти запреты развивают только дополнительный и иногда несправедливый интерес предпочтительно именно к этой стороне истории нашего общества.

Если бы мы в этом вопросе не качались, не действовали по принципу — шаг вперед, два назад, — уверен, что эта тема, отболев своей острой пристур, заняла бы в литературе то нормальное историческое место, которое она и должна занять, без вывихов и флюсов.

Боюсь, что я ничем не смогу быть Вам полезен при публикации Вашей рукописи. Во всяком случае, ни мои рецензии, ни мои предисловия, ни мои обращения, устные и письменные, до сих пор ровно ничем не помогли тому, чтобы вышел в свет роман Ажаева "Вагон", написанный, на мой взгляд, с абсолютно правильных партийных позиций на эту же запретную ныне тему.

Не хочу терзать ни себя, ни других, сочиняя отзывы на рукописи, которых все равно никто не желает сейчас издавать.

Извините меня. Как видите, свое мнение я высказал достаточно прямо, но браться читать Вашу рукопись не могу, нет сил.

Уважающий Вас Константин Симонов

28.1.69 ».

Разную, очень разную форму имели рогатки, поставленные на пути свободного слова. От «законного» запретительного давления — до преступных провокаций против личности автора.

«Органы», которым был поручен контроль над мыслями, над культурой, над художественным творчеством, не останавливались ни перед чем, чтобы задушить, задавить слово, мысль, если они не укладываются в прокрустово ложе официальной идеологии. Примеров тому — достаточно.

Один из них — история преследований писателя Константина Азодовского, описанная в «Распятых» (выпуск 5-й).

Для цензуры годами оставалось главным — не расставаться с ролью всесоюзного Держиморды, который, как цирковой клоун, занимался своего рода эквилибристикой, подбрасывая на политическую арену эдакие идеологические модели: «национализм», «формализм», «космополитизм», «соцреализм», «очернительство», «псевдореволюционный романтизм», «лакировка», «буржуазное низкопоклонство», «перерожденцы»...

Вспомним о лицемерии власти: оно не знало границ. В течение семи десятилетий появлялись всё новые и новые проекты Закона о печати, в которых неизменно звучала декларация демократических гарантий свободы в печати. И... оставались пылиться в стволах верховных чиновников.

И лишь в 1990 году он стал реальностью.

Ну, а до того, как его утвердили, неугодные партийным генералам строки как следует «проутюживали».

Из ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОРГБЮРО ЦК КПСС «О ЖУРНАЛЕ "ЗНАМЯ"»

27 декабря 1948 г.

«ЦК ВКП(б) особо отмечает неудовлетворительное состояние в журнале литературно-критического отдела... В статье В.Костелянца о романе В.Пановой "Кружилиха" высмеивается правильное и естественное желание советских читателей видеть героями нашей литературы

полноценных, духовно здоровых людей; литературных героев, лишенных каких-либо черт идейной неполноценности, автор презрительно называет «гладко выутюженными».

Такова еще совсем недавняя реальность. Но Закон, по которому русскую литературу перестали хлестать плетями цензуры, наконец утвердился. И, однако же, — вопрос совсем не риторический, — цензура ж и в о г о с л о в а — необходима. Только — иная. На великий русский язык ведутся непрерывные грязные атаки — то с Запада, то из наших родных мест заключения, где царит «блатная музыка».

Современный литературный язык засорен чудовищно. Его щедро уснащают псевдонародной речью, техническими терминами, мусорными, подчеркнуто грубыми словесами, — всем тем, что мы называем **ненормативной** речью. Иные литераторы прямо-таки прославились подобным «жанром».

Совершенно очевидно, что нам нужна строгая языковая, говоря по-научному — лингвистическая цензура. Этот вопрос ждет своего решения. И хочется думать, что оно будет.

По Далю цензура — «учреждение для просмотра, одобрения и запрещения к печати рукописей». Нам нынче больше всего нужна первая часть этой триады. Слово ж и в у щ е м у необходима сильная, действенная помощь.

* * *

Марку Перскому — Поэту, чья
могила на северном берегу Печоры

Его зарыли в вечной мерзлоте,
нет, не зарыли — закопали.
Бросали комья в яму только те,
кто мертвыми еще не стали,

Вся глубина ее была лишь метр.
Весна придет — ее покроют воды.
Он в слове обжигающем был мастер. Мэтр.
А здесь — бил и долбал породу.

Я хоронил его... Я рыл могилу.
И я творю надгробие ему,
чтобы она, Россия, не забыла,
как гения бросили в тюрьму,

и как в слепые горестные годы
его терзали пытками в ночи,
и как Поэт, несломленный и гордый
лохмотья черной клеветы влачил.

...Пройдут века, и в ледяном покрове
лежать останется он, как Иисус — нетлен.
Застывшие навечно капли крови
не брызнут из промерзших вен.

Иная жизнь проснется на Планете.
Другие песни в хорах зазвучат.
Еще неизвестных Галактик дети
будут качать совсем иных внучат.

А о н, как в саркофаге, недвижим,
безвестный узник, сгинувший вдали,
всё так же будет Вечность сторожить
В безбрежном Космосе вдруг обезлюдевшей
Земли...

Захар ДИЧАРОВ

ЗНАМЕНИТОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В истории советской культуры, в жизни российской литературы существуют даты, которые можно считать пограничными столбами их развития, прогресса или, наоборот, деградации.

Таким красным сигналом «Стоп!» на пути поэзии и прозы ленинградских писателей стало — **14 августа 1946 года.**

Этой датой помечено печально знаменитое постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»».

Более полувека минуло с того дня, с того постановления, которое стало позорным приговором для всей советской культуры сороковых годов, и может быть уже и позабылось, ЧТО последовало за этим и ЧТО испытали на себе литературное творчество, литературная публицистика, как и сколько было убито этими партийными словесами талантливых произведений — и не только в литературе, но и в музыке, в живописи, в театре, во всем искусстве.

Повествуя сегодня о тех разгромных годах имени Сталина и Жданова, мы не должны предавать забвению и этот, подобный булле средневековой инквизиции, документ.

Мы публикуем его вновь.

Для памяти.

*О журналах «Звезда» и «Ленинград»
Из постановления ЦК ВКП(б)
от 14 августа 1946 г.*

ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно.

В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями советских писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зоценко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зоценко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зоценко «Приключения обезьяны» («Звезда» № 5—6 за 1946 г.) представляет полный пасквиль на советский быт и на советских людей. Зоценко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зоценко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.

Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зоценко, тем более недопустимо, что редакции «Звезды» хорошо известна физиономия Зоценко и недостойное поведение его во время войны, когда Зоценко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества» Зоценко, была дана на страницах журнала «Большевик».

Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, заставшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, — «искусства для искусства», не желающей итти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.

Предоставление Зоценко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среду ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной культурой Запада.

Стали публиковаться произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в жизни (стихи Садофьева и Комиссаровой в № 1 за 1946 г. и т. д.). Помещая эти произведения, редакция усугубила свои ошибки и еще более принизила идейный уровень журнала.

Допустив проникновение в журнал чуждых в идейном отношении

произведений, редакция понизила также требовательность к художественным качествам печатаемого литературного материала. Журнал стал заполняться малохудожественными пьесами и рассказами («Дорога времени» Ягдфельда, «Лебединое озеро» Штейна и т. д.). Такая неразборчивость в отборе материалов для печатания привела к снижению художественного уровня журнала.

ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно представлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ленинград» допустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений («Случай над Берлином» Варшавского и Реста, «На заставе» Слонимского). В стихах Хазина «Возвращение Онегина» под видом литературной пародии дана клевета на современный Ленинград. В журнале «Ленинград» помещаются преимущественно бессодержательные, низкопробные литературные материалы.

Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности?

В чем смысл ошибок редакций «Звезды» и «Ленинграда»?

Руководящие работники журналов, и в первую очередь их редакторы т.т. Саянов и Лихарев, забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством Советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой. Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности.

Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия.

Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах.

Недостаток идейности у руководящих работников «Звезды» и «Ленинграда» привел также к тому, что эти работники поставили в основу своих отношений с литераторами не интересы правильного воспитания советских людей и политического направления деятельности литераторов, а интересы личные, приятельские. Из-за нежелания портить приятельских отношений притуплялась критика. Из-за боязни обидеть приятелей пропускались в печать явно негодные произведения. Такого рода либерализм, при котором интересы народа и государства, интересы правильного воспитания нашей молодежи приносятся в жертву приятельским отношениям и при котором заглушается критика, приводит к тому, что писатели перестают совершенствоваться, утрачивают сознание своей ответственности перед народом, перед государством, перед партией, перестают двигаться вперед.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что редакции журналов «Звезда» и «Ленинград» не справились с возложенным делом и допустили серьезные политические ошибки в руководстве журналами.

ЦК устанавливает, что Правление Союза советских писателей и, в частности, его председатель т. Тихонов не приняли никаких мер к улучшению журналов «Звезда» и «Ленинград» и не только не вели борьбы с вредными влияниями Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских писателей на советскую литературу, но даже попустительствовали проникновению в журналы чуждых советской литературе тенденций и нравов.

Ленинградский горком ВКП(б) проглядел крупнейшие ошибки журналов, устранился от руководства журналами и предоставил возможность чуждым советской литературе людям, вроде Зощенко и Ахматовой, занять руководящее положение в журналах. Более того, зная отношение партии к Зощенко и его «творчеству», Ленинградский горком (т.т. Капустин и Широков), не имея на то права, утвердил решение горкома от 26.VI — с. г. новый состав редколлегии журнала «Звезда», в которую был введен и Зощенко. Тем самым Ленинградский горком допустил грубую политическую ошибку. «Ленинградская правда» допустила ошибку, поместив подозрительную хвалебную рецензию Юрия Германа о творчестве Зощенко в номере от 6 июля с. г.

Управление пропаганды ЦК ВКП(б) не обеспечило надлежащего контроля за работой ленинградских журналов.

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать редакцию журнала «Звезда», Правление Союза советских писателей и Управление пропаганды ЦК ВКП(б) принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить ливию журнала и обеспечить высокий идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных.

2. Ввиду того, что для издания двух литературно-художественных

журналов в Ленинграде в настоящее время не имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала «Ленинград», сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала «Звезда».

3. В целях наведения надлежащего порядка в работе редакции журнала «Звезда» и серьезного улучшения содержания журнала, иметь в журнале главного редактора и при нем редколлегию. Установить, что главный редактор журнала несет полную ответственность за идейно-политическое направление журнала и качество публикуемых в нем произведений.

4. Утвердить главным редактором журнала «Звезда» т. Еголина А.М. с сохранением за ним должности заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б).

(Газета «Культура и жизнь» № 6 от 20 августа)

Этот сокрушительный документ был опубликован во всех газетах и почти во всех журналах СССР /исключая специальные/. Но и этого душителям писательского слова показалось мало.

В обязательном порядке «Постановление ЦК» проработали во всех партийных и общественных организациях. Усердно и пламенно, с великим гневом партийные боссы — от малых до больших — вдальблвали в сознание «свободных советских граждан» суть речений агитпроповедников. И первым и главным среди них явился автор «Постановления» — А.А.Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома партии и он же — секретарь ЦК КПСС.

Прошло несколько недель со дня 6 августа, и 21 сентября того же 1946 года в Колонном зале Смольного собрали всех писателей города, а вместе с ними и композиторов, и художников, и режиссеров, дабы знали и помнили на веки веков у м н о е слово Руководителя.

И хоть не всё, но самое «ценное» из этого поучения мы обязаны напомнить не только российской интеллигенции, — всему народу.

В двухтомнике Анны Ахматовой /М., 1986/ есть маленькое стихотворение, помеченное январем того, злосчастного сорок шестого, и в нем две начальные строки:

Не дышали мы сонными маками,
И своей мы не знаем вины.
Под какими же звездными знаками
Мы на горе себе рождены?

Как будто сквозь грядущее полугодие она могла предчувствовать тот надвигающийся черный вал преследований, травли, издевательств, насмешек, который лишь тонкой-тонкой перегородкой отделял ее от судьбы уже арестованного сына.

Имя ее, поставленное в один ряд с именем Зошенко, полыхало в пламени проклятий, которые извергали уста Первого секретаря товарища Жданова.

Не вспомнить их — тоже нельзя. Ибо никакого покаяния со стороны ныне существующих «парторганов» никогда не прозвучало.

Всего лишь год-полтора минуло со зловещей поры 1937–1938-го, когда лучшая, самая драгоценная часть общества, начиная от командиров армии, кончая учеными, деятелями искусства, писателями, творцами техники — была подвергнута страшной всеобщей чистке: пыткам, убийствам, заточению, рабскому труду.

Еще живы, еще на памяти «черные маруси», ночные аресты, визгливые проклятия на газетных полосах: «Уничтожить, как собак!» «Растрелять», — а тут, среди белых колонн Смольного, памятника нерушимого Революции, звучат новые проклятия.

Они — перед нами!

Доклад т. Жданова
о журналах «Звезда» и «Ленинград»

Товарищи!

Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала «Звезда» является предоставление своих страниц для литературного «творчества» Зошенко и Ахматовой. Я думаю, что мне нет нужды цитировать здесь «произведение» Зошенко «Приключения обезьяны». Видимо, вы все его читали и знаете лучше, чем я. Смысл этого «произведения» Зошенко заключается в том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Зошенко совершенно не интересуется труд советских людей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема всегда у него отсутствует. Зошенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зошенко. Об этом говорил в свое время Горький. Вы помните, как Горький на съезде советских писателей в 1934 году клеймил, с позволения сказать, «литераторов», которые дальше копоти на кухне и бани ничего не видят.

Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?

Если «произведения» такого сорта преподносятся советским читателям журналом «Звезда», то как слаба должна быть бдительность ленинградцев, руководящих журналом «Звезда», чтобы в нем можно было помещать произведения, отравленные ядом зоологической враждебности к советскому строю. Только подонки литературы могут создавать подобные «произведения», и только люди слепые и аполитичные могут дать им ход.

Говорят, что рассказ Зошенко обошел ленинградские эстрады. Насколько должно было ослабнуть руководство идеологической работой в Ленинграде, чтобы подобные факты могли иметь место!

Зошенко с его омерзительной моралью удалось проникнуть на страницы большого ленинградского журнала и устроиться там со всеми удобствами. А ведь журнал «Звезда» — орган, который должен воспитывать нашу молодежь. Но может ли справиться с этой задачей журнал, который приютил у себя такого пошляка и несоветского писателя, как Зошенко?! Разве редакции «Звезды» не известна физиономия Зошенко?!

Ведь совсем еще недавно, в начале 1944 года, в журнале «Большевик» была подвергнута жестокой критике возмутительная повесть Зошенко «Перед восходом солнца», написанная в разгар освободительной войны советского народа против немецких захватчиков. В этой повести Зошенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем — смотрите, вот какой я хулиган.

<...>Несколько слов насчет журнала «Ленинград». Тут у Зошенко позиция еще более «прочная», чем в «Звезде», так же, как у Ахматовой. Зошенко и Ахматова стали активной литературной силой в обоих журналах. Журнал «Ленинград», таким образом, несет ответственность за то, что он предоставил свои страницы таким пошлякам, как Зошенко, и таким салонным поэтессам, как Ахматова.

<...>Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии, — поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее — это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности, — чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, — мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, «добрых старых екатерининских времен». Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.

Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенных чадам...

*Ахматова.
«Anno Domini»*

Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой.

В журнале «Ленинград», в одном из номеров, опубликовано нечто вроде сводки произведений Ахматовой, написанных в период с 1909 по 1944 год. Там наряду с прочим хламом есть одно стихотворение, написанное в эвакуации во время Отечественной войны. В этом стихотворении она пишет о своем одиночестве, которое она вынуждена делить с черным котом. Смотрит на нее черный кот, как глаз столетия. Тема не новая. О черном коте Ахматова писала и в 1909 году. Настроения одиночества и безысходности, чуждые советской литературе, связывают весь исторический путь «творчества» Ахматовой.

Что общего между этой поэзией, интересами нашего народа и государства? Ровным счетом ничего. Творчество Ахматовой — дело далекого прошлого; оно чуждо современной советской действительности и не может быть терпимо на страницах наших журналов. Наша литература — не частное предприятие, рассчитанное на то, чтобы потрафлять различным вкусам литературного рынка. Мы вовсе не обязаны предоставлять в нашей литературе место для вкусов и нравов, не имеющих ничего общего с моралью и качествами советских людей. Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда. Эти произведения могут только посеять уныние, упадок духа, пессимизм, стремление уйти от насущных вопросов общественной жизни, отойти от широкой дороги общественной жизни и деятельности в узенький мирок личных переживаний. Как можно отдать в ее руки воспитание нашей молодежи?! А между тем Ахматову с большой готовностью печатали то в «Звезде», то в «Ленинграде», да еще отдельными сборниками издавали. Это грубая политическая ошибка...*

В эмигрантском журнале «Возрождение» /Париж. Октябрь 1954 года/, в заметке «Тень Жданова» говорилось:

«...все культурное творчество от биологии до музыки было подчинено диктатуре мрачного Жданова. Эпоха «ждановщины», продолжавшаяся до 1953 года, характеризовалась новым падением всех видов искусства».

Так оно и было.

В Париже сказали о том, о чем приходилось молчать в Москве и Ленинграде.

* Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов г. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде («Правда» № 225/10307 от 21 сентября 1946 г.).

АРЕСТЫ... АРЕСТЫ...

Воспоминания Михаила Ванюкова — еще одна мрачная иллюстрация к временам сталинщины. Сам он не был репрессирован, но велеием партийных хозяев был изъят из трудовой жизни и стал по их милости изгоем, для которого вдруг не нашлось места в обществе.

Примечательна не только его информация о том, как расправлялись с журналистами и свирепствовали «органы» в газете «Ленинградская правда», в ее редакции. Интересен и его рассказ о видном драматурге и публицисте Георгии Белицком. Мало мы знали о нем, когда давали документы о его судьбе в 1 выпуске «Распятых». Его товарищ по редакционной работе, Михаил Ванюков, представил живой облик писателя-журналиста.

* * *

...В 1936 году я учился на курсах газетных работников при газете «Ленинградская правда» на Социалистической улице, 14. Одновременно и работал как журналист. И вдруг в деятельную жизнь печати, как грозная буря, ворвалось известие, что в «Ленинградской правде» засели враги. Первым арестовали главного редактора Дмитрия Павловича Белицкого. Он исчез незримо, тихо, неожиданно. Это тяжелая весть была подобна грому среди ясного неба. Белицкий в наших гла-

зах был правоверным коммунистом. Близкий друг С.М.Кирова, он писал его биографию, был человеком очень скромным. Работал круглые сутки. В редакции его можно было встретить в любое время дня и ночи. Он преподавал у нас на курсах. Занятия проходили всегда живо, интересно. Он был остер на язык, остроумен. Мы любили его, но и побаивались его острого языка. Бывало, заметив, что курсант плохо подготовил материал, мнется с ноги на ногу, ядовито воскликнет под общий хохот: «Ну что ты тянешь, как суздальский богомаз».

Дмитрий Павлович обращал на себя внимание внешним видом. Невысокого роста, широкий в плечах, одевался он своеобразно, носил и летом и зимой коричневую поношенную толстовку, штаны, напоминающие шаровары, русские сапоги с короткими голенищами. И что еще его отличало от окружающих, так это то, что густая черная шеvelюра ниспадала до плеч, прикрывала лоб. Черная борода оставляла мало места для щек; темным огнем горели глаза, пронзительные, пронциательные, насмешливые. Мы все побаивались этого зоркого взгляда. Редактор был порядочен и честен. Неподкупен. Такой же порядочности требовал от нас, молодых. Бывало, давая редакционное задание, предупреждал: «Избави Бог, не принимайте каких-нибудь подарков. А предложения будут. Не собирайте даже самые малые сведения по телефону, выезжая на место, проверяйте все лично. Правда, объективность — вот что отличает газетчика нашей партийной печати от буржуазной». И вот этот человек был объявлен «врагом народа». Чудовищно! Началась пора бурных партийных собраний, часто затягивавшихся за полночь. Выходили с этих собраний растерянные, одуревшие. Вместо Белицкого редактором был назначен Андрей Троицкий, работавший ранее редактором «Комсомольской правды». Известный поэт. Но и он продержался недолго. Был арестован и объявлен «врагом народа». Каждое утро, приходя в редакцию, мы узнавали, что ночью на «черном вороне» увезли еще кого-нибудь из работников редакции. Обстановка сложилась тревожная, гнетущая. Обычно веселая, шумливая, умевшая поострить, журналистская братия замкнулась. Бродили по редакции угрюмые, неразговорчивые. Всеобщая подозрительность, осторожность в разговорах, недоверчивость стала характерной во взаимоотношениях между нами. Стали обнаруживаться какие-то немислимые «открытия»: то вдруг на фото пионерского галстука или пионерского костра обнаруживали прорисовку облика Троцкого, или выискивалась свастика. Фото тут же снималось с полосы.

А события все усложнялись. Не помню за давностью времени — когда, но вскоре как «враг народа» был арестован и зам. редактора Александр Афанасьевич Шабанов, курировавший партийный отдел. Величайшей души человек, простой в отношениях с людьми, любимец редакции. Бывший кузнец одного из заводов Выборгской стороны, он окончил Институт Красной профессуры и был направлен затем рабо-

тать в газету. Был уволен из редакции Павел Михайлович Левит, заведующий сельскохозяйственным отделом. Остроумный, насмешливый, но всегда доброжелательный к товарищам по работе. Талантливый журналист. Прекрасно знал сельское хозяйство Ленинградской области и был непререкаемым авторитетом в газетном деле. Вскоре его тоже арестовали.

В один из дней исчез из редакции также Петя Васильев — председатель местного издания. Выдвиженец-рабкор не помню точно не то с Металлического завода, не то с «Красного Выборжца». Он занимался в редакции организационно-массовой работой с рабкорами в фабрично-заводских газетах и проводил по заданию «Ленправды» рабселькоровские слеты. Отсидел он восемнадцать лет. В отсидке была и жена. После освобождения я встречался с Васильевым. Но это был уже совсем другой человек.

От его прежней боевитости, расторопности, делового азарта не осталось и следа. Передо мной сидел замкнутый, ушедший в свои невеселые думы человек. Он будто не узнавал меня, отмалчивался. Откачивался от предлагаемой помощи, от денег, от работы. Спасибо — ничего не надо. Хотя я прекрасно знал, что не было у него недостатка. Это был человек насмерть запуганный, не принимавший мира, в котором он оказался после десятилетий неслыханных издевательств и лишений. Он потерял дом, семью, веру. Он был душевно кастрирован. Вскоре он умер.

Арестовали Семена Гуревича — заведующего Советским отделом, посадили Питкина — активного работника редакции, тоже вышедшего из рабкоров: Васю Георгиева, окончившего первый выпуск курсов и работавшего ответственным секретарем редакции. Прежде он был печатником в типографии им. И. Федорова. Хорошо знал печатное дело и верстку газеты. Был добрым и хорошим товарищем. Все любили Васю Георгиева. Отсидев срок, он умер от инфаркта в 1958 или в 1959 году. Работал редактором «Ленправды» Петерсон; выйдя из заключения, вскоре скончался. Та же участь постигла С.Деркача. одно время он был зам. редактора. Отсидев срок, он вернулся в родной город. Ранее он преподавал в Ленинградском университете, откуда в свое время был приглашен в «Ленправду». Не могу до сих пор забыть его бегающих, испуганных глаз. Его подавленного настроения. Он тоже вскоре умер.

Арестовали Ивана Васильевича Можаяева — гл. редактора журнала «Рабселькор», издававшегося при редакции «Ленправды». Ганк Адонц — зав. отделом культуры — был уволен и исчез с горизонта, очеркистка Наташа Гарниц — вслед за ним. А к лету 1938 года, когда редактором «Ленправды» был Шулимзон, были разогнаны почти все оставшиеся сотрудники. Придя на работу, они находили приказ о том, что уволены. Так были уволены С.Полесьев (Каганович), В.Карп (Ка-

ганович, его брат), Е.Поляков, Е.Катерли, Канер, Кара-де Мур и многие другие, в числе которых оказался и я. Некоторых увозили в тюрьму, как мы видели, прямо с работы, иных прежде увольняли. Поэтому трудно проследить за судьбой всех покалеченных жизней.

В Новосибирске в 1943 году, куда я приехал за авиационной техникой для фронта, неожиданно встретил Мишу Зарайского, журналиста из «Красной газеты». Он тоже был репрессирован в 1938 году. После отсидки был сослан под Новосибирск. Работал весовщиком на одной из захолустных станций без права въезда в областные центры, в том числе и в Новосибирск, и, следовательно, приехал сюда нелегально за лекарством. Тяжело болел желудком. Он умер вдали от семьи. Семнадцать лет находился в отсидке Зиновий Самойлович Шалыт, член партии с 1905 года. Он вернулся в Ленинград в 1958 году и вскоре умер. Арестовали его, когда он работал директором Дома Печати на Фонтанке, дом № 6. За что его посадили, спрашиваю? Не знаю... Сказали, что за правые методы работы. В чем они заключались, не знаю до сих пор...

Михаил ВАИЮКОВ



Анна Ахматова

Силуэтный портрет, подаренный ею близкому другу Ксане Златковской (Меттер), прима-балерине Мариинского театра, 22 марта 1962 года

СОРАСПЯТИЕ АХМАТОВОЙ

Там били женщину кнутом...

Н. Некрасов

...Музу засекали мою.

А. Ахматова

В обычном, житейском, тем более в юридическом смысле, Ахматова не подвергалась репрессиям, то есть не была ни в тюрьме, ни в ссылке. Эта беда обошла ее даже в двадцатые годы, после расстрела Н. Гумилева, и в тридцатые — сороковые годы, когда был дважды арестован и сослан ее сын. Власти ее не трогали: выгодно было показать демократичность и гуманность «самой передовой» страны мира. Однако уже в 1925 году в ЦК было решено не публиковать ахматовских стихов, и она это знала. С 1925 года почти на десять лет Ахматова замкнула уста своей Музы, уйдя в пушкиноведение, переводы и нужду.

Я не искала прибыли
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила.

«Не с лирою влюбленного...»

Стихотворение написано в 1956 году — отсчет, значит, с 26-го, с 25-го.

Атмосфера страха и близкой гибели плотно окутывала ее жизнь, подобно некоему черному одеянию.

Сохранилась запись Ахматовой: «10 марта 1938 г. Арест моего сына Льва. Начало тюремных очередей... Воинова — Кресты — Пересыльная. Отправка в лагерь. 1939 — второй тур. В конце концов — пять

лет Норильска. Добровольцем на фронт. Взятие Берлина. Возвращение осенью 1945 г...

6 ноября 1949 г. Обыск и арест моего сына Льва. Его немедленно увозят в Москву. Я езжу каждый месяц сначала на Лубянку, потом к Лефортовской тюрьме.

Приговор — 10 лет лагеря... Реабилитация в 1956 г.»

За все годы молчания и страха и как бы даже полного исчезновения из литературы огромная слава все же не только не покинула ее, но даже не потускнела — она незримо хранилась в запасниках благодарной читательской памяти. Однако в пору запретов и гонений она же стала играть в ахматовской судьбе неожиданно двусмысленную и явно роковую роль.



К.М. Златковская

Молитесь на ночь,
чтобы вам
Вдруг не проснуться знаменитым.

В апреле 1946 года во время выступления в Политехническом музее в Москве (вместе с другими ленинградскими поэтами) разразилась овация, зал встал и нескончаемо аплодировал ей. По ее словам, в рассказах мемуаристов, она «похолодела от страшного предчувствия». Существовала легенда, будто Сталин, узнав об овациях, спросил: «Кто организовал вставание?» Возможно, у него была и личная мелкая причина: Ахматова знала слухи о том,

Как дочь вождя мои читала книги
И как отец был горько поражен...

*«Лирическое
отступление
Седьмой элегии»*

Сталинский гнев отозвался в том же году — в августе. Подручным выступил А.Жданов — «толстомордый подонок с глазами обманщика», как назвал его Александр Галич в стихотворении, посвященном М.Зощенко.

Вернувшись из Москвы (после оваций), встревоженная Ахматова обнаружила новшество: теперь в ее квартиру можно было попасть лишь по пропуску. Нашелся формальный предлог: в Фонтанном Доме часть помещений занимал Арктический институт.

Фонтанный Дом оказался **зоной**.

Росло, не прекращалось, и «Дело Ахматовой» — о нем она, разумеется, не знала, но легко могла догадываться.

Генерал О.Д.Калугин рассказывает:

«"Дело" было заведено на Анну Ахматову в 1939 году с окраской "Скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения", где содержались материалы, собираемые органами Госбезопасности в течение многих предшествующих и последующих лет. "Дело" содержало немногим меньше 900 страниц и составляло три тома.

Как бывшая жена расстрелянного "контрреволюционера" поэта Гумилева, она попала в поле зрения чекистов еще в 20-х годах... Под пристальным наблюдением находились ее близкие — муж Николай Пунин и сын Лев Гумилев... Заведенное "Дело" на Ахматову продолжалось в Ташкенте, куда она эвакуировалась в годы Второй мировой войны. В ленинградском "Деле" материалов этого периода не имеется — возможно, они еще находятся в Ташкенте. Однако "Дело" возобновляется в Ленинграде в 1945 году (она вернулась в город в 1944-м). Но на этот раз — по совершенно абсурдному подозрению: "Ахматова — английский шпион"» (См.: Госбезопасность и литература на опыте России и Германии /СССР и ГДР/. М., 1994, с. 74–75).

Поводом для «абсурдного подозрения» явилось посещение квартиры Ахматовой профессором Оксфордского университета и секретарем посольства Великобритании в Москве Исайей Берлином. Этот визит английского дипломата, знатока и влюбленного почитателя ахматовской поэзии, воспользовавшегося счастливой и редчайшей возможностью посетить поэта, вызвал настоящую панику среди охранников «зоны». Вряд ли сэр Исайя Берлин хотя бы на йоту мог предполагать о разрушительных последствиях своего поступка. Ахматова всегда с сердечной взволнованностью помнила эту встречу. Исайя Берлин стал одним из героев «Поэмы без героя» и адресатом нескольких ее стихотворений.

«И после этого происшествия, — пишет О.Д.Калугин, — Ахматова была обставлена агентурой, в коммунальной квартире у нее, на Фонтанке 34, была оборудована техника подслушивания...» (Там же.)

«Дело» растет и растет за счет многочисленных донесений — в том числе и стукачей-сексотов из самого близкого, выясняется, окружения. Как сказано, в одном из черновиков «Седьмой элегии», «их было много». Она ежедневно чувствовала их опасную и мерзкую, рептильную близость. Единственная защита — молчание: буквальное, физическое. Л.К.Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» пишет, что стихи при их встречах никогда не произносились, а быстро записывались на клочке бумаги, чтобы через минуту сжечь их в пепельнице. При этом говорили — громко и отчетливо, прямо в потолок, где виднелись свежие отверстия, — что-нибудь нейтральное, но чаще всего что-нибудь пушкинское. Пушкинский стих символически сопровождал этот

странный обряд. Молчание сделалось настолько неременной и обязательной формой существования, что Ахматова стала, наконец, ценить саму, как это ни парадоксально, **возможность молчания.**

Я защищаю
Не голос, а молчание мое...

Неудивительно, что жизнь становилась похожей на узилище, а собственное жилье — на одиночку.

И я не знаю — лето за окном
Иль моросит холодный серый дождик,
Иль май идет и расцвела сирень,
Та белая — что обо мне забыла,
Как все и всё...

Такое существование длилось годами и было похоже на нескончаемое следствие, поскольку «Дело» ширилось и разветвлялось.

Скамейка подсудимых
Была мне всем: больничной койкой
И театральной ложей...

К теме следствия, суда, медленной казни она возвращалась много раз.

Другие уводят любимых, —
Я с завистью вслед не гляжу.
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.
Вокруг пререканья и давка
И приторный запах чернил.
Такое придумывал Кафка
И Чарли изобразил.
И в тех пререканиях важных,
Как в цепких объятиях сна,
Все три поколения присяжных
Решили: виновна она.
Меняются лица конвоя,
В инфаркте шестой прокурор...

А где-то темнеет от зноя
Огромный небесный простор,
И полное прелести лето
Гуляет на том берегу...
Я это блаженное «где-то»
Представить себе не могу.
Я глохну от зычных проклятий,

Я ватник сносила долта.
Неужто я всех виноватей
На этой планете была?

Выходя из Фонтанного Дома, из своей «одиночки», она шла к вполне реальной и страшной тюрьме на Литейном, чтобы стоять в длинных, печальных и молчаливых очередях к окошечку для передач — сыну Льву. Эти очереди дали ей много; из отдельных реплик, которыми прерывалось молчание, из приглушенных рыданий и слез она познала всю безмерную глубину страданий своего народа. Ее лирический дар наполнился небывалой мощью. Она почувствовала, что должна стать — не может не стать — голосом своего многомиллионного народа. В молчании очередей у тюремных ворот рождался «Реквием» — трагический эпос — ожившее и зазвучавшее народное страдание.

...И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною...

«Реквием» — это напоминание, панихида об убиенных и замученных, но также и трубный глас Судии и Пророка. Жившая в одиночке, под неусыпным надзором, замкнувшаяся в молчании, она вынашивала в себе слова огромной испепеляющей силы.

«Реквием» долго не издавали, он появился в нашей печати лишь в 1987 году, хотя Ахматова передала его в журнал «Новый мир» в 1962-м. На Западе он был напечатан в 1963-м.

Теперь это классика, но не окаменевшая, не забронзовевшая, она — живая кровотокающая память.

...Но вернемся к 1946 году, когда Ахматова вернулась из Москвы — «после оаций». Она уже была автором «Реквиема», о котором почти никто не знал, он не был даже записан.

Власть готовила ей гражданскую казнь, пожалуй, совершенно небывалую по своему размаху. Во всех газетах, журналах, радио, на многочисленных собраниях она была (вместе с М. Зощенко) заклеена как последний буржуазной культуры, совершенно чуждый и враждебный советской эпохе.

Дата Постановления ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», отлучавшая Ахматову от собственного народа, страны и культуры, ежегодно, на протяжении многих лет, отмечалась как обязательное и торжественное мероприятие. В этот день писатели, деятели культуры должны были собираться, чтобы засвидетельствовать свою верность Постановлению. Приезжали (из страха) из домов отдыха, из санаториев, с юга, ведь август время отпусков, чтобы присутствовать и выступить. С годами ритуальная часть этого спектакля была разработана до мелочей. Ахматову как бы вывели на помост перед всей страной — в назидание и устрашение. Постановление было

включено в обязательную школьную программу и в вузовские учебники.

За время этой казни — этого распятия, — растянувшегося с 1946 года, по крайней мере, на десятилетие, появились в печати и прозвучали на всю страну по радио тысячи статей-проклятий.

А я сижу — опять слюну глотаю
От голода.
А рупор говорит.
Я узнаю, какой была я скверной
В таком году, как после становилась
Еще ужасней...

И каждый август свершала она — «под рукоплесканья клеветы» — свой «путь к позорному столбу».

Мне, лишенной огня воды,
Разлученной с единственным сыном...
На позорном помосте беды
Как под тронным стою балдахинном...

Но стихи — безгласные, никому не слышные — продолжали се эти годы и на этом «помосте» — жить и рождаться. Это о них, незаконнорожденных, она писала:

Надменные, безродные,
Бродившие во тьме,
Вы самые свободные,
А родились в тюрьме...

Так появились «Черепки» — трагические спутники «Реквиема»:

Вы меня, как убитого зверя,
на кровавый подымете крюк,
Чтоб хихикая и не веря
Иноземцы бродили вокруг
И писали в почтенных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но пробил мой тринадцатый час.

Ее голос, которому предстояло прозвучать во всеуслышание лишь через много лет, исполнился — именно тогда, на Помосте беды — литой и какой-то колокольной силы.

Он и сейчас звучит так же — в память о прошлом, которого не избыть и сегодня, и в назидание будущему, как всегда у нас, чревату-му бедами.

Алексей ПАВЛОВСКИЙ

АННА АХМАТОВА И ТЕНИ ЭПОХИ

В мае 2000 года мы отметили 55 лет Победы над фашизмом Германии. И в этом же году в августе возникает еще одна дата: 14 августа 1946 года, «Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»». Она запомнилась мне по-особому. После почти девяти лет тюрьмы и лагеря я возвращался с Крайнего Севера в так называемый цивилизованный мир. На станции Кожва Северо-Печорской железной дороги, на берегу широкой реки, текущей в Ледовитый океан, я увидел на телеграфном столбе листовку.

Уже одним своим видом она вызывала смутное чувство тревоги — знакомое еще с войны: случилось нечто чрезвычайное?.. На белизне бумаги чернели грозные и гневные слова. Я прочитал их от строки до строки и меня, давно уже оторванного от волн литературного моря, потрясло сказанное в ней.

«Журнал «Звезда», — говорилось в листовке, — всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства — «искусства для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в нашей литературе. ...ЦК ВКП(б) постановляет... прекратить доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных».

Более полувека минуло с того времени. Этот сокрушительный документ был опубликован во всех газетах и во всех журналах, исключая специальные, и даже во всех районных многотиражках СССР, но и этого душителям писательского слова показалось мало.

В обязательном порядке «Постановление ЦК» проработали во всех партийных и общественных организациях. Усердно и пламенно, с великим негодованием партийные боссы — от малых до великих — вдалбливали в сознание «свободных советских граждан» суть речений агитпроповедников. И первым и главным среди них являлся автор «Постановления ЦК» — А. Жданов, первый секретарь Ленинградского областного комитета партии и он же — секретарь Центрального комитета оной.

Прошло лишь несколько недель со дня 14 августа, и 21 сентября того же 1945 года в Ленинграде, в Колонном зале Смольного собрали всех писателей города и вместе с ними композиторов, художников, архитекторов, деятелей сцены и театра (явка была строго обязательной), дабы знали и помнили они на веки-вечные умное слово товарища Руководителя.

И хоть не самое «ценное», не все из этого поучения, но самое пошлое, самое злобное, нетерпимое и тупое, самое обывательски-ограниченное мы обязаны сегодня напомнить не только российской интеллигенции, — но всему народу.

Имя ее, поставленное в один ряд с именем Михаила Зощенко, полыхало пламенем партийных проклятий, которые извергали уста Первого секретаря товарища Жданова.

Не напомнить их — тоже нельзя. Ибо никакого пока я ния со стороны «парторганов» — ни тех, что благополучно жили до Девяносто третьего, ни со стороны тех, что существуют ныне — не последовало. А память подсказывает нам следующее:

Всего два-три года минуло от зловещей поры 1937—1938 годов, когда тысячи и тысячи лучшей, самой драгоценной части общества, начиная от командиров армии, кончая учеными, деятелями искусства, писателями, творцами техники — были подвергнуты страшной преступной «чистке»: арестам, пыткам, убийствам, заточению в лагерные зоны. Рабскому труду.

Еще были живы в памяти «черные маруси», ночные обыски, аресты беззащитных, визгливые проклятия на газетных полосах: «Уничтожить, как собак!», «Расстрелять!», — а тут, среди изящных белых колонн Смольного, памятника Революции, звучат новые проклятия.

«...к вопросу о литературном «творчестве» Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке «расширенного воспроизводства». Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Анни-

бал и так далее и тому подобное, то-есть, всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве».

В сталинском Политбюро один из его членов, Жданов, был почитаем как наиболее сведущий политик и толкователь в области эстетики, в области теории и практики литературы. Приведенный пассаж из его доклада — это великолепная иллюстрация его мировоззрения и его коллега из тогдашнего сталинского Кремля. Именно оно и было истинным мракобесием, отрицающим «Серебряный век» русской литературы.

В строго юридическом смысле государственная власть ее не трогала, не подвергала аресту, не заключала в тюрьму, не отправляла в ссылку. Однако уже в 1925 году состоялось решение Центрального комитета партии большевиков, по которому запрещалось опубликование ахматовских стихов. Почти на десять лет ее заставили замолчать. На хлеб она могла зарабатывать только переводами и статьями о Пушкине.

Подлинная партийная и государственная атака на творчество Анны Ахматовой началась еще до войны. Вот что сказано в протоколе № 59 заседания Секретариата ЦК ВКП(б) за 21 сентября—1 ноября 1940 года.

«Параграф 284 г. Об издании сборника стихов Ахматовой.

1. Отметить, что работники издательства «Советский писатель» т.т. Ярцев и Брыкин, политредактор Главлита т. Бойченко допустили грубую ошибку, издав сборник идеологически-вредных, религиозно-мистических стихов Ахматовой.

2. За беспечность и легкомысленное отношение к своим обязанностям, проявленными при издании сборника стихов Ахматовой, объявить выговор директору Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» т. Брыкину Н.А., директору издательства «Советский писатель» т. Ярцеву Г.А., политредактору Главлита т. Бойченко Ф.С.

3. Предложить Управлению пропаганды и агитации проверить работу Главлита и внести в ЦК ВКП(б) предложения об усилении политического контроля за выпускаемой в стране литературой.

4. Книгу стихов Ахматовой — изъять».

Можно считать, что это была первая государственная репрессия в отношении поэта и она явилась бы тогда не последней и неизвестно, чем бы тогда же не завершилась, если бы не надвигавшаяся война. В полной мере эти репрессии возобновились спустя годы в 1946, но подготовка к ним велась давно и долго: изъятие стихов Ахматовой в 1940 году было далеко не случайным актом. Как вспоминает генерал Калугин, один из руководителей КГБ тех лет, — «Досье» на Анну Ахматову велось с 1939 года с подтекстом «Враждебные антисоветские настроения и троцкизм». Из года в год, едва ли не с начала 1920 года и в течение всех последующих лет, в это «Досье» включались материалы, донесения, информация секретных осведомителей. Оснований для этого, как считали «железные чекисты» Дзержинского, было более

чем достаточно: жена поэта Гумилева, расстрелянного за участие в «контрреволюционном» заговоре; под постоянным наблюдением находился ее второй муж Николай Пунин, как известно — арестованный в 1949 году и погибший в лагере; сын — студент-бунтарь...

В истории советской культуры, в жизни российской литературы существуют даты, которые можно обозначить пограничными знаками прогресса или, наоборот, деградации. Таким красным сигналом «Стоп!» на пути поэзии и прозы тысяч писателей и миллионов читателей стала дата 14 августа 1946 года. Но за террором, учиненным в отношении Анны Ахматовой, последовала расправа и над теми, кого считали виновными в издании ее стихов. Директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» Николай Брыкин — писатель и публицист, был арестован в 1949 году, осужден и только смерть Сталина вернула ему свободу.

Ее хотели превратить в «опасного» для других литераторов человека. Писателя Виктора Ардова преследовали только за то, что он состоял в многолетней человеческой и творческой близости с Ахматовой и Зощенко.

В трагические, полные всеобщего ужаса перед карательными операциями НКВД дни, она выходила, чтобы дойти до Литейного проспекта, где и днем, и по ночам стояли длинные, молчаливые, исполненные страдания очереди, чтобы оставить передачу арестованному сыну.

Это была по существу небывалая по-размаху гражданская казнь.

Ее квартиру в Фонтанном доме превратили в своего рода з о н у: вход и выход только по пропускам, дескать, потому что здесь же размещен Арктический институт. У входа постоянно дежурили «личности в штатском».

Власть предержашине, политическая цензура, надзирающие партийные органы и органы «Ока государева» сделали все для того, чтобы удушить светлое слово Анны Ахматовой, — устроить, лишить работы и, значит, средств к существованию, умучить голодом.

Вслед за Постановлением издается «Приказ № 42/1629с Уполномоченного Совета министров СССР по охране военных и государственных тайн в печати. 27 августа 1946 года. г. Москва. СЕКРЕТНО.

§1. Изъять из книготорговой сети и библиотек общественного пользования...

§2. Приостановить производство и распространение следующих книг:

Ахматова А.А. Стихотворения 1909—1945 гг. Гослитиздат, Ленинград, 1946 г., 340 стр. тираж 10 000 экземпляров.

Ее же — Избранные стихи. 1910—1946. Издательство «Правда», Москва, 1946 г. Тираж 100 000 экземпляров.

Уполномоченный Совета Министров СССР по охране военных и государственных тайн в печати К.Омельченко.

Помета: Снята копия и отправлено в Главсевморпуть».

Эта пометка весьма примечательна: на судах дальнего плавания,

на полярных зимовках, подчиненных Главному управлению Северного морского пути, имелись свои библиотечки и, стало быть, согласно этой строгой директиве всё печатное, что написано пером Ахматовой, надлежало немедленно изъять и уничтожить. Спрашивается — чем же эта коммунистическая инквизиция отличалась от папской?..

Более полувека минуло с того «Постановления», которое стало позорным приговором для всей советской культуры сороковых и пятидесятых годов. Может быть, уже и позабылось, что о последовало за этим и что испытали на себе писатели, как и сколько было убито этими партийными догмами талантливых произведений — и не только в литературе, но и в музыке, в живописи, в театре, во всем искусстве.

Но давайте зададимся вопросом: почему для всеобщего избнения советской литературы и искусства, в назидание им были избраны именно эти два имени: Ахматова и Зощенко. Каковы этому причины? Случайно ли это или тут присутствует некая закономерность?

Вернемся на минуту к временам войны 41–45 годов. Ее назвали Отечественной, памятуя об Отечественной войне 1812 года. В ту войну, разгромив Наполеона, армии Александра Первого прошли через всю Европу и вошли в Париж. Именно тогда русские офицеры близко ознакомились с идеологией французской революции 1789 года, с сочинениями французских энциклопедистов-просветителей. Они принесли с собой в Россию их идеи, напитавшие 14 декабря 1825 года.

В эту войну, солдаты и офицеры Красной Армии, побывав в странах Европы, где жизнь протекала совсем по-иному, нежели в СССР, и сравнив то, что увиделось там и здесь — могли понять и поняли, какова разница между западной демократией и их страной, где мысль закована в кандалы идеологического абсолютизма.

Такое понимание для Сталина и его партийно-бюрократической опоры было опасно. Нужно было прекратить всякие попытки призывов к утверждению свободолюбия. Было и еще одно обстоятельство: возвращались из лагерей, из ссылки люди, которых заключили туда НКВД-КГБ в 30-е–40-е годы. Они несли с собой разоблачение ежовско-бериевских пыток, их преступного самовластия. И так — с одной стороны Победа, с другой стороны — ГУЛАГ. Те, кто перенес жесточайшие пытки, издевательства, муки террора, спрашивали: «За что?.. Почему?.. Кто должен ответить за истребление миллионов физически и за духовное порабощение народа?..»

Для того, чтобы пресечь всякую попытку морального восстания против цепей официальной идеологии, нужны были «мальчишки для битья», и не просто «мальчишки», а люди — известные обществу, народу как носители мысли, достаточно известные. Нужно было жестко и бескомпромиссно показать, что «народ и партия — едины» и тоже отвергают литературу, которую заклеямили высокие партийные боссы и пресмыкающиеся перед ними критики и литературная элита, та, которая тут же должна спросить подобострастно: «Чего изволите?»

И «казус белли» — причина для войны против Ахматовой и Зощенко была найдена: именно они были предназначены в жертву. В «Досье» Анны Ахматовой уже насчитывалось около 900 единиц материалов. А в отношении Зощенко министр Государственной безопасности СССР Абакумов 10 августа 1946 года, то есть за четыре дня до Постановления, за № 1391/А направил «Справку на писателя ЗОЩЕНКО М.М.» в адрес Центрального Комитета ВКП(б) с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». В «Справке», подписанной Начальником 2-го Главного Управления Министерства госбезопасности СССР Шубняковым, подробно, на двух страницах изложено «кто есть Зощенко», каковы его взгляды и убеждения. Как великий грех «Справка» приводит высказывания писателя: «Я считаю, что советская литература сейчас представляет жалкое зрелище...». В настоящее время, — пишет Шубняков, — ЗОЩЕНКО продолжает критиковать строгость цензурного режима, отсутствие условий для подлинного творчества».

Но извержение вулкана проклятий и унижительных оскорблений в адрес этих двух писателей России — Анны Ахматовой и Михаила Зощенко — не достигло намеченной цели. Общество не отвернулось от них даже и в те мрачные и в последующие застойные годы.

В записке Отдела культуры ЦК КПСС о современной литературе и драматургии, датированной 1 декабря 1956 года, — то есть спустя десять лет после «Постановления», сказано:

«Недавно на филологическом факультете Московского университета была выпущена стенгазета, которая заполнена безудержным восхвалением «величайших» поэтов эпохи — Пастернака, Цветаевой и Ахматовой. Характерно, что никто из преподавателей-коммунистов не нашел в себе смелости открыто высказаться против этих уродливых пристрастий студентов-филологов...»

«Записка» была подписана известным критиком Борисом Рюриковым и двумя чиновниками «от культуры» — Д.Поликарповым и Черноуцаном. Предполагалось «принять меры».

Сегодня нам стоит вспомнить о письме Александра Солженицына IV съезду писателей (1967 год). Он писал в нем: «Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко при жизни подверглись в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получили физической возможности... Союз же писателей неизменно проявлял себя первым среди гонителей».

Только спустя 27 лет, в 1994 году, в сборнике «Кремлевский самосуд» эти строки увидели свет.

Анна Ахматова и Михаил Зощенко... были и остались признанными носителями добра и света. И сегодня мы вновь и вновь радуемся тому, что можем испытывать радость и волнение, прикасаясь к строкам их произведений.

Захар ДИЧАРОВ

«Я ЗВЕЗД КОММУНИЗМА НЕ СМОГ РАЗГЛЯДЕТЬ...»

О Борисе Брике

«Брик получил прочную известность в литературе как поэт-переводчик, специализирующийся на грузинской литературе, как классической, так и современной. Изучение истории литературы Грузии, общение с современными представителями грузинской поэзии, знакомство с языком обеспечили переводам Б.Брика литературную ценность...»*

*Всеволод Рождественский
(октябрь 1940 г.)*

5 мая 1942 года в г. Мариинске близ Новосибирска был расстрелян по постановлению Особого совещания при НКВД СССР поэт-переводчик, член Союза советских писателей Борис Брик, книги которого попали в спецхраны, а имя мало кому известно.

В его архивном уголовном деле за 1931 год, которое хранится в Управлении Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, были обнаружены сборник стихов и сатирическая комедия Бориса Брика.

ПОВОРОТ

Я звезд коммунизма не смог разглядеть
За тучами злой непогоды.
У века в руке различал я лишь плеть
И сердцем замкнулся на годы.

* ЦГАЛИ СПб ф. 371 оп. 2 д. 30

Я стал нелюдим, недоверчив, как волк,
Гоненье мне было в усладу.
В презренье и гордости видел я долг
И принял судьбу, как осаду.

Засел я с солдатами веры своей
Под своды угрюмые башен.
Мы жён погубили, мы съели коней,
И приступ сердцаам был не страшен.

Но видим: никто не проходит к стене
И нет никому до нас дела,
И сделалось скучно и тягостно мне,
И желчью всё сердце сгорело.

А век мой, как прежде, сверкал и гремел
В движенье и радостном дыме.
И зависть проснулась, и разум велел
Душе моей — быть с молодыми.

И поднял на шпаге я белый платок,
Сдаваясь грядущим столетьям,
И будет не злобен мой край, иль жесток —
Судьбу мы, как должное, встретим.

Повинную голову меч не сечёт,
И люди большого разгрома
Ко мне не предъявят минувшего счёт,
Но скажут мне: — Будьте как дома! —

И знаю, что в ёмкой эпохе найдем
Мы место за творческим горном,
И тот, кто был самым упорным врагом,
Тот станет и другом упорным.

ФОМА

Извини меня, тень Ленина,
Что идет
Сторонкою мой путь,
Хоть не раз, волненьем вспенена,
На завод
Молилась тихо грудь.

Я привык грустить и мучиться
Потому,
Что вижу смерти танк.
И другой, и лучшей участи
Не пойму,
Быть может, никогда...

Знаю я, что победители
Всех времён
Ругались над рабом...
Другом я рожден Учителю,
Но рожден
Ученикам — врагом.

- Не отталкивай меня, пожалуйста,
Часто зло
Рождается добром.
Дай ладонь мне, что не зажила,
И копьем
Пробитое ребро.

За столетней далью серую
Хоть ни зги
Не различить уму —
Верую, Учитель, верую
Помоги — неверью моему.

Борис БРИК

* * *

Рукопись сатирической комедии Бориса Брика «Тринадцатый месяц» находится в архивно-следственном деле, которое хранится в Управлении ФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской области. Поскольку произведение писателя является вещественным доказательством, которое включено в следственное дело, — оно, несмотря на полную реабилитацию писателя, не может быть предано публикации по причинам чисто техническим.

По инициативе и при содействии сотрудника УФСБ **Станислава Бернева** мы имеем сегодня возможность открыть для читателя хотя бы фрагмент комедии. По сути своей она глубоко сатирична и предает осмеянию советско-партийную бюрократию. Фантастическая идея придать годичному циклу, т. е. 12 месяцам, — еще один месяц, «тринадцатый», захватывает умы деятелей, которые считают, что эдакая «реформа» сразу двинет общество и государство вперед и будет спасением от всех и всяческих бед...

Характеристики сценических персонажей уже сами по себе остро и выразительно рисуют образы советской партийно-чиновной бюрократии. Справедливо будет сказать, что в них есть что-то «гоголевское»...

Этот фрагмент мы и публикуем.

Захар ДИЧАРОВ

ТРИНАДЦАТЫЙ МЕСЯЦ

Сатирическая комедия в 5-ти действиях

Действующие лица:

Прошибалов, Эрнест Модестович, член президиума Н-ского Окрисполкома, 45 лет, бас. Чуть выше среднего роста. Черные с проседью, красиво подстриженные волосы и аккуратные усики; начинает жиреть, поэтому как бы вылезает из своего костюма: черной плотной гимнастерки, перетянутой тонким ремешком, и таких же брюк, засунутых в желтые или также черные лакированные сапоги. Краснознаменец. У него только два тона. Одобрительно-начальнический и грубо-командирский; настолько привык в своей роли, что на 99 процентов искренен; уверен, что делает нужное и хорошее дело.

Приветов, Демьян Сергеевич, председатель Дуйского Уисполкома, 35 лет, баритон, высок и худ, как восклицательный знак, белокурые, пышные, зачесанные назад волосы; одежда хорошего качества, но носит он ее неряшливо; прекрасный синий костюм помят, на коленях начинают образовываться мешки, жилета нет, белую английскую рубашку носит без галстука, воротник ее оттопырен, пиджак, если застегнут, то лишь на нижнюю пуговицу, а чаще всего растегнут совсем. Вечно, даже за столом, сидит в галошах и кепи. Грудь усеяна значками обществ: дирижаблями, автомобилями и моторными лодками большого размера. Также уверен, что делает нужное дело, но привыкнув более нежели Прошибалов поглядывать наверх, сомневается более, искренен только на 75 процентов. Очень начитан, но исключительно в марксистской литературе; постоянный подписчик всех марксистских журналов. Страдает отчасти самогипнозом.

Анюшко-Ястржембский, Клементий Казимирович, секретарь Уисполкома, поляк, 40 лет, медоточивый и пришепетывающий тенор, невысок и худ, одет в ловко сшитую коричневую тройку; чувствуя себя все время несколько не в своей тарелке, нервничает.

Закрывайтис — начальник административного отдела, латыш, 35—40 лет, обритая голова, гражданские брюки и военная гимнастерка, практик, в теории слабоват, со стопроцентной искренностью ориентируется на очередного председателя Уисполкома; между прочим, мемуарист гражданской войны.

Бордюг Аполлон Сидорович — заведующий финотделом, 50 лет, хрипун, высок и толст, густые черные моржовые усы, одет в широкий еще увеличивающий его полноту костюм.

Крутолобова, Нинель Тимофеевна — заведующая Гороно и Уездн. Реперткома, 40 лет, среднего роста, плоскогруда и мужеподобна, носит мужскую прическу с дробором. Одежда: белая батистовая блузка и черная шелковая юбка. Искренна на 51 процент. 49 процентов искренности старается зарабатывать самовнушением.

Суп, Наум Ильич — редактор «Дуйской правды», 55 лет, совер-

шенно лысый лилипут, вечно небрит, одет в длинный не по росту френч. С 17 года ошарашен тем, что эпоха получилась совсем не такая, о которой он мечтал на каторге, и с тех пор, сохраняя на лице вечное удивление, несколько испуган и все к чему-то присматривается.

Данилов, Владимир Петрович — директор завода «Июльские дни», 40 лет, среднего роста, движения эластичны, как у kota, рыжая ассирийская борода, как у Ассурбанипала, одет в модный серый костюм, носит также джемпер, изящный дождевик и фетровую шляпу.

Богоявленский, Автодор Иванович — председатель Правления Ц.Р.К., 30 лет, полированный блондин, носит костюм для гольфа и поверх него пальто желтой кожи.

Зонтиков — брандмайор, 35 лет, в полной форме; в первых 4 действиях носит фуражку, шлем же Центуриона только в 5 действии. Очень исполнительный, старается услужить.

Жлоба — заведующий адресным столом, почти ничего не понимает, запуган и робок, тяготеет своим безделием, опасаясь, что оно заметно и потому рад услужить.

Жмойда — заведующий информационно-статистическим бюро. Также почти ничего не понимает, но знает свое дело лучше нежели Жлоба свое; оттого более смел. Иногда довольно удачно поддакивает.

Пыхов — заведующий ЗАГСом, абсолютно ничего не понимает, если же уяснит себе наконец что-либо, то умрет с этим убеждением.

Туркин — бухгалтер финотдела 50 лет, кляузная бородка, лыси-на тонзурой, но с остатками волос. Из под брюк торчат незавязанные тесемки кильсон, галстук на сторону.

Суп Розалия Абрамовна — разведенная жена Супа, 50 лет, мастодонтальная дама, широкоплеча, узкобедрая. Грудь с успехом может служить подносом. Одета кричаще: полосатое платье, причем блуза в поперечную полоску, юбка в продольную.

Эпизодически действующие лица.

1-й, 2-й, 3-й и 4-й Колонновожатые, каждый с красной повязкой на руке и с бантом на груди.

1-й и 2-й Рабочие в пиджачных парах, кепи и русских рубашках с отстегнутыми воротами.

1-й и 2-й Граждане в пиджачных тройках или френчах.

Колхозник — борода, спрятанная в английскую рубашку.

Кредитор — остроклювый, желтый с кадыком и вытарашенными глазами.

Именинница — пожилая рябая кумушка, худошава, в старомодном выношенном жакете.

Крессат — низкорослый, тучный раздражительный сангвиник.

Двоемужница — мелкая служащая в каракулевым пальто, накрашена.

Больной, с завязанным горлом.

...ть, рычащий верзила из маклаков с толкучки.

Пионер — десяти-одиннадцати лет.

Старушка, укутанная в большой байковый платок.

Родильница, с новорожденным на руках, в платке, накинутом на плечи, простоволосая.

Пьяный, с клюквенным носом.

Бездействующее лицо:

Закусилов — покойник, невидим и безгласен.

Все главные действующие лица, за исключением Анюшко, Зонтикова, Жлобы, Жмойды, Жмыхова, Жмуркина и Розалии Суп — члены ВКП(б).

Действие происходит в Н-ском Округе, в Уездном городе Дуйске с 8 часов вечера 30 числа до 8 часов 1-го. Месяц неизвестен...

Борис БРИК

ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Среди следственных документов советской поры присутствует нечто весьма примечательное: ордер на водворение за решетку поэта Александра Блока. Этот факт имел место 80 лет назад. Разумеется, это не та дата, которая может служить поводом, чтобы ее особо отмечать. Но это — безусловный повод для оценки того прошлого, о котором мы обязаны помнить.

Считается, что духовный кризис Александра Блока имел своим началом 1922 год, после того как в Российской Федерации была установлена официальная цензура. Но, как представляется, не только это, но и одно, более раннее событие вызвало у него осуждение прежних взглядов о днях, которые разожгут «мировой пожар в крови».

В феврале 1919 года в Петрограде предполагалось общее собрание учредителей Вольной философской академии. Было решено, что первое заседание откроется докладом Блока «Катилина. Эпизод из истории мировой революции». Но неожиданное обстоятельство помешало поэту выступить в Вольфиле.

Это обстоятельство — арест в феврале 1919 года.

Документ гласит:

СПРАВКА

Из материалов архивного фонда УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и области установлено, что

Блок Александр Александрович,
1880 г. р., дворянин, служил
в Комиссариате народного Просвещения

председателем Репертуарной секции,
проживал по адресу:

Петроград, Офицерская ул., д. 57, кв. 21,

был арестован 15 февраля 1919 года Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Союзе Коммун Северной области за принадлежность к партии лев. эсеров.

Террор эпохи военного коммунизма был в те годы в полном разгаре. Арестовывали и расстреливали «заложников», раскрывали действительные и сочиняли мнимые заговоры. Блок подвергся аресту вместе с группой литераторов, сотрудничавших в левозэсеровских изданиях, после того как был раскрыт заговор руководителей левых эсеров. Его изоляция не была продолжительной. В своей записной книжке он 15 февраля писал:

«Вечером после прогулки застаю у себя комиссара Буллацеля и конвойного. Обыск. Арест. Ночью в компании и ожидании допроса на Гороховой». Следующая запись сделана 16 февраля: «Допрос у следователя Лемешова около 11 час. утра. Около 12-ти перевели в верхнюю камеру. [Чердак — З.Д.]. День в камере. Ночь на одной койке с Штернбергом. В 2 ч. ночи к следователю Байковскому...» [второй допрос]...»

Среди тех, кто попал в число «заговорщиков», был писатель Иванов-Разумник. Его привезли на Гороховую 2—13 февраля 1919 года, — бывшее градоначальство, знаменитый центр большевистской охраны и, одновременно, пропускную регистрационную тюрьму:

В своих воспоминаниях он пишет:

«В пять часов утра — как я потом узнал — ряд автомобилей с чекистами подъезжали в разных частях города к домам, где жили мои знакомые, адреса которых я имел неосторожность занести в свою записную книжку (с этих пор никогда больше я этого не делал). Были арестованы и отвезены на Гороховую, 2: поэт Александр Блок с набережной реки Пряжки, писатель Алексей Ремизов, художник Петров-Водкин, историк М.К.Лемке — с Васильевского острова; писатель Евгений Замятин — с Моховой улицы; профессор С.Венгеров — с Загородного проспекта, — еще и еще со всех концов Петербурга, где только ни жили мои знакомые. Какая бурная деятельность бдительных органов советской власти!

Всех доставили на Гороховую, но не отправили из регистратуры на чердак, где они могли бы встретиться и сговориться со мною, а держали в других помещениях и стали поочередно вызывать на допросы. Там их огорошивали сообщением, что арестованы они как участники заговора левых эсеров. Маститый профессор С.А.Венгеров спокойно сказал: «Много нелепостей слышал на веку, но эта — царица нелепостей». Е.И.Замятин стал хохотать, что привело в негодование следователя, малограмотного студента: над чем тут смеяться? Дело ведь се-

рзное! Но как ни старался следователь внушить арестованным, что они — левые эсеры и заговорщики, ничего из этого не выходило; тогда он предложил каждому из них заполнить лист подробным ответом на вопросы: как и когда они познакомились с левым эсером писателем Ивановым-Разумником? В каких отношениях и сношениях находятся с ним в настоящее время? Какие беседы вел он с ними обыкновенно, а за последнее время — в особенности? Каждый из арестованных, кроме обычной анкеты, заполнил и лист ответов на эти вопросы, после чего этих опасных государственных преступников, продержав на Гороховой меньше суток, стали отпускать по домам. Какая бессмыслица — с каким серьезным видом она делалась!

Исключение составили два человека — писатель Евгений Замятин и поэт Александр Блок: первого выпустили немедленно же после допроса, так что пребывание его во чреве Чека было всего часа два; второго задержали на целые сутки и отправили на чердак.

...Вернувшись с допроса, я попытался вздремнуть на голых досках, но с семи часов утра весь чердак проснулся и пришел в движение. Теперь, при дневном свете, я мог рассмотреть своих товарищей по заключению, потолкаться среди них, поговорить с ними. Вот уж подлинно — какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний! Русские, немцы, финны, украинцы, армяне, эстонцы, евреи, грузины, латыши, даже несколько китайцев; рабочие, крестьяне, бывшие офицеры, студенты, солдаты, чиновники, даже несколько “действительных статских советников”, беспартийные и партийные, а из последних — главным образом социалисты разных толков, до анархистов включительно; политические и уголовные, а среди последних группа “бандитов”, так себя именовавших; ватные тулупы и пиджачные пары, рабочие куртки и потрепанные остатки былых сюртуков, френчи и толстовки — все промелькнули перед нами, все побывали тут...

Во всех группах, к каким я ни подходил, разговоры вращались вокруг одной и той же темы — возможной “интервенции” мифических “союзников” и неизбежной тогда эвакуации Петербурга большевиками: всю ночь глухо докатывались до нас орудийные удары. Придется большевикам уходить из Питера — что тогда они с нами сделают? Отберут овец от козлиц? — Надо сказать, что громадное большинство отвечало на эти сомнения бесповоротно: всех перестреляют. Рано утром внесли громадные чайники с горячей жидкостью, именовавшейся чаем; выдали по восьмушке хлеба на человека. В нашей пятерке некий спекулянт щедро подсластил чай сахарином, в изобилии имевшимся в его карманах, — и это было большой гастрономической роскошью. Солдат-эстонец, в один прием проглотив свою восьмушку хлеба, меланхолически заметил: “И это на весь день”. Но горячая жидкость все же немного меня подкрепила и разогнала сонное настроение. Однако настроение большинства было подавленное. Замятин первым из арестованных вышел из узилища.

Иное дело было с Александром Блоком. Он был явно связан с левыми эсерами: поэма "Двенадцать" появилась в их партийной газете "Знамя Труда", там же был напечатан и цикл статей "Революция и интеллигенция", тогда же вышел отдельной брошюрой в партийном издательстве. В журнале левых эсеров "Наш Путь" снова появились "Двенадцать" и "Скифы", вышедшие опять-таки в партийном издательстве отдельной книжкой с моей вступительной статьей. Ну как же не левый эсер? Поэтому допрос Александра Блока затянулся, и в то время, как всех других вместе с ним арестованных мало-помалу после допроса отпускали по домам, его перевели на чердак. Меня он там же застал, я был уже отправлен в дальнейшее путешествие, но занял он как раз то место на досках, где я провел предыдущую ночь, и вошел в ту же мою "пятерку". Одновременно с ним попал на чердак и стал соседом Блока наш будущий "ученый секретарь" Вольфилы А.З.Штейнберг».

17 февраля 1919 года Блок А.А. за недоказанностью обвинения изпод стражи освобожден. Помогли хлопоты М.Ф.Андреевой и Луначарского.

В письме к Н.А.Нолле-Коган, вскоре после возвращения домой с Гороховой, Блок писал: «...просто какая-то глубокая усталость, доходящая до апатии временами [...] Чувствуя все время [каждый день] мундштук во рту [воинская повинность]. обыски, Гороховая... Я не мог бы, если бы и не хотел устать...»

Через год после смерти Блока А.З.Штернберг напечатал в вольфильском сборнике, посвященном памяти покойного поэта, свои очень живые воспоминания о том, как автор «Двенадцати» — «весь свободы торжество» — провел день 14 февраля на чердаке Чека.

Зинаида Гиппиус в книге «Живые лица», рассказывающая о своих отношениях с Блоком, вспоминает, что в первые после Октября дни он задавал себе вопрос: «Как же теперь... ему... русскому народу, лучше послужить?»

Да, э т о было для него главное: писать, творить, созидать культуру для народа. «...Савинков ...затеял антибольшевистскую газету, — пишет З.Гиппиус. — Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные писатели дали согласие... Звоню Блоку... Зову на первое собрание.

Пауза. Потом:

— Нет, Я, должно быть, не приду.

— Отчего? Вы заняты?

— Нет. Я в такой газете не могу участвовать».

И, тем не менее, 13 февраля 1919 года Блок был взят под стражу... Казалось бы — могло ли оказать влияние на поэта, певца прекрасного, непродолжительное лишение свободы?.. На видимую его последующую деятельность это как будто и не повлияло. Но совершенно зри-

мо: на собственной судьбе он почувствовал, каковы в реальности его былые мечты о будущем, исполненном радужного бытия. Все реже выходят из-под его пера стихи. Все реже обращается он к поэтическому творчеству.

Вдумаемся в смысл некоторых строк его последнего стихотворения — «Пушкинскому Дому».

Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.
Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман
Прозреваем дней грядущих
Сине-розовый туман.
(Выделено мной — З.Д.)

Явственно и остро ощущаем мы в этих немногих словах глубокое разочарование жизнью, ломающей, рушащей какую-то глубоко личную душевную основу. Ту, что побуждала поэта творить.

Истинный поэт, Поэт от Бога — всегда пророк.

Земное сердце уставало.
Так много лет, так много дней.
Земное счастье запоздало
На тройке бешеной своей...

Не о себе ли сказал Блок в этих строках?

В своих воспоминаниях о нем Зинаида Гиппиус выделяет две его черты: трагичность и незащищенность.

Она — не ошиблась.

Захар ДИЧАРОВ



«ДЕТСКАЯ ЗОНА» УСОЛЬЛАГА И СТРАНА СОВЕТОВ

Моя мама, Галина Михайловна Якубова, была арестована зимней ночью 1948 года, в Перми. Она работала в то время в клубе Военно-морского авиационно-технического училища художником и жила в огромной коммуналке на 48 жильцов.

Накануне ареста, морозным солнечным утром, по дороге на работу она встретила директора клуба, Сергея Федоровича Н... Он сердечно поздоровался с художницей и тут же попрощался: «Уезжаю в Москву, в школу следователей!»: ему открывались новые горизонты...

Через несколько часов по его доносу Галина Михайловна была арестована. Некоторые основания для этого у Сергея Федоровича, можно сказать, были. Мама моя, человек талантливый, но всегда бывшая «белой вороной», решила занять активную жизненную позицию и вступить в партию. Рекомендацию она попросила у директора клуба. Готовя в партию свою подопечную, он узнал, например, что не стоит вешать лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» над домом, возле которого всегда стоит слепой нищий с мальчиком поводырем... «Давайте поможем им. Или хоть лозунг перевесим». Сергей Федорович, человек, видимо, практичный, изложил все, что предлагала художница, с собственными, идеологическими замечаниями, и те легли в основание дела гр. Якубовой. Директору клуба вынесли благодарность за бдительность, и отправили в Москву на курсы. А художницу арестовали.

У мамы был девятилетний сын — Сережа (его отец, большевик, застрелился в 39-м, когда узнал, как погиб Серго Орджоникидзе), и мама была беременна. Мною. В день ареста она об этом еще не знала.

Всю ночь шел обыск в набитой книгами, рисунками и черновиками

стихов комнатке. Сережа испугался, и всю ночь мама рассказывала ему сказки и смешные истории. Парнишка-конвоир — обыкновенный солдатик срочной службы — сказки и истории тоже слушал и хлюпал носом — жалел и Сережу, и его маму.

Когда ее вели по коридору коммуналки, соседи высовывались. А она повторяла: «Сходите за Сережиной бабушкой, Агнией Ивановной, улица Попова, 8». Но никто из соседей за бабушкой не сходил, Сережу через день увезли в детприемник, где драчуны выбили ему зубы и где он заболел тифом. Через несколько месяцев бабушка Агния Ивановна с огромным трудом отыскала внука и забрала к себе.

Между тем, маму посадили в следственный изолятор, в Перми (тогда Пермь называлась город Молотов). Врач в тюрьме сообщил ей, что она беременна. И предложил, хотя аборт тогда были запрещены, «ввиду особых обстоятельств» освободить ее от беременности. Думаю, он ее пожалел. Но мама была странный человек. Ей было 37 лет, она угодила, и, как она догадывалась, надолго — за решетку, но очень хотела ребенка. Я была, что называется, «молёное дитяtko». Единственное, на что мама надеялась, что следствие закончится до того, как настанет время рожать. Сокамерницы поопытней говорили, что в лагере все же полегче и что есть даже специальные лагеря для беременных.

Следователи, которых сменилось трое, относились к гр. Якубовой хорошо. Показания свидетелей она почти все подтверждала (все потому же, чтобы «помочь следствию» и скорее оказаться в лагере). А показаний было много! Почти все ее друзья нашли хоть какое-либо «лыко в строку». Один из следователей — студент-заочник юрфака, которому мама помогала писать курсовую работу, показал ей дело целиком.

Грустно было смотреть, что делал страх с людьми, которых она хорошо знала. Самое страшное в деле было то, что она «злостно искажала лица членов Политбюро на портретах, писанных к дразднику». И ее подруга, художница, с которой они делили все беды войны, как эксперт подтверждала этот бред.

Мама согласилась и с этим показанием.

В сентябре состоялся суд. Мама с большим животом, спокойная и даже довольная — успела с судом до родов — причесалась и нарядилась, как смогла. От защиты она отказалась. Отец мой, Лев Валентинович Маратов, кстати, тоже дал показания: подтвердил преклонение Якубовой перед иностранщиной: как-то он предложил гражданке Якубовой почитать классика русской литературы И.С.Тургенева, а она ответила, что предпочла бы французский романчик... Такие дела.

О суде мне рассказывала и мама, и те из присутствовавших в суде, кто все-таки остался ее друзьями. В том числе и та бедолага-художница. Это было одно из самых ярких судебных заседаний в Молотовском

суде. В зале нередко вспыхивал хохот, причем прыскал и прятал лицо за бумагами даже прокурор.

Одним словом, он запросил 8 лет, а дали гр. Якубовой только пять, что было чудом. Мама вспоминала лица — прокурора, судьи. Видно было, что они всё понимают: нет, не сволочи они, а просто — такая жизнь сволочная. Что вот дают веселой, смелой и талантливой «белой вороне» пять лет, и уже, стало быть, гордиться могут — только пять...

Вверх по широкой реке Каме маму с другими зеками в барже доставили в город Боровск. И она очутилась на земле обетованной — в лагере, где стояли аккуратные и чистые, построенные немцами бараки; где росло несколько сосен и была даже клумба с астрами. За тремя заборами в лагере была «мужская зона» с областной лагерной больницей. Там же была прачечная и баня, куда водили женщин заключенных, на радость мужчинам, смотрешшим на них с крыш барачков.

А еще была «детская зона», потому что лагерь был специализированный: для инвалидов, беременных женщин и молодых матерей.

Там 7 октября 1948 года родилась я. Роды были необыкновенно легкими, акушерка Катя просто диву далась, как просто и быстро немолодой маме удалось родить крупную (4 кило 100 грамм) девочку. Я Кате очень понравилась. Она сбегала к клумбе, покрытой первым снегом, и принесла маме несколько астр.

Четыре дня мама была счастлива, назвала меня Анной и послала письмо родителям моего отца (чтоб не испортить жизнь Льву Валентиновичу Маратову письмом из лагеря), что у их сына родилась дочь Анна (через несколько недель ей пришел ответ, чтоб она впредь не беспокоила порядочных людей своими письмами).

На четвертый день я заболела сепсисом.

Дело было в том, что «прачечная» в мужской зоне была просто большим чаном с содовым тепловатым раствором, в котором вместе с мужскими портянками, рубами и подштанниками мокли и детские пеленки. Они возвращались из стирки нередко грязнее, чем уходили. Дети в «детской зоне» болели и умирали достаточно часто... Но меня мама спасла. Она знала, что существует такое лекарство — пенициллин: объявив голодовку и пригрозив самоубийством, добилась для меня этого лекарства.

Главный врач больницы (был он зеком одной из первых волн), мрачный, огромный, молчаливый. Через несколько дней принес несколько флаконов пенициллина. Все та же акушерка Катя стала делать уколы. У мамы к тому времени от ужаса и голодовки не стало молока, моими кормилицами стали дюжие бандитки и воровки, я знаю даже не имя, а кличку только одной из них — Натка Звездочка. После лагеря, в конце 50-х, она приезжала к нам, как и акушерка Катя.

А с Наткой у мамы было знакомство памятное. В первый день в

лагере, еще пузатая, мама пришла в лагерную столовую, получила миску с кашей и, приглядев место за столом, стала садиться. Сзади послышался окрик: «Ну ты, фашистка, куда лезешь!» Тогда моя интеллигентная мама, поэт и художник, слова худого не говоря, развернулась и залепила горячей кашей в физиономию блатнячки. Поступок был импульсивным: мама не знала, что «фашист» на блатном жаргоне того времени, в 1948 году означало просто — «политический». В первое мгновение она подумала: «Вот сейчас убьют». Но услышала хохот — смеялась вся столовая. Тетка, соскребя с себя кашу и матерясь, ушла за другой стол, а маме выдали новую миску и указали место за столом, где сидели «паханы». Надо сказать, что в женских зонах иерархия была достаточно условной, не такой строгой, как у мужчин. Натка Звездочка, авторитетная, молодая и сильная мамаша двухлетнего Славика, сидела за грабежи с применением холодного оружия. После случая с кашей и еще больше, когда мама боролась за мою жизнь, Натка прониклась к ней интересом и уважением.

Я трижды встречала людей, родившихся, как и я, в лагере. В Перми есть хороший прозаик, Виталий Богомолов — вот он, например, родился тоже в лагере, не в моем, и в более поздние времена. Но мною произошла странная вещь: я ничего не помню ни о лагере (а ведь я там находилась до 3-х лет), ни о детских домах, в которых жила до маминого возвращения из лагеря. Это странно, если учесть, что моя дочь помнит себя с 11 месяцев. А мое первое воспоминание относится к возвращению мамы. Мне четыре с половиной года, я стою на табуретке, бабушка Агния Ивановна причесывает меня и завязывает огромный бант. Я помню, как вошла мама; она казалась очень измученной и очень старой — старше бабушки. Я очень волнуясь и боюсь упасть с табуретки, бабушка бросилась к маме. А мама, едва обняв бабушку, ко мне...

О том, как жила «детская зона» я знаю только от мамы, собственных воспоминаний нет.

Детская зона была отгорожена от взрослой; матери (кормящие) допускались в нее, кажется, 3 раза, остальные кормления были искусственные или из сцеженного молока. По вечерам двух-трех мамаш (по специальным записям) допускали купать малышей — сразу всех, и своих, и чужих.

Для мамы худшим испытанием была разлука со мной. Когда меня увезли, она действительно чуть не умерла. И другие женщины волчицами выли, расставаясь с детьми. У многих были огромные сроки... Кроме того, когда забирали детей, матерей переводили в другие лагерь, где условия были гораздо тяжелее.

Маму не перевели; она хронически болела — дисбактериоз, цинга; была хорошей художницей, лагерь держал первые места по нагляд-

ной агитации. Возможно, и в «детской зоне» висел все тот же, написанный ее рукой, дозунг «Спасибо товарищу Сталину»...

В маминном желании считать свою судьбу из ряда вон трагической я вижу большую ее честность и, поломанное у большинства людей ее поколения, чувство собственного достоинства. Она терпеть не могла в отношении себя выражения «жертва репрессий». Это перешло и мне. Детство, которое я помню, — пятидесятые годы и начало шестидесятых в деревнях и поселках Западного Урала, детство голодное не до обморока, а так, без мяса и фруктов, но с рыбой из речки и земляникой из леса... Оно было как у всех. Те, кто сидел и те, кто не сидел мало чем отличались друг от друга. Мама рассказывала о старухах, которые не желали выходить на волю из лагеря. Какая там воля! Вся страна — зона. А хлебушка в той, большой зоне, не дадут, и крыши над головой не будет. Дети войны, дети переселенцев, дети алкоголиков, дети матерей одиночек — все мы были просто детьми своего времени. И даже дети из «благополучных семей» были ушиблены своим временем — их презирали, они были «дети начальников». А дети стукачей и прочих мерзавцев — разве они не «инвалиды детства»? И ведь их миллионы.

Конечно, в Усольяге была «детская зона» и она была не сахар. Конечно, сквозь нее прошли тысячи маленьких граждан страны Советов, зеки по рождению. Но, как говаривал Иосиф Виссарионович про членов Союза писателей СССР, «других писателей у меня для вас нет». Так и других детей в стране-зоне у нас для вас нет — все из «зоны».

Еще несколько слов о маминной писательской судьбе. Она всю жизнь писала стихи, относилась к себе очень строго и в Союз писателей, несмотря на то, что печаталась, заявления не подавала («я уже однажды подавала заявление в партию»). Ее рукописи пропали в год ее смерти, в 1973-м. Наизусть я помню мало. Она писала безупречные по форме сонеты и даже венки сонетов, и даже акросонеты, и даже венки акросонетов. Еще она писала милые детские стихи. Акросонеты она застенчиво называла «мои версификации». Один из сонетов посвящен музыканту Эдуарду Песикову, очень милому и очень памятному мне человеку, который, кстати, угодил за решетку под конец жизни, в 70-х. Вот это стихотворение:

Экклизиастово «все суета сует» —
Девиз и оправдание для лени.
Усталому нет места в перемене
Абсурда на абсурд и бреда вновь на бред.

Разумного же, право, в мире нет
Для каждого, кто чувствует: «я бременен».
Потомство, процветанье поколений?..
Едва ль замерзшего согреет лунный свет.

Сейчас живи, сейчас, смакуя каждый миг.
И даже боль. И если рвется крик —
Комедия не будет слишком длинной.
О, если бы не хмель искусств, страстей и книг,
Вы не увидели б измятый жизнью лик —

Галины.

Если прочесть первые буквы каждой строки — получится «Эдуард Песиков». Однако, несмотря на этот фокус, это еще и просто стихи. Так мне кажется.

Комарово,

11 августа 1999 г.

в день Солнечного затмения,

Парада Планет и несостоявшегося Конца Света.

* * *

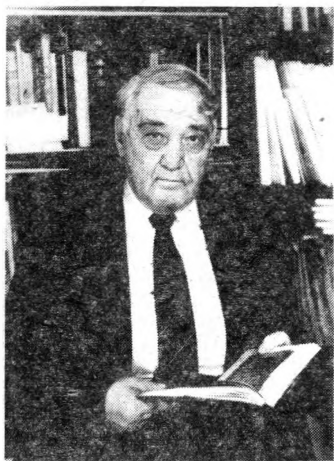
Галина Михайловна Якубова (литературный псевдоним Галина Долина) родилась в Перми в 1911 году. Закончила Пермский художественный техникум. Печатаť стихи (лирика, басни, детские стихи и сказки) начала в шестидесятые годы. Печаталась в альманахе «Прикамье», в журнале «Урал», в газетах, в детском альманахе Пермского областного книжного издательства «Оляпка», в коллективных сборниках. Скончалась в 1973 году.

С 1948 по 1953 год отбывала заключение по статье 58 в лагере в городе Боровске Пермской области. Реабилитирована в 1963 году.

Анна Львовна Бердичевская родилась в 1948 году в лагере в г. Боровске Пермской области. Закончила Пермский государственный университет. В настоящее время — главный редактор журнала «Бизнес Матч».

Печататься начала в семидесятые годы — в журналах «Урал», «Юность», «Новый мир», «Литературная Грузия», «Континент». Вышло три сборника стихов: «Странствие» и «Отзвук» — в Грузии, «Тихий Ангел» издан в Москве фондом «Багаж» (1998 год). В журнале «Урал» в номере 3 за 1989 год опубликована повесть Анны Бердичевской «Не плачь, не горюй».

Анна БЕРДИЧЕВСКАЯ



О ЛЬВЕ ГУМИЛЕВЕ

Он был сыном поэзии и пасынком закона. Мы были с ним сверстниками. Оба родились в 1912 году. Учились на истфаке ЛГУ в одно время. Оба закончили его. И судьба у нас общая с небольшой разницей: его подвергали арестам и приговорам четыре раза; меня — дважды. Он стал большим ученым, я — просто литератором. И та же судьба дает нам возможность сказать скорбное слово памяти обо всех троих: Анне Ахматовой, Николае Гумилеве и их сыне Лье Гумилеве.

Книги серии «Распятые», это — наш РЕКВИЕМ по ним...

Захар ДИЧАРОВ

Федеральная служба
безопасности
Российской Федерации
Управление
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Служба РАФ
04 мая 2000 г.
гор. Санкт-Петербург

Дичарову З.Л.
193231,
г. Санкт-Петербург,
ул. Подвойского,
д. 24, к. 1, кв. 246

Уважаемый Захар Львович!

На Ваш запрос от 04.04.2000 г. сообщаем, что по материалам архивного фонда Управления ФСБ РФ по г. С.-Петербургу и области проходит: ГУМИЛЕВ Лев Николаевич, 1 октября 1912 г. р., уроженец г. Пушкина Ленинградской области, русский, студент 2 курса

Исторического факультета ЛГУ, проживал по адресу:

г. Ленинград, наб. р. Фонтанки, д. 34, кв. 44.

Был арестован 22 октября 1935 г. УНКВД ЛО по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР в том, что: «...являлся участником к/р группы, занимался сочинением и распространением антисоветских произведений, высказывал террористические настроения по адресу вождей ВКП(б) и Советского Правительства».

Постановлением УНКВД ЛО от 3.11.1935 г. дело следствием прекращено и Гумилев Л.Н. из-под стражи освобожден.

10 марта 1938 г. Гумилев Л.Н. был арестован УНКВД ЛО по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 58–10 и 58–11 УК РСФСР в том, что «...являлся руководящим участником к/р молодежной организации, вел активную к/р работу».

Военным Трибуналом ЛВО 27.09.1938 г. Гумилев Л.Н. был приговорен к 10 годам ИТЛ, с поражением политических прав сроком на 4 года, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.

Определением Военной Коллегии Верховного Совета СССР 17.11.38 г. приговор ВТ ЛВО от 27.09.1938 г., по кассационной жалобе осужденных, был отменен и дело направлено Военному Прокурору ЛВО для производства дополнительного расследования. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 26 июля 1939 г. Гумилев Л.Н. заключен в ИТЛ сроком на 5 лет.

Постановлением Президиума Ленгорсуда от 20.05.1975 г. Гумилев Л.Н. по данному делу был реабилитирован.

6 ноября 1949 г. Гумилев Л.Н. был арестован УМГБ ЛО по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. ст. 17–58–8, 58–10 и 58–11 УК РСФСР, в том, что «...являлся активным участником антисоветской группы и вел подрывную работу против Советского государства».

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 13.09.1950 г. Гумилев Л.Н. был осужден к 10 годам ИТЛ.

Определением Военной Коллегии ВС СССР от 2 июня 1956 г. Гумилев Л.Н. по данному делу был реабилитирован и освобожден из-под стражи.

Материалов в отношении Николая Гумилева в архивах нашего Управления не имеется.

Зам. Начальника Службы
С.В.Чернов

«ПОВОДА ДЛЯ АРЕСТА НЕ ДАВАЛ»

С доктором исторических наук Львом Николаевичем ГУМИЛЕ-ВЫМ беседует публицист Лев Эдуардович ВАРУСТИН.

Лев Николаевич Гумилев (1912–1992) — сын двух знаменитых русских поэтов — Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича

Гумилева, — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Ленинградского университета, крупный авторитет в области этнографии, исторической географии, истории восточных народов. Вокруг имени Льва Гумилева и по сей день не утихают споры. Его научные представления используют в качестве аргументов не только философы, но и писатели, публицисты, политические лидеры. -

Главные идеи своего учения — этнологии, науки о естественных закономерностях рождения и гибели народов и народностей, Лев Николаевич вынашивал на нарах, точнее — даже на фуфайке под нарами Ленинградской пересыльной тюрьмы на Константиноградской улице, в доме номер 6, ожидая попутного этапа в заполярный Норильский лагерь.

Четырнадцать лет провел он в следственных тюрьмах и трудовых лагерях. Спросите — за что?

В 1949 году в Лефортовской тюрьме состоялся примечательный разговор между следователем майором Бурдиным и арестованным в четвертый раз Львом Гумилевым, бывшим научным сотрудником Музея этнографии народов СССР, кандидатом исторических наук.

Лев Николаевич хорошо помнит, как это происходило.

— В Лефортовской тюрьме, кстати сказать, довольно паршивой, вроде наших «Крестов», Бурдин, человек внешне вежливый, начал протокол допроса словами, которые якобы принадлежали мне, но которые на самом деле следователь тут же придумал сам: «Я повода для ареста не давал». Впрочем, слова эти совершенно верно отражали действительность. Дальше шли штрихи моей биографии, часто вымышленные, во всяком случае непременно акцентированные, дававшие повод подозревать во мне некоего политического злоумышленника. Последний вопрос был таков: «Что вы делали против Советской власти?» Я ответил, и это тоже вполне соответствовало истине: «Ничего...»

Насколько обоснованным выглядело обвинение, показывает реакция на него прокурора. Вручая Гумилеву на Лубянке постановление Особого совещания НКВД, прокурор заявил: «Вы опасны, потому что грамотны. Получите десять лет».

Осенью 1990 года мы беседуем со Львом Николаевичем в его квартире на Большой Московской улице в старом питерском доме. Как видится пережитое человеку, поставленному вне закона, его глазами?

Первый удар молнии, опаливший и на долгие годы предопределивший судьбу младшего Гумилева, последовал летом 1921 года. Третьего августа был арестован его отец, поэт Николай Степанович Гумилев, а спустя три недели вместе с другими участниками так называемой контрреволюционной организации профессора Таганцева он был расстрелян, как можно предполагать, в сосновом бору под Бернгардовкой — в тихом дачном поселке неподалеку от Петрограда. Не спасло ходатайство Максима Горького, Акима Волынского, Михаила Лозин-

ского и других литераторов, просивших петроградские власти выпустить Гумилева под их поручительство.

Сегодня читатель, наконец, получил доступ к документам, хранящимся в деле Гумилева за номером Н-1381. И выяснилось, что былые сомнения в надуманности выдвинутых следствием против поэта обвинений не только не рассеялись, а получили новые неопровержимые доказательства. В деле нет ни прокламаций, ни каких-либо других вещественных улик, прямых или косвенных свидетельств, уличающих Гумилева как участника противоправительственного офицерского заговора. Единственная улика — показания самого Таганцева — сводится к тому, что участники заговора намеревались вовлечь Гумилева в организацию и для этого прощупывали его политические настроения. Впрочем, как пояснил на том же допросе Таганцев, они отказались от этого своего первоначального намерения, убедившись вскоре «в близости советской ориентации» поэта.

Политическое ожесточение, подозрительность, слепая недоброжелательность по отношению к чужаку, бывшему офицеру, «дворянскому» поэту — вот что вело пером следователей, чинило приговор, заранее предвещало беспощадную расправу.

И что характерно. Ненависть, посеянная однажды, при сходных обстоятельствах оживает. Так и дело Н-1381 не покрылось архивной пылью. Скрытое на десятилетия от посторонних «чужих» глаз за толщей сейфовой брони, оно, подобно радиоактивному веществу, излучало энергию вражды, подозрительности, мести, искало новые жертвы.

Спрашиваю у Льва Николаевича, когда и от кого он узнал о смерти отца, что рассказывали ему об этом несчастье родные?

— Конечно, я узнал о гибели отца сразу: очень плакала моя бабушка, и такое было беспокойство дома. Прямо мне ничего не говорили, но через какое-то время из отрывочных, скрываемых от меня разговоров, я обо всем догадался. И конечно, смерть отца повлияла на меня сильно, как на каждого влият смерть близкого человека. Бабушка и моя мама были уверены в неадекватности предъявленных отцу обвинений. И его безвинная гибель, как я почувствовал позже, делали их горе безутешным. Заговора не было, и уже поэтому отец участвовать в нем не мог. Да и на заговорщицкую деятельность у него просто не было времени. Но следователь — им был Яковсон — об этом не хотел и думать...

В год гибели Николая Гумилева его сыну шел девятый год. Мальчик рос под присмотром бабушки — матери отца, Анны Ивановны Гумилевой, — в Бежецке. Анна Андреевна Ахматова была в Петрограде. От нее изредка приходили сыну короткие ласковые письма. Сыну помнятся два приезда матери. Первый раз — поздней зимой 1921 года, спустя три месяца после гибели Николая Степановича.

Две местные речушки — Молога и Остречина, обнявшие город

полукольцом, покрыты серебряным панцирем льда, по краям тротуаров — твердые гребни сугробов.

Ахматова подгадывала свой приезд к сочельнику, на Рождество, но радости от приезда не было. Разговоры со свекровью неизбежно оборачивались к Коленке. Да и какие там разговоры — один плач и тупая беспросветная боль. Знала, что иначе и не будет, предвидела все наперед. В другой раз и не приехала бы. Но сейчас надо было условиться со свекровью — где жить Левушке дальше: оставаться ли в Бежецке, собираться ли в голодный и оказавшийся чудовищно черным для Гумилева Петроград. Признаться, она и сама не знала, как лучше ей поступить.

Анна Ивановна, женщина сердечная и житейски практичная, еще до приезда невестки успела все продумать. Она даже мысли не допускала, что позволит себе расстаться с внуком. Жил он с нею и при живом отце — Ахматова после развода с мужем в августе 1918 года оставила ребенка у Гумилевых в Слепневе, — так будет и без него. Левушка останется с нею до тех пор, пока она жива. Да и как он будет ходить по городу, где убит его отец. Так будет лучше для Левушки, полагала бабушка, да и для самой Анны: сын только помешает молодой женщине устроить личную жизнь.

Девятилетний Гумилев — главный виновник волнений — мог лишь догадываться, о чем там за стеной его комнаты тихо переговариваются мама и бабушка. Чтобы его не расстраивать, взрослые решили не говорить ему до последнего дня, что мать уезжает без него, одна. Он по-прежнему останется с бабушкой в Бежецке.

Выбор был сделан. Случилось это, видимо, 26 декабря. Этим днем помечено стихотворение «Бежецк», отразившее всю смуту чувств, пережитых Ахматовой при расставании с сыном. Образ провинциального, неприятзательного, богоугодного городка, празднующего рожденье Христова*, пронизан печально-грустной интонацией, прозрением неизбежного и окончательного расставания с ним.

Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь...
И город был полон веселым рождественским звоном.

* Первоначально стихотворение это имело не восемь, а двенадцать строк. Лев Николаевич помнит эту вторую, не печатавшуюся обычно в современных изданиях ахматовского сборника «Anno Domini», строфу:

Там вьюги сухие взлетают с заречных полей
И люди, как ангелы, божьему празднику рады.
Прибрал светлицу, зажгли у кюта лампы,
И книга Благая лежит на дубовом столе.

Ахматова догадывалась о пророческой, чуть ли не колдовской силе своих поэтических строф, строф-предзнаменований — и пугалась их. Разлучные стихи о Бежецке тоже оказались из этого ряда. У нее действительно тогда не хватало сил вернуться сюда. Она придет в Бежецк лишь спустя четыре года, в 1925-м. Придет утром — и уже в обед того же дня соберется в обратную дорогу. Такая поспешность, похожая на бегство, ошеломит, обидой обожжет сына. Он прав, но кто-то должен понять и ее.

Этот тихий незлобивый город глубоко ранит и терзает ее душу. Реальность его существования означала для нее не одну, а разом столько потерь... Тут неподалеку, рукой подать, бывший летний дом Гумилевых, зеленые окрестные холмы, квадраты засеянных хлебом полей, июньские теплые ливни, любовь, ожидания близкого, но так и не пришедшего счастья. Оставлено, разорено Слепнево...

Бежецк для нее — постоянное напоминание о гибели Гумилева, сиротстве сына. Бежецк одной твоей реальностью (а она была впечатлительна к таким переменам) словно перечеркивал всю ее прежнюю жизнь, и прежние стихи, и былые верования, и даже ее недавнюю такую легкую, гордую, будто летящую над землей походку. Пожалуй, как нигде больше, именно здесь и всем своим существом она ощутила горечь (и чуть было не задохнулась от нее), которая прорвалась в ее стихах, открывших сборник 1922 года «Anno Domini»: «Все расхищено, предано, продано...»

В шестнадцать лет, окончив девятый класс Первой бежецкой советской школы, Гумилев уезжает в Ленинград.

В вагоне уходящего поезда он думал об оставленном здесь отрезке жизни, о бабушке, чья невысокая фигурка одиноко застыла на песчаной тропке у пристанционных рутей. Поезд мчал его в новый мир больших ожиданий.

В 1930 году Гумилев оканчивает 67-ю школу на 1-й Красноармейской улице. Вскоре он пробует поступить на немецкое отделение Педагогического института имени Герцена: полгода вечерами исправно занимается языком на специальных курсах. Матч, однако, был проигран до начала игры: Гумилева за отсутствием трудовой биографии и как дворянского сына к экзаменам не допускают.

Выручила его биржа труда: его пообещали устроить на работу.

За три послешкольных года Гумилев побывал в геологической экспедиции на Байкале; с гельминтологами — в горных районах Таджикистана; с археологами — в крымских пещерах Абжи-Коба (здесь раскапывал с Бонч-Осмоловским стойбища первобытного человека); без «нервов» брался за тяжелую физическую работу.

К настойчивому внимательному юноше начинающему приглядываться серьезные исследователи. В 1933 году его приглашают на работу в Геологический институт Академии наук. Почти одновременно — осе-

нию 1934 года — в Университете открывается исторический факультет. Гумилев, успешно сдав экзамены, зачислен на очное отделение нового факультета.

Первого сентября в большой аудитории истфака, заполненной шумной и веселой молодежью, Лев Гумилев слушает лекции Василия Васильевича Струве по истории Древнего Востока. Через поднятые под самый потолок окна пробиваются не по-осеннему яркие лучи солнечного света. Черт возьми, как ты горька, обманчива и прекрасна жизнь!

Теперь, после зачисления в Университет, он переживал эйфорию. Он окончательно поверил, что если и были тучи, то они рассеялись, что все неприятности остались за порогом университетских аудиторий.

Вскоре начатое Гумилевым учение нарушилось. Первого декабря 1934 года Николаев стрелял в Кирова. По факультетам пошли собрания и митинги. С газетных полос неслись требования раздавить убийцу и его пособников. В факультетской курилке поубавилось смеха и шуток, студенты стали опасаться говорить об арестах, идущих ночами по городу. Под знаком борьбы с классовыми врагами нагнеталась атмосфера страха, общей политической жестокости. Психоз, подозрительность ослепляли людей. В этих условиях Ленинград стал первым городом, где был установлен и безостановочно работал конвейер массовых репрессий. Не существует пока точной статистики людских потерь, понесенных от того многомесячного яростного политического огня. Видимо, недалеко от истины Александр Солженицын, подсчитавший в «Архипелаге ГУЛАГе», что четверть Ленинграда была «расчищена» в 1934—1935 годах.

Сегодня остается все меньше сомнений, что инсценировали и направляли эту кампанию политического остракизма не только органы НКВД. За их спиной стоял Сталин и его ближайшее окружение.

В обстановке политической истерии Лев Гумилев неожиданно для него самого оказался в зоне повышенного внимания. Одно дело — рядовой коллктор в окраинной экспедиции, а тут — студент исторического факультета, будущий общественный деятель. Как мог попасть в Университет дворянский отпрыск, сын офицера-заговорщика, расстрелянного Советской властью? Да и сам, как говорят, уже допрашивался чекистами в доме на Литейном. Так сомнение рождало подозрение — вину. Призывы к бдительности, к классовой непримиримости обретали конкретную цель. Вокруг подозрительного студента роились злые слухи...

Добровольно состоящие на службе наушники и сексоты уже не сомневались, что налицо опасный происк врага. И писали доносы одновременно и на Льва Гумилева, и на университетское начальство — его «покрывателей».

— Арстовывался я четыре раза и еще дважды, уже отбывая срок, привлекался к дополнительному следствию. Первый раз под замок я

попал по чистой случайности. Арест не имел никакого отношения ни ко мне, ни к моей родословной, хотя через год в Университете он толковался далеко не в мою пользу.

В декабре 1933 года я поехал в гости к сотруднику Института востоковедения Эберману. Он жил на Васильевском острове. В это время я пробовал переводить арабские стихи, с подстрочником: этим же занимался и мой новый знакомый. По специальности он был арабист, и я хотел посоветоваться с ним, как лучше сделать перевод. Не успели мы прочесть друг другу по стихотворению, как в комнату вторглась толпа, схватила и нас, и хозяев квартиры — и всех увезли. Собственно, я здесь оказался совсем ни при чем. И меня через десять дней выпустили, убедившись в том, что я ничего антисоветского не говорил, ни в какой политической группе не участвовал. А Эберман так и не вернулся из тюрьмы; он погиб, если мне не изменяет память, в 1949 году.

Доносы, как бомбы замедленного действия, имеют привычку взрываться. В августе 1935 года меня снова арестовали. В Ленинграде нарастала травля талантливых ученых, студентов из интеллигентных семей. В число первых жертв с тремя студентами-историками попал и я. Тогда же был арестован и преподававший в Университете Пунин. Все мы оказались в Большом доме, в новом здании областного управления НКВД на Литейном. Это огромное административное здание, построенное на месте Окружного суда, сожженного еще в дни Февральской революции, недавно вошло в строй. Конечно, все арестованные были тут же объявлены членами антисоветской группы или организации (не знаю, как уж там точно нас квалифицировали). Правда, в это время никого не били, никого не мучали, просто задавали вопросы. Но так как в университетской среде разговоры велись, в том числе и на политические темы (анекдоты студенты друг другу рассказывали!), то следователям было о чем нас допрашивать.

Мама поехала в Москву, через знакомых обратилась к Сталину с тем, чтобы он отпустил Пунина. Есть свидетельство (мне мама об этом не говорила, так что ни подтвердить, ни оспорить этого факта я не могу), что она послала личное письмо Сталину, доказывая в нем нелепость обвинений, предъявленных нам.

Вскоре нас выпустили всех на волю, поскольку был освобожден главный организатор «преступной группы» — Николай Николаевич Пунин.

Помимо заступничества, спасло нас и то, что следователи, как они ни изошрялись, не смогли получить от нас сколько-нибудь убедительных компрометирующих показаний.

— Пунин вернулся на работу, а меня выдворили из Университета. В ту зиму я страшно голодал. Весной на одном из университетских экзаменов я упал, потеряв сознание от голода.

В Университете меня восстановил тогдашний его ректор. Им в ту

пору был независимо мыслящий ученый — профессор Михаил Семенович Лазуркин. В июне 1937 года его арестовали, а скоро забрали и его жену — старую большевичку Дору Абрамовну Лазуркину. Судьба Лазуркина сложилась печально. Он был застрелен следователем во время допроса, а затем его уже мертвого выбросили из окна на уличный тротуар, инсценируя самоубийство.

Помню, мама ездила просить за меня в Университет. Лазуркин — он был в ту пору уже человеком в годах — внимательно выслушал ее и, подписывая приказ о восстановлении, сказал: «Я не дам испортить жизнь мальчику».

Университет до войны мне все же не дали закончить. В марте 1938 года меня взяли с четвертого курса, и на этот раз надолго и прочно.

Внешний повод для ареста дал я сам. Вернее — леопарды, те самые шкуры, которые были подарены в качестве охотничьих трофеев отцом моей бабушке. Отец любил путешествовать и охотиться; ездил он и в научные экспедиции, в том числе и в Абиссинию. С детства я запомнил его стихи:

Колдовством и ворожбою
В колдовстве глухих ночей
Леопард, убитый мною,
Занят в комнате моей...

Поздно. Мыши засвистели.
Глухо крикнул домовый,
И мурлычет у постели
Леопард, убитый мной.

Профессор Пумпянский, читавший студентам-историкам курс русской литературы, дошел до 20-х годов и стал потешаться над стихами и личностью моего отца. «Поэт писал про Абиссинию, — восклицал он, — а сам не был дальше Алжира... Вот он — пример нашего отечественного Тартарена!» Не выдержав, я крикнул профессору с места: «Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!» Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: «Кому лучше знать — вам или мне!» Я ответил: «Конечно, мне». В аудитории около двухсот студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского многие из них знали, что я — сын Гумилева. Все на меня оборачивались и понимали, что мне, действительно, лучше знать.

Пумпянский сразу после звонка побежал жаловаться на меня в деканат. Видимо, он жаловался и дальше.

Во всяком случае первый же допрос во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной следователь Бархударян начал с того, что стал читать мне бумагу, в которой во всех подробностях сообщалось об инциденте, произошедшем на лекции Пумпянского. По мере чтения доноса следователь Бархударян все больше распался. В конце он уже не гово-

рил, а, матерясь, кричал на меня: «Ты любишь отца, гад! Встань... к стене!» Он схватил меня за воротник рубашки, приподнял с наглухо ввинченной в цементный пол табуретки и стал зверски меня избивать.

Да, в этот третий арест все было уже по-другому. Тут уж начались пытки: старались выбить у человека признание и подписать заранее заготовленный следователем обвинительный приговор. Так как я ни в чем не хотел признаваться, то избиения продолжались в течение восьми ночей.

Особенно изощрялся Бархударян. Он бил краем ладони по шейным нервным окончаниям. Он, видимо, знал, что именно в этой области расположен нерв френикус, напрямую связанный с деятельностью полушарий головного мозга. «Ты меня на всю жизнь запомнишь, негодяй», — рычал он.

И верно, последствия этих побоев я чувствую по сей день. Спазм френикуса — тут же отнимается рука, немеет правая сторона тела... Первый приступ случился у меня в омском лагере, в 1953 году. Потом приступы стали повторяться все чаще. Долгие годы врачи не могли мне помочь. Спасибо покойному профессору Давиденкову, одному из лучших ленинградских невропатологов. Он сумел понять, откуда у меня эти боли, предписал лечение. Теперь не разлучаюсь с врачами — колют, блокируют нерв, предупреждая болевую вспышку.

С марта 1938 года более полугодом тянулось следствие. Сидел я в тюрьме на Шпалерной, сидел и в «Крестах»... Страшно медленно тянулось время. Наконец по сфабрикованному Бархударяном протоколу суд вынес приговор нашей «антисоветской группе». Мне — десять лет, моим сотоварищам-студентам — по восемь лет.

Вскоре нас уже везли по Мурманской дороге на Беломорканал. В районе Медвежьегорска на реке Водме эки валили лес, расчищали русло для будущего канала. Нас зачислили в лесорубы.

Вот давайте теперь и подумаем, как соотносится этот приговор с распространением в ту пору лозунгом: «Сын за отца не отвечает!» Официальная пропаганда приписывала авторство его самому верховному вождю и объявила лозунг актом величайшей доброты и справедливости. Правда, как часто бывает, звонили в колокола, не заглянув в святцы. Рождение лозунга при пристальном рассмотрении показывало, что на Шипке не все спокойно, что аресты и казни людей старшего поколения достигли небывалого размаха, и в этих условиях власти вынуждены лукавить и маневрировать.

Внешне лозунг выглядел весьма привлекательно, а по сути своей был глубоко безнравственным. Он исходил из презумпции виновности родителей, отменяя с порога всякое сомнение детей в их вине. Он звал к отступничеству, отречению от «преступных» родителей, забвению родственных и семейных связей, духовному саморазрушению. Лозунг полностью соответствовал тем ценностям и нормам, что утверждал в

нравственных отношениях единодержавный руководитель. Конечным мерилom на весах человеческой жизни и смерти объявлялась исключительно политическая лояльность, так сказать, верноподданничество. Любовь к близким людям, голос крови, жалость к попавшим в политическую пучину — все это расценивалось как слабость, опасный буржуазный пережиток и по существу преследовалось. Лозунг, казалось, требовал не сажать детей политических заключенных. Но это были призывы, предназначенные лишь для внешнего обихода, официального уха. В реальную же практику они входили уже с поправкой. Согласно ее смыслу, надо было убедиться, насколько чисты, невиновны сами эти дети врагов народа, не заражены ли они вирусом антисталинизма. Формально поправка эта не отменяла хождение в народе широковещательного лозунга, а по существу обращала его в полную свою противоположность.

Лев Николаевич соглашается со мной и добавляет, что тюремщики быстро усвоили эту лозунговую диалектику. Если раньше, до этого лозунга, детей неугодных родителей отправляли в ссылку, не «пришивая» им никакого дела, то теперь их также ссылали, но при этом еще и приписывали какое-либо преступление, естественно, вымышленное. Совершенно четко было известно, что тот, кто был за границей, обвинялся в шпионаже. Тот, кто не ездил за границу, обвинялся в терроре. В этом последнем случае статья давалась 58-я, пункт 17-й. Это значило, что сам обвиняемый не убивал, но мог при случае и убить или не жалел бы жертвы террора. И за это полагалось десять лет. Определение 17-го пункта зависело от прокуратуры и следователя. Если хотели дать пункт 17-й, то давали, если нет, то обвиняли человека в организации антисоветской группы или в распространении антисоветской агитации. За это полагалась все та же 58-я статья, но с пунктами 11-м и 10-м.

— Мы называли эти пункты «ширпотребом», — вспоминает Гумилев, — поскольку их давали всем. Предполагалось, что преступная организация должна состоять как минимум из двух человек. Но в ту пору 58—11 давали и за организацию, насчитывающую всего одного участника. Под статью 58—10 — антисоветская агитация — подверстывался любой анекдот, любая острота или даже просто подозрение в том, что человек способен рассказать политический анекдот.

Подобные же обвинения предъявлялись и моим товарищам по заключению. Мы — люди одной судьбы.

На Беломорканале Гумилев пробыл всего несколько месяцев. Зимой 1939 года его этапировали обратно в Ленинград: прокурор опротестовал решение суда. Приговор был отменен, и обвинение квалифицировалось теперь по той же 58-й статье, но по пункту 17-му — террористическая деятельность. Гумилева, таким образом, возвращали на расстрел.

— Вам были предъявлены какие-либо конкретные обвинения?

— Следствие обычно не заботилось о фактической стороне дела. Старались придумать некую обвинительную версию, имеющую хотя бы малейший признак жизненного правдоподобия, а затем выбить у подсудимого признание — подписать под сфабрикованным следователем протокол. Поскольку у меня был расстрелян отец, то априори предполагалось, что я, желая отомстить за него, намеревался осуществить теракт. А за это полагалась высшая мера.

Сейчас Лев Николаевич точно не помнит, на кого ему предписывалось покушаться, но, кажется, это был Жданов: следователи, как картежники, любили поднимать в своих обвинениях ставку, что повышало их собственную цену в глазах начальства.

Любопытная деталь. Похожие фантазмагии возникали у следователей и позже. Например, Ольга Федоровна Берггольц рассказывала мне в свое время в редакции «Ленинградской правды» (в 1956 году я готовил к печати ее статью), как тюремщики выбивали у нее признание опять же о попытке убить Жданова. Убить же Жданова, по следовательской версии, она намеревалась, бросив бомбу с аэроплана на правительственную трибуну во время праздничной демонстрации. Откуда она взяла бомбу, как пронесла и спрятала в аэроплане, каким образом рассчитывала сбросить ее, да так, чтобы угодить в трибуну, где стоял Жданов, — все это следователя не интересовало. Ему для обвинения в терроре было достаточно и того, что молодая поэтесса по заданию Радиокomiteта должна была написать праздничный репортаж и для этого была прикомандирована к летному экипажу, который разбрасывал праздничные листовки над колоннами демонстрантов. Берггольц пытали в 1938–1939 годах.

Судя по «Запискам об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской, Анна Андреевна в 1938 году вторично обратилась с письмом к Сталину, где она просила разобраться в деле ее сына и освободить его из тюрьмы. Здесь же она решительно протестовала против попыток приписать Гумилеву подготовку покушения на Жданова (по логике следователей таким образом она рассчитывала отомстить за мужа, убитого в 1921 году). Анна Андреевна считала необходимым подчеркнуть, что такого рода обвинения не только беспочвенны, они оскорбительны по отношению к ее сыну, они бросают тень и на ее репутацию.

Прошу Льва Николаевича прокомментировать эту запись Лидии Чуковской.

— Мама, наивная душа, как и многие другие чистые в своих помыслах люди, думала, что приговор, вынесенный мне, — результат судебной ошибки, случайного недосмотра. Она не могла первоначально предположить, как низко пало правосудие. Следователи и судьи по существу превратились в политических марионеток, своеобразных фальшивомонетчиков, фабрикующих если не поддельные купюры, то

фальшивые показания, обвинения, приговоры. Маминно письмо, если оно и дошло до Сталина, было оставлено без последствий.

На этот раз выручил меня не Сталин, а, как это иногда бывает, счастливое стечение обстоятельств. К новому, 1939 году я окончательно «дошел». Худой, заросший щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в лес. Валить деревья в ледяном, по пояс занесенном снегом лесу, в рваной обуви, без теплой одежды, подкрепления силы баландой и скудной пайкой хлеба, — даже привычные к тяжело-му физическому труду деревенские мужики таяли на этой работе, как свечи... В один из морозных январских дней, когда я подрубал уже подпиленную ель, у меня выпал из ослабевших рук топор. Как на грех, накануне я его отточил. Топор легко раскроил кирзовый сапог и разрубил ногу почти до самой кости. Рана загноилась.

Видимо, я так бы и закончил свои дни, ударным трудом расчищая ложе канала в лесу под Медвежьегорском, но судьбе было угодно распорядиться иначе. Меня затребовали на пересмотр дела в Ленинград. И это меня спасло.

Из Ленинградской пересыльной тюрьмы — у старых заключенных была связь с волей — мне удалось сообщить маме, где я теперь нахожусь. Вскоре я получил передачу. Когда я ее раскрыл, чуть было не задохнулся от одних только запахов — в присланном полотняном мешке лежали сухари, сахар и, что было совсем невероятным, — масло и колбаса!

Сейчас, вспоминая быт многих пересыльных тюрем (а я повидал их сравнительно много — челябинскую, свердловскую, красноярскую), ленинградская мне нравится больше других. Быть может, потому, что здесь мне крупно повезло. Пока меня возили на Беломорканал и обратно, из органов убрали Ежова. В следствии многое переменялось, на какое-то время перестали бить. Надвинувшаяся на меня мрачная смертельная тень отступила.

Конечно, и здесь заключенных было в несколько раз больше, чем их могли вместить по норме тюремные стены... В моей камере в «Крестах» также тесным-тесно. Заняты не только нары. Спим под ними, на голом асфальтовом полу, в душной потной тесноте, впритык друг к другу.

Условия далеко не курортные. Но в них и свои преимущества. Беспрепятственно можно разговаривать с соседом, сотоварищем по несчастью. На нарах днем лежать запрещено, но даже днем можно подлезть под них и, лежа, размышлять о посторонних предметах. Например об истории. Интерес к ней по-прежнему не оставлял меня. Но как заниматься наукой в тюрьме, будучи лишенным необходимых книг, бумаги, даже карандаша для записей? И тогда я подумал: а почему бы мне не заняться теорией исторической науки? Ведь это неплохой способ уберечь мозг от разрушающего воздействия на него однообразных тюремных дум и переживаний.

Однажды из-под нар на четвереньках выскочил наружу молодой с взлохмаченными вихрами парень. В каком-то радостном и дурацком затмении он вопил: «Эврика!» Это был не кто иной, как я. Сидевшие выше этажом мои сокамерники, их было человек восемь, мрачно поглядели на меня, решив, что я сошел с ума: «Еще один! Чудик!» Такие случаи бывали нередко. Но на этот раз они ошиблись. Они не догадывались, что я минуту назад нашел ответ на загадку, которая вот уже несколько недель подряд неотступно преследовала меня. Я подступал к ней то с одной, то с другой стороны, но она не давалась мне. Ситуация была тупиковой, и я ощущал себя сушим кретином.

В самом деле, какая сила лежит в основе рождения и гибели этносов — народностей и народов? В истории нет ни одного этноса, дожившего в своей корневой родовой основе до наших дней. Древние шумеры, хетты, филистимляне, этруски и веныты уступили свое место парфянам и римлянам, которые выделались из латинов и других италиков. Но и их сменили итальянцы, испанцы, французы и греки (этнос славяно-албанского происхождения), турки, таджики, узбеки и казахи.

Я, кажется, сделал открытие, разгадав, наконец, что лежит в основе этого могучего естественного процесса. Я нашел пусковой механизм его и дал отличное название: «пассионарность» — от латинского слова «passio» — страсть. Я понял, что рождению каждого нового этноса предшествует появление определенного количества людей нового, пассионарного, склада.

В «Крестах» я был лишен права переписки, не имел ни бумаги, ни какого-либо другого подручного материала для записи или пометок. Все это давным-давно было отобрано. И не дай Бог — обнаружить у кого-либо из нас огрызок карандаша или что-либо другое из канцелярских принадлежностей: неминуем карцер.

Выход был один — запомнить логику рассуждений, приведших меня к открытию «пассионарности».

Прежде всего, я старался уяснить, что представляет собой этнос как феномен. Какова его внутренняя структура, что за связи с окружающим миром позволяют ему в течение нескольких веков сохранить свою самобытность? Я пробовал разгрызть этот орешек традиционным способом — так, как нас учили в Университете, то есть увязывая процессы рождения и увядания этносов с социальными законами развития общества. Не тут-то было! Все мои попытки в этом направлении неизбежно наткнулись на стену непреодолимых противоречий. Одно из них лежало на поверхности, и приходилось только дивиться, почему ученые не видели его. Процесс рождения и дальнейшей жизни этноса — то, что обычно в науке называют этногенезом, — не зависит прямо и не коррелирует со временем возникновения новых социально-экономических укладов. Этнотсы легко уживаются, сохраняя свою целостность, в грани-

цах нескольких формаций. Они не исчезают, скажем, вместе с крушением феодальной системы и не возникают разом одновременно с развитием мирового рынка, капиталистических отношений.

Для меня становилось все более очевидным, что этнос — прежде всего феномен природы. Само его существование, отличия от других этнических структур связаны со своеобразием окружающей его среды, с местным географическим и климатическим ландшафтом.

А раз так, надо было либо смириться с мертвыми схемами и спокойно увековечить старые мифы, либо, следуя правде исторических событий и фактов, взорвать традиционный подход при изучении проблем этногенеза, воспользоваться методами естественных наук.

Итак, этнос — феномен природы, субстрат биосферы Земли, а применительно к макромиру еще и — частица Космоса, поскольку сама Земля входит в состав Солнечной системы, Галактики.

Значит, и на этносы в полной мере распространяются законы, открытые академиком Вернадским применительно к живому веществу биосферы Земли. Человек, этнос излучают биохимическую энергию, равно как и получают, абсорбируют ее от Земли и от Космоса, причем получают ее нерегулярно и в далеко неравномерных размерах.

Но как тогда обнаружить эффект биохимической энергии живого вещества биосферы, как признать ее существование в телах людей?

Большая часть различных видов энергии, как известно, воспринимается органами чувств: свет (движение фотонов) — зрением; звук (колебание атмосферы) — слухом; тепло (движение молекул) — осязанием; электромагнетизм — несложными приборами. При этом все формы энергии воспринимаются не непосредственно, а через наблюдаемый эффект, но для получения эффекта необходима структура из многих элементов. Никто не видел единичного фотона, никого не обожгла одна молекула. Так и биохимическая энергия живого вещества была обнаружена Вернадским в огромном скоплении саранчи.

Вот почему для поставленной цели нужна была история, как фиксация биохимических процессов в человечестве на популяционном уровне и за достаточно продолжительный срок его развития.

...Я чувствовал, что в этих прозрениях я на верном пути. Одна логическая посылка естественно влекла за собой другую, дополняя и обогащая общую канву размышлений. Доказательства плотно, без зазоров и противоречий прилепали друг к другу, точно так, как входят в пазы бревна, образуя венец сруба крестьянской избы.

Отметины биохимических энергетических импульсов, воздействующих на человека и этносы, предположил я, будет сравнительно трудно обнаружить, если изменить привычный взгляд на самое время. Оно может быть рассмотрено на разных уровнях: как философская категория вечного времени и (чисто практически) как часть нашей жизнедеятельности, так сказать, относительное историческое время.

Линейная и циклическая системы отсчета времени употребляются ныне для календарей. Такое время не зависит от природных явлений и тем более от деятельности человека. Но время, в которое мы живем и которое ощущаем, измеряется числом событий. В отличие от календарного оно неоднородно. В нем есть свои горы и пропасти, трясины и равнины; по равнинам так приятно идти!

Это историческое время как раз показывало неравномерное распределение энергии живого вещества на Земле. И что было еще более разительным: фазы этногенеза полностью соответствовали движению исторического времени, то есть изменению количества исторических событий с момента их кульминационной вспышки и вплоть до полного их угасания.

Я примерял обнаруженную закономерность к историческому существованию самых разных этнических структур: эллинов и римлян, византийцев и этноса мусульман Аравии. И всякий раз она обнаруживалась неуклонно.

Винновником первоначального толчка, послужившего образованию новой этнической единицы (эта мысль только и делала всю гипотезу завершенной!), не мог быть не кто иной, как люди, абсорбировавшие избыточный запас биохимической энергии из окружающей Среды. Они, естественно, выделялись среди своих соплеменников активностью, неукротимым духом своих многочисленных последователей. Под их влиянием менялись первичные суеверия, свергались вчерашние идолы, рушились незыблемые прежде правила поведения людей в популяции.

...В ту ночь я долго не мог уснуть: все ворочался на узком тюремном матрасе — подстеленной под спину фуфайке, — то и дело сползал на жесткий асфальтовый пол. Но вовсе не бессонница угнетала меня. Одна мысль об обладании никому пока неизвестным открытием, способным перевернуть представления специалистов, обдавала мою душу пламенем неудержимого воодушевления.

Отступала тьма вечной арестантской неизвестности. Я понимал, что теория представала пока лишь в грубой наметке, в общих чертах, что она еще нуждается в углублении и подробной разработке. Я тут же прикидывал в уме, какие книги понадобятся мне в первую очередь. Публиковать новую методiku, переворачивавшую былые представления науки, можно только, когда каждый тезис всесторонне доказан. Интуиция автора никого не убеждает. Надо заново перечитать и Сергея Михайловича Широкогорова, обосновавшего первую общую концепцию этноса, и труды теоретиков культурно-исторической школы Фридриха Ратцеля, Николая Яковлевича Данилевского, Константина Николаевича Леонтьева, Освальда Шпенглера и, конечно же, Владимира Ивановича Вернадского, его знаменитую «Биосферу Земли».

Утром — с грубым стуком дежурного солдата-«цирика» в дверь камеры: «Подъем!» — тюремная действительность быстро вернула меня из

мира грез в реальность. Вместо моих занятий наукой начальство мое хлопотало более о том, чтобы я как можно лучше продолжал свое тюремное образование. Дело мое из Большого дома переслали не в ЦИК, который, я думаю, меня бы освободил (ибо не существовало состава преступления), а на Особое совещание НКВД. Вскоре мне принесли подписать бумагу — приговор: пять лет, статья 58-я, пункты 10-й и 11-й. Теперь путь мой лежал в Норильск. В указанный срок зачли восемнадцать месяцев, проведенных мною под следствием в ленинградских тюрьмах и трудовом лагере на Беломорканале. Итак, я мог выйти на свободу не раньше чем через сорок два месяца, в марте 1943 года. Сколько же мне понадобится лет — пять, шесть, десять? — для того, чтобы я мог изложить и донести новые представления о происхождении этноса людям? Да и буду ли я жив в ту пору или, как это у Некрасова: «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».

К счастью, я ошибся в своих прогнозах. Минуло всего тридцать лет, прежде чем мой труд «Этногенез и биосфера Земли» наконец стал пробиваться к свету. В 1979 году он был депонирован во Всесоюзном институте научной и технической информации в Москве. Так патентуют у нас новые научные идеи и теории. Разумеется, то была не печатная книга, а всего лишь рукописная перепечатка. Издатели отказывались печатать мою работу: отпугивала, как они мне сами признавались, «взрывчатость ее идеи, резкая полемичность, непривычная живость самого описания».

Зато в Институте информации рукопись ожидал непривычный успех. Как правило, на депонированную рукопись от специалистов поступает сто — двести заявок, не больше. Здесь же пришло две тысячи. Интерес к рукописи рос, вокруг нее разгорались споры. Спустя десять лет издательство Ленинградского университета напечатало книгу тиражом одиннадцать тысяч экземпляров. Его не хватило даже специалистам. Сейчас выходит второе издание.

...Норильский этап отправился из Ленинграда в августе 1939 года. В столыпинском товарном вагоне Гумилева везли сухим жарким летом несколько дней чуть ли не через всю страну: к Волге, на Урал, затем через Сибирь. В Красноярске на пересыльном пункте он услышал о переговорах Молотова с Риббентропом. В Красноярске заключенных погрузили на баржу и по Енисею доставили в Дудинку. Из Дудинки по самой северной нашей железной дороге привезли в Норильский лагерь.

Подохранный люд — заключенные и политические ссыльные — составлял в ту пору основной трудовой костяк заполярного города. Он выплавлял медь, никель, платину на круглосуточно полыхавшем огне!м заключенном комбинате, добывал в забоях пригородных шахт руду, закладывал фундамент жилых многоэтажных домов, вел к ним подземные коммуникации.

В Норильске трудились и «вольняшки» — так именовали эки работавших по найму специалистов. На Севере платили хорошие деньги. «Вольняшками» являлись по преимуществу управленцы среднего звена: горновые, заводские мастера, геологи, химики-лаборанты. Для них не было секретом, что многие работавшие под их началом заключенные попадали в лагерь безвинно. Догадывались они и о том, что полоса применения 58-й статьи поистине безгранична и, следовательно, любой из них завтра может оказаться на месте этих несчастных. Потому, наверно, как кажется Гумилеву, и относились они к заключенным без того столь распространенного в начальственной среде снисхождения и чванства; если и недоброжелательно, то во всяком случае — без куража и придирок.

Послужной список Гумилева пополнился здесь еще несколькими профессиями. В начале он был землекопом. Затем перешел на более квалифицированный труд — в меднорудную шахту. На местный Морозовский рудник требовался геотехник. По рекомендации лагерных знакомых взяли его, поскольку до Университета он ездил в геологические экспедиции. Но дело — рудничная геология — оказалось ему совсем незнакомым; пришлось учиться прямо на практике. Смена в шахте продолжалась восемь, а с началом войны и все двенадцать часов. По штрекам добирался до горняцких забоев. Сразу после отвала, глотая медную пыль, отыскивал теряющуюся в чужих породах блестящую жилу халькопирита, ценнейшего местного минерала, из которого на комбинате получали и медь, и никель, и платину; рисовал забойщикам план залегания пластов, подсказывал, как лучше добраться до халькопирита.

День своего освобождения — 10 марта 1943 года — Гумилев встречал в новой должности: лаборантом-химиком. Собственно, подчиненная ему лаборатория имела весьма отдаленное отношение к химическим процессам. Она, скорее, напоминала книгохранилище. На многоярусных полках хранились пробы различных материалов, добытых в местных краях геологами. Проб было великое множество. В обязанность Гумилева-лаборанта входило: хранить их в системе; по первому требованию геологов и лаборантов быстро находить нужную среди многих тысяч подобных, по возвращении ставить пробы строго на место. Дело у Гумилева пошло. К тому же он, безусловно, старался. Он дорожил этой службой: здесь не требовалась особая физическая сила; он уже и ходил еле-еле — его организм за тюремную пятилетку, проведенную большей частью в непосильном труде и суровом климате, нуждался в отдыхе.

На Севере Гумилев пробыв целых пять лет, до осени 1944 года. Сразу после освобождения у него взяли подписку, что он будет здесь работать до конца войны. Он дал ее без долгих колебаний. Ехать ему было некуда: Ленинград страдал в блокаде; от мамы, эвакуированной

в Ташкент, давно не было писем... да и он, стреляный воробей, прекрасно знал, что заботливое начальство пропуска на выезд ему не даст, а без пропуска не возьмешь билета ни на поезд, ни на пароход: транспорт был на военном положении.

Вольный, по крайней мере, расконвоированный человек, он знал, где искать свою палочку-выручалочку: он поступил в геологическую экспедицию. Вначале искал соль на Хантайском озере с Козыревым, бывшим пулковским астрофизиком, а ныне расконвоированным заключенным.

В следующую весну его направили в бассейн Нижней Тунгуски. Вместе с двумя рабочими они вели здесь магнитометрическую съемку местности. Навьюченные, как ишаки (за спиной — магнитометр, палатка и груз с продуктами), они медленно пробирались через лесные завалы в глухой тайге. Окрест, на десятки километров, — ни одного населенного пункта, ни единой человеческой души, никакой связи с внешним миром...

Рассказывая об этом периоде жизни, Лев Николаевич с улыбкой вспоминает, как одна его московская приятельница, узнав о его освобождении, расспрашивала в письме о северном житье-бытье; интересовалась, в частности, и женским вопросом: «Как Вы живете, какие у Вас там женщины?», — и как он ответил ей шуткой, за которой стояли реальности тогдашнего быта: «Женщин за последний год видел трех: е л ь (она около палатки растет), на ней иногда сидит б е л к а, и один раз пробегала мимо меня по лесу о л е н и х а...»

Вторая его экспедиция оказалась более удачной, чем на Хантайское озеро. Они уже завершали съемки, когда им удалось обнаружить месторождение железа — месторождение крупное, всесоюзного значения. За хорошую работу и это открытие железа Гумилев был премирован недельным отпуском в Туруханск.

Надо сказать, что о Туруханске мечтали, бредили в ночных снах как мужчины-«вольняшки», так и лагерники. Он представлял загадочным и прекрасным, как некий джеклендоновский золотonosный Клондак. Во время войны в Туруханске на восемь местных мужчин приходилось пять тысяч женщин. Всякого приехавшего в Туруханск представителя мужского рода непременно женили. Женился и Гумилев своеобразным «морганатическим браком» на все семь дней его туруханского отпуска.

В Туруханске ему удалось уговорить местного военкома мобилизовать его и отправить в армию. Тот согласился, но для этого необходимо было получить еще разрешение у экспедиционного начальства. Гумилева долго не отпускали, но в конце концов он добился своего. И он пошел воевать, дошел до Берлина в составе 1386-го полка малокалиберной зенитной артиллерии.

Весной 1945 года он «берет» Берлин и, проведя еще несколько ме-

сцев в оккупированной Германии, возвращается в Ленинград. Восстанавливается на истфаке, экстерном сдает за 4-й и 5-й курсы. Его диплом высоко оценен и напечатан.

Жизнь его на какое-то время становится безоблачной, но ненадолго.

Летом 1946 года вышло постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». В нем много говорилось об ошибках Зощенко, Ахматовой...

Анна Ахматова не была знакома и, судя по всему, никогда вблизи не видела ни Сталина, ни Жданова. Но Сталин, а позднее и Жданов, «главный идеолог партии», приняли прямое участие в ее травле.

Ожесточение в отношениях между поэтом и верхней властью заметно проступило уже в конце 1935 года. Для Ахматовой все прозрачнее вырисовывается подлинная правда о режиме сталинской деспотии. Ленинград середины 30-х годов давал для этого веские доказательства. По городу шел, будто смерч, вал закрытых судебных процессов, мрачных, необъяснимо жестоких разоблачительных политических кампаний. Аресты выкашивали людей, как траву. Многих друзей, близких недосчиталась в ту страшную пору и Анна Андреевна. Одни из них томились за решеткой, других везли в арестантских вагонах в ссылку, на край света. Их невиновность была для нее очевидной. Угроза ареста подстерегала любого и каждого. Страх давил и принижал людей. Вновь Ахматова ощущала полную незащищенность людей от произвола. Осенью 1935 года она пишет стихи, какие позже войдут в «Реквием», определяя его общую скорбную и негодующую ноту:

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марушь.

По-видимому, о растущих оппозиционных настроениях Анны Ахматовой были хорошо осведомлены и власти. Личность ее, поэтическое дарование притягивали к ней симпатии многих людей. Старые испытанные друзья, молодые поэты, жаждавшие напутствия и признания, почитатели таланта составляли ее привычное окружение. Здесь же суетились и темные завистники, а то и специально подосланные стукачи. Ахматова чувствовала, что ходит по острию бритвы и принимала предохранительные меры. Не вела в домашних стенах, как правило, разговоров на политические темы; не хранила, опасаясь тайного обыска, запрещенных книг; стала, как она считала, осмотрительнее в знакомствах. Между тем запретные ахматовские строки ходили по Ленинграду и Москве, заучивались наизусть, передавались в списках. Попадали они и в Большой дом, и на Лубянку. Оттуда, надо полагать, отправлялись для сведения и выше.

Чиновники репрессивного аппарата лучше радара улавливали это нарастающее в высших кругах раздражение по отношению к Анне Ахматовой и старались по мере сил выказать свое неформальное усердие. Вот почему столь цинично и грубо попирались закон, элементарные правила приличия. Травля поэта приобрела со временем все черты общегосударственной политики.

Вслед за постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» на городском партийном активе в Смольном выступает Жданов. Его речь безапелляционна, полна грубых нападок, оскорбительных выпадов. Чтобы подкрепить свои сокрушительные оценки, Жданов использует нехитрый, но хорошо действующий на неподготовленную публику прием: уподобляет жизнь героев стихов Ахматовой жизни ее самой. И тут же зачисляет ее в наследницы упаднического дворянского искусства, в проповедницы салонной альковной поэзии.

Мало клеветы, шумных публичных проработок. Травля и угрозы материализуются. В 1946 году Анну Ахматову исключают из Союза писателей. Ее окончательно перестают печатать. Лишилась она и производственных карточек, и лишь помощью друзей спасает ее от голода. Ахматова не без оснований подозревает, что в ее отсутствие в ее комнату проникают тайные гости, перетряхивают вещи и рукописи. Видимо, ищут улики. Опасаясь за себя и друзей, она вынуждена сжечь письма, ликвидировать рабочий архив.

Изгоняется из Института востоковедения ее сын, Лев Гумилев, аспирант, написавший раньше срока диссертацию, сдавший все экзамены. Рядовой аспирант увольняется — подумать только! — специальным решением президиума Академии наук.

Вместо того, чтобы поставить его диссертацию на защиту, ему вручили характеристику, в которой написано, что он «высокомерен и замкнут, не занимается общественной работой, считая ее пустой тратой времени».

Лев Николаевич свидетельствует:

— Все это было выдуманно Зоей Горбачевой, секретарем нашей парторганизации, которая ни с кем из моих друзей не разговаривала и написала то, что, по ее мнению, соответствовало политическому моменту. С такой характеристикой о защите кандидатской диссертации нечего было и думать. Тогда я пошел на Пятую линию Васильевского острова, поступил на службу в сумасшедший дом, в библиотеку. Проработав там положенное время, я получил нормальную характеристику и подал диссертацию на защиту в Университет, на истфак. Пройтись на защиту было исключительно трудно. Начались проволочки, своеобразные «академические» игры. У этих игр, как я уяснил позже, существовали свои правила, своя тактика, ходы и комбинации, даже штрафные удары. Со мной, новичком, даже не хитрили. Работу мою щедро хвалили, и тем не менее несколько месяцев я не мог получить на нее официальный отзыв из Института археологии.

Без отзыва же диссертацию не ставили на защиту. Напрасно просил об этом я сам, просили друзья. Видный ученый отделялся пустыми обещаниями... Работа, таким образом, оказалась в какой-то мертвой зоне. Моя однокурсница Маргарита — она работала секретарем ректора в Университете — записала меня на прием к своему шефу, профессору Александру Андреевичу Вознесенскому. И ректор принял меня.

Он отказался читать лестную для меня характеристику из сумасшедшего дома и просил рассказать о себе. Молча слушал, надеюсь, не очень сбивчивый мой рассказ, сопровождал его короткими вопросами-утверждениями: «Итак, отец — Николай Гумилев, мама — Ахматова? Понимаю, Вас уволили из аспирантуры после постановления о журнале «Звезда»... Ясно!»

Закljučая беседу, Вознесенский сказал: «Работу в Университете я вам предложить не смогу... А вот диссертацию, прошу, передайте на Совет, историкам. И смело защищайтесь. В добрый час, молодой человек!»

Двадцать восьмого декабря 1948 года состоялся ученый диспут. Выступил против меня «заслуженный деятель киргизской науки» Александр Натанович Бернштам, заявив о шестнадцати изъянах в моей работе. Он старался доказать, что я не марксист и невежественный человек, к тому же я не знаю восточных языков. Отвечая ему, я уличил оппонента в незнании источников. Споря с ним, я заговорил по-персидски. Он мне ответить не смог. Я перешел на тюркский. Он по-прежнему молчал. Тогда я спросил уже по-русски: «Так кто же из нас лучше знает восточные языки?» Ученые проголосовали. Из шестнадцати голосов пятнадцать оказались «за» и один «против». Но тогда я не успел получить даже своего кандидатского диплома. Вскоре меня снова схватили, снова посадили в тюрьму. Теперь уже — в московскую, Лефортовскую.

Никаких реальных обвинений мне не предъявлялось, да их и не существовало в самой природе. Можно даже сказать, что следователи испытывали ко мне какую-то тень сочувствия. Они говорили: «Ну Гумилев, на что ты надеешься?» Они были убеждены, что человеку, носившему фамилию, подобную моей, раз и навсегда заказан путь на волю.

На допросах твердили: «Ты виноват! В какой вине хотел бы сам признаться?» Тут меня били мало, но памятно. Вскоре мне еще раз записали десять лет и отправили в лагерь, в Караганду. Из Караганды перевели в Междуреченск. Отсюда переправили в Омск, где в свое время отбывал каторжные работы Достоевский. В Омске пришла наконец свобода. Меня полностью реабилитировали. Это было уже после XX съезда партии, в мае 1956 года...

Но до той поры было еще далеко. Покуда гонимы и сам Гумилев, и его мать.

Власти не церемонятся. Ахматову призывают в Большой дом. Следователь внешне учтив. Но он пытается запутать ее, сбить с толку, и таким образом заполучить компрометирующие улики. Не стесняясь, он угрожает ей, предрекает неизбежную гибель сына.

Ахматова, однако, не оставляла надежды спасти сына. На ее просьбу откликается писательница Сейфуллина, ученые Артамонов, Окладников, Струве. Но их заступничество не дает результата.

Из лагеря изредка приходят вести. Письма перлюстрирует начальство. Язык их лаконичен и по-деловому скуп. Сын пишет, что не болеет, что работает, что последнюю посылку получил, благодарит за нее. Все чаще Лев просит переслать оставшиеся у него в комнате — на полке — этнографические книги, труды по истории древнего мира; напоминает: не забудь приобрести выходящее в университетском издательстве сочинение Бичурина под редакцией его, Льва, учителя — университетского профессора Николая Васильевича Кюнера.

Конечно, лучше бы взялся он за переводы — дело безопасное и более надежное, тут и она бы смогла помочь ему и словом, и советом. Но сын давно уже взрослый человек — и человек с независимым характером. Главное сейчас другое. Главное в том, что он не раздавлен, он будет, слава Богу, спасен!..

Предчувствия на этот раз не обманывают Ахматову. В 1956 году освобожденный из лагеря Лев Гумилев тащит на омский вокзал два вместительных, грубо сколоченных из досок чемодана — изделия местных столяров-зэков. В них — его труд за несколько лет пребывания в лагерях: рукописи научных статей и две монографии. Одна из них — «Хунну. Средняя Азия в древние времена» — в 1960 году выйдет в Москве, другая — «Древние тюрки в VI–VIII веках» — станет его докторской диссертацией. Он защитит ее с таким блеском и силой, что скоро в научных кругах заговорят о нем как о крупнейшем нашем специалисте по истории народов Центральной Азии.

Итак, пройдя через все мыслимые и немыслимые круги ада, Гумилев сумел противостоять злу, сохранить ясный ум, могучую работоспособность. Что помогает человеку подняться под грузом обстоятельств, не загнать себя в угол? Автор «Записок из Мертвого дома» вынес из своего многолетнего пребывания в сибирской каторге твердое убеждение: «Без своего особого, собственного занятия, которому бы он предан был всем телом, всем расчетом своим, человек в остроге не мог бы жить». Что думает по этому поводу Лев Николаевич Гумилев? Согласен он с Достоевским?

— Достоевский, как мне кажется, верен лишь в общей своей посылке, — говорит Лев Николаевич, — он не мог предвидеть специфических условий жизни в ГУЛАГе. Лагерное наше начальство, в отличие от старого, острожного, с опаской относилось к любому проявлению

не общего, а частного личного интереса. Таких людей, как правило, травили. Устоять можно было только одним способом — применить лекарство, против которого начальство было бессильно. Для меня таковым стала увлеченность специальностью.

— Скажите, каким образом вам разрешили заниматься наукой?

— Тут, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Тяжелые физические работы чуть было окончательно не доконали меня. Заново стало болеть сердце, отекали ноги. Я все чаще попадал в больничный барак. Наконец, врачи пожалели меня: определили инвалидность. Меня назначили теперь на сравнительно легкие работы — топить печи, носить воду в оранжерею, а то и работать в бухгалтерии. Так появилось время, чтобы думать. Теперь предстояло самое трудное: получить разрешение писать. В лагере, как известно, категорически запрещалось вести какие-либо записи. Я пошел к начальству и, зная его преобладающее свойство — предупреждать и запрещать, сразу запросил по максимуму: «Можно ли мне писать?» «Что значит писать?» — поморщился оперуполномоченный. — «Переводить стихи, писать книгу о гуннах». — «А зачем тебе это?» — переспросил он. — «Чтобы не заниматься разными сплетнями, чтобы чувствовать себя спокойно, занять свое время и не доставлять хлопот ни себе, ни вам». Подозрительно посмотрев на меня, он молвил: «Гуннов можно, стихи — нельзя».

Видимо, и на этот раз Гумилеву пришлось отвечать за родителей: их поэтическая репутация в глазах властей была настолько скомпрометированной, что побоялись разрешить сыну идти родительской тропой — заниматься поэтическими переводами. А на гуннов дали-таки разрешение. Плохо ли, хорошо ли, но дело было выиграно...

— Лев Николаевич, — спросил я, заключая нашу беседу с Гумилевым, — что вы пишете в анкетах о времени, проведенном в лагерях, как обозначаете свое главное занятие той поры?

— По нашему законодательству считается, что реабилитированный вообще не сидел: И я пишу, что был научным сотрудником Музея этнографии народов СССР с 1940 вплоть до 1956 года, когда я перешел на работу в библиотеку Эрмитажа.

— То есть у вас по анкетным данным непрерывный стаж научной работы за все годы, проведенные в тюрьмах и лагерях?

— Да, именно так.

— Вы знаете, конечно, что недавно Верховный Совет СССР установил при определении трудового стажа считать каждый год, проведенный безвинным человеком в сталинско-бериевских лагерях, за три?

— Если пересчитать весь мой стаж по этому принципу, то он окажется равным восьмидесяти годам, то есть будет больше, нежели мой нынешний возраст. Но я бы не пожелал никому зарабатывать свой трудовой стаж подобным образом.



СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

— ... Этот рассказ был напечатан в 1956 году в журнале «НОВЫЙ МИР» и вызвал ожесточенную критику, при этом даже на уровне Хрущева. На знаменитом собрании писателей подвергся разгрому журнал «НОВЫЙ МИР» и его редактор той поры Константин Симонов. Критиковали и за опубликование романа «Не хлебом единым» Дудинцева, и за то, что был напечатан мой рассказ, а так же и за то, что тогда был опубликован сборник «Литературная Москва». Состоялось специальное заседание Политбюро, на котором присутствовали писатели. На нем было решено эту «идеологическую диверсию» (так определили) осудить. Связано это было с венгерскими событиями, которые в то время происходили, и с тем, что тогда шла борьба внутри партии: группы Молотова и других против Хрущева. На фоне этих событий и разразился крупный литературный скандал. Рассказ «Собственное мнение» был осужден и долгое время нигде не перепечатывался. И я, автор, тоже в течение нескольких лет не мог нигде печататься.

В чем подоплека? Почему именно этот рассказ? Он был оценен как выпад против партии.

Потихоньку все забылось, но рассказ, однако, изъяли из литературной жизни, хотя другие мои вещи печатались.

Он снова появился спустя примерно двадцать лет — был напечатан в одном из томов моего собрания сочинений.

Должен сказать, что к моему сожалению, рассказ, который первоначально Симонов встретил с восторгом, он во время «проработки» не

стал защищать и тоже осудил. Хотя, помнится, как только я в 1956 году принес рассказ Симонову, он его опубликовал в ближайшем номере...»

(Из беседы с Дан. Гранниным журналистки Татьяны Тюменевой 31.X.98.)

* * *

Заносчивое упорство молодого инженера раздражало и в то же время странно привлекало Минаева. Ни на одно из требований Ольховский не соглашался. Грязными тонкими пальцами он поминутно хватал крышку чернильницы на столе у Минаева и водил ею по стеклу. Неприятный, пронзительный скрип сливался с неприятным смыслом слов, произносимых Ольховским, и впечатлением от его статьи, такой же неприятно резкой. В сущности, статья больше всего раздражала своей неопровержимой правотой: Ольховский убедительно доказал неэкономичность новых двигателей конструкции академика Строева. Такую статью Минаев не мог разрешить печатать. Бесполезно было объяснять этому мальчишке, что критика академика Строева вызывает множество осложнений и в работе института, и для самого Минаева, еще не утвержденного в должности директора.

— Дружески прошу: выкиньте все насчет Строева, — мягко сказал Минаев. — И в критической части там тоже амортизация нужна, тогда легче будет напечатать.

Ольховский вскочил, изогнулся, бледное лицо его порозовело, пальцы сжалась в кулаки.

— О чем же тогда будет моя статья? Ни о чем! — воскликнул он тонким голосом.

— Поймите, ведь они поведут к пережогу тысяч тонн горючего. Как же вы так... — Прямые брови его недоуменно поднялись. — Нет, нет, никаких переделок. Ни за что, Владимир Пахомович, это же беспринципность!

«Молодец», — подумал Минаев. В позе Ольховского было что-то удивительно знакомое... И вдруг перед глазами Минаева возникла давняя забытая сцена, когда он вот так же, изогнувшись, сжимая кулаки, кричал звенящим ломким голосом... Были и у него когда-то лохматые волосы и на лацкане потрепанного пиджачка такой же комсомольский значок. Воспоминание было трогательным, но оно никак не отразилось в притушенном взгляде его глаз, устало полуприкрытых тяжелыми веками. Бугристое энергичное лицо его прочно хранило в углах губ ту неопределенность выражения, которую вольно было разгадывать по-всякому.

— Любите вы все брнчать.этим словом — принципиальность, — холодно сказал Минаев. — А вы попробуйте реализовать ее. Заработайте-ка право и средства реализовать ее. Да, товарищ Ольховский, — со злым удовлетворением повторил он, — осуществляйте, а не объявляйте. Ради этого приходится кое-чем жертвовать.

Ольховский наклонился над столом. Густые волосы свесились. Изпод них на Минаева яростно смотрели блестящие глаза.

— А вы как, Владимир Пахомович, добились вы уже права быть принципиальным?

Вопрос возмутил Минаева какой-то своей, никогда не звучавшей в этом кабинете наглостью. Улыбнувшись той благодушно-дружелюбной улыбкой, которая выручала его в трудные минуты, он снисходительно сказал: .

— Осторожнее, вы опрокинете чернильницу.

Ольховский покраснел и отодвинулся.

— Ну, вот видите, — продолжал Минаев, — важно вовремя остановиться.

От этого разговора у Минаева осталось тягостное ощущение. Ладно, сейчас важно одно — приказ об утверждении, тогда можно будет помочь Ольховскому, тогда не страшен и Строев, перед кем угодно можно отстаивать свое мнение. Недостаточно иметь еще и соответствующее положение... Мысли эти привычно успокаивали, они услужливо появлялись всякий раз после неприятного виража.

Вскоре по поводу статьи Ольховского пришел запрос, подписанный инструктором горкома партии Локтевым. К запросу было подколото письмо Ольховского. Прочитав письмо, Минаев рассердился: «...трусливая политика Минаева укрепляет строевскую аракчеевщину... На такой должности пора позволить себе “роскошь” защищать свое мнение...» — смотри, как распоясался умник.

Минаев сам написал ответ, лаконичный, корректный и в то же время убийственно ядовитый, до отказа используя хорошо известную ему подозрительность Локтева. Ольховский представал мнительным, неуживчивым, отнимающим у людей время своими вымогательствами, работа его — спорной, некорректной. Местами получалось голословно, но Минаев знал: чем голословнее, тем убедительнее. Подписывая бумагу, он неловко царапнул пером, и от этого скрежещущего звука поморщился... Ну и что ж, не мог же он накануне свершения всех своих надежд ризковать из-за упрямства этого мальчишки. Ольховский сам вынуждает его писать такое. Ничего, ничего, потом он все это исправит. И он присоединил дело Ольховского к серии дел, отложенных до назначения.

Петрищева, заместителя министра, Минаев глубоко уважал, и, вероятно, поэтому его приезд в институт не обрадовал Минаева. В

присутствии Петрищева Минаев всегда испытывал непонятное и стесняющее чувство какой-то опасности. Правда, это совершенно ненужное чувство нисколько не мешало Минаеву улыбаться, шутить. Порой его даже изумляло, с какой налаженной независимостью от него самого действовали мускулы его лица, голос, руки.

Минаев водил Петрищева по лабораториям, знакомил с тематикой их работ, выслушивал замечания, и, хотя те же самые замечания Минаев сам высказывал своим подчиненным, тем не менее просил референта записать их, считая, что такое внимание приятно Петрищеву.

В одной из лабораторий, показывая вибратор, Минаев увидел, как Ольховский протолкался к заместителю министра. Он был бледнее обыкновенного. Острый подбородок вздрагивал. Широко открытые черные глаза его смотрели с надеждой и страхом. Каждая минута ожидания убавляла решимость Ольховского, и, понимая это, Минаев включил установку. Воюющий гуд фонтаном взметнулся к потолку и осыпался, затопив комнату плотным шумом. Минаев угрожающе посмотрел на Ольховского, пытаясь остановить его. Показать, как не вовремя он суется со своей просьбой. Ведь осталось подождать всего какую-нибудь неделю. Эгоизм Ольховского возмутил его, но когда Ольховский наконец заговорил, Минаев успокоился.

Вместо того чтобы сразу изложить суть дела, Ольховский, путаясь в длинных заготовленных фразах, начал про истоки консерватизма, систему ответственности, — никто не мог понять, чего он хочет. Во взгляде заместителя министра Минаев поймал сочувственное внимание, и ему вдруг стало стыдно за Ольховского. «Ну чего он тянет, теоретик сопливый, балда, — мысленно выругался Минаев. — Какая бестолочь! Сейчас его прервут»:

— Простите, — сказал Петрищев, — что, собственно, вы просите?

Ольховский растерянно умолк, продолжая беззвучно шевелить сухими губами. Минаев опустил глаза. Господи, какой неумелый мальчишка! Ольховский полез в карман, рывком выдернул затрепанную на сгибах рукопись и стал совать ее Петрищеву. Заместитель министра расправил свернутую рукопись, внутри лежал измятый, в табачных крошках рубль. Кто-то прыснул, заместитель министра не выдержал и, протягивая рубль Ольховскому, рассмеялся. И сразу кругом засмеялись. Ничего обидного в этом смехе не было, в таких случаях надо засмеяться вместе со всеми, пошутить, но Ольховский пятнами покраснел, нелепая застенчивая улыбка перекосила его лицо, казалось, он сейчас разрыдается.

— Я вас прошу, разберитесь сами, — быстро заговорил Ольховский с тем отчаянием, когда уже все равно осталась последняя минута и можно говорить все. — А то вы пошлете... Вот я Владимиру Пахомовичу...

— Обязательно разберется, — подчеркнуто спокойно и неторопливо сказал заместитель министра.

Когда вернулись в кабинет Минаева, Петрищев спросил, что за рукопись дал ему этот молодой инженер.

Раскрывать свои опасения относительно Строева было бы неразумно, поэтому Минаев начал так:

— Рукопись... — потом сделал паузу. — Пожалуй, лучше меня может оценить ее начальник отдела, где работает Ольховский.

«Я не могу иначе», — оправдываясь, подумал он, заранее представляя все, что произойдет.

Начальник отдела отметил интересные методы расчета, сделанного Ольховским, и тут же оговорился — нужна тщательная проверка, без всей этой фронды, шумихи, жалоб, писем... Он старался ничем не повредить Минаеву и в то же время соблюсти объективность по отношению к Ольховскому.

— Вот уж никак не ожидал, что он такой скандалист, — удивился Петрищев.

— Я с ним учился в университете, — сказал референт Минаева. — Он всегда был какой-то... — Референт повертел пальцем у виска.

Минаев знал, что референт говорит так, потому что считает, что Минаев хочет, чтобы он говорил так, но все же это было слишком.

— Есть, конечно, у нас такая категория, — сказал заместитель министра. — Строчат, требуют комиссии, идут на таран. А потом оказывается — форменный бред. Но есть люди, которых подводят под категорию бредоносцев... — Он нахмурился, вспоминая, очевидно, что-то свое.

— Как бы там ни было, сама проблема стоит того, чтобы ею заняться, — поспешно сказал Минаев с той грубоватой независимостью, которую Петрищев любил.

Петрищев согласился, как бы вручая ему судьбу рукописи. И хотя это доверие было приятно Минаеву, оно вызвало у него смутное чувство вины. Минаев успокаивал себя: никакого морального долга перед Петрищевым у него нет. Петрищев согласился вынужденно, не мог же он высказать недоверие к человеку, которого собрался утвердить директором. Ничего не поделаешь, вы заставляете, но и вас заставляют, такие обстоятельства пока что встречаются.

Теперь, когда вопрос был решен, ему вдруг стало жаль Ольховского. В сущности, Петрищева убедили, что Ольховский — скандалист и вредный чудаки. Это нехорошо. Губим парня только за то, что он так неумело отстаивает свою правду. Так нельзя.

С каким удовольствием он отшвырнул бы к черту всякие свои расчеты и соображения и сказал бы все, что думает про шумиху, поднятую Строевым. Но губы его оставались твердо сжатыми; сидя в кресле, он слушал рассуждения заместителя министра, и грузное лицо его изображало невозмутимое внимание.

Став директором, Минаев за ворохом новых дел забыл про Ольховского, и лишь запрос из главка напомнил ему эту историю. К запросу

опять было приложено письмо Ольховского — ожесточенно и неумело он продолжал безнадежную борьбу. По своему простодушию Ольховский пренебрегал пишущей машинкой, и поэтому даже внешний вид этих писем, на листках ученической тетрадки, исписанных детски круглым почерком, настраивал читателя несерьезно.

Первые абзацы Ольховский выводил тщательно, затем буквы ложились все более косо, строчки торопливо загибались, и Минаев был уверен, что никто, кроме него, не дочитал этого письма.

С яростной наивностью Ольховский обрушивался на систему публикации научных работ. «У нас воцарилась пагубная “ответственность с одного бока”, — писал он, — какой смысл печатать острую или спорную научную статью, за нее может нагореть, придется отвечать, а отклони эту статью — и никто тебя к ответу не притянет...»

«Наконец-то, допер», — думал Минаев. Судя по всему, парень через свои синяки и шишки чему-то научился. Ольховского возмущала уже не столько судьба его собственной работы, сколько природа той вязкой, непробиваемой преграды, на которую он наткнулся впервые в жизни. Гнев делал его мысли более зрелыми и глубокими. С раскаянием Минаев улавливал в них нотки озлобления и порой отчаяния. Он медлил отвечать в главк, собираясь на досуге продумать способ как-то помочь Ольховскому. Выработанное годами чутье удерживало его от поспешного выступления против Строева. Следует укрепиться, выждать момент... Доводы эти удивили Минаева — вот наконец он стал директором, и, выходит, ничего не изменилось...

На партийном собрании Ольховский попросил слова и стал разносить инструктора горкома Локтева — за полное непонимание характера научной работы, за «трупное равнодушие к живой мысли...». Безрассудство Ольховского встревожило Минаева — все, что говорил Ольховский, было правдой, только Ольховский не учитывал, что именно в силу своей бездарности Локтев не оставлял безнаказанным ни одного выступления против себя. Рано или поздно он находил удобный случай подставить ножку, нашептывал, распространял слухи. Не гнушался никакими средствами.

Слыша, как Ольховский бесстрашно атакует явно сильнеего противника, Минаев испытывал жалость и сочувствие. Он даже досадливо крикнул: жаль-то жаль, а пособить вроде и нечем. Слишком далеко в своей борьбе зашел Ольховский, открыто поддержать его — означало вступить в конфликт со многими влиятельными людьми. В глубине души Минаев остро завидовал безоглядной свободе Ольховского — терять ему было нечего, расчетливость, вероятно, казалась ему малодушием, а терпение — слабостью.

На следующий день после собрания Минаев положил запрос и письмо Ольховского в папку референту для ответа. Вечером референт, гладко причесанный молодой человек с бледно-желтым лицом, в

очках с такой же бледно-желтой оправой, бесшумно ступая на толстых каучуковых подошвах, вошел в кабинет и дал ему на подпись бумагу, отпечатанную на бланке с красивым штампом института. Туманно доброжелательный стиль ответа лишил всякого повода к протесту и оставлял право тянуть с решением неопределенно долго.

Минаев с любопытством посмотрел из-под усталых полуприкрытых век в бесстрастное лицо референта.

— Какого вы мнения об Ольховском? Все же он способный парень?

— Да, — сказал референт, наклонив гладко причесанную голову, — он способный.

«А что бы ты, друг любезный, написал, сидя в моем кресле?» — хотелось спросить Минаева. Но он умел разбираться в людях и поэтому сказал, сохраняя вопросительную интонацию:

— Сейчас-то вам просто, а будь вы на месте академика Строева...

Впервые Минаев увидел, как его референт оживился и как-то помолодому лихо почесал голову, нарушив блестящий пробор.

— Владимир Пахомович, я бы напечатал, не задумываясь... Ведь такая экономия...

— Ага, почему же вы готовите мне такие ответы, — быстро спросил Минаев, — ведь это расходится с вашим мнением? Почему вы поступаете, как Молчалин?

Референт медленно, с силой пригладил волосы.

— Я пишу так, как вы хотите, чтобы когда-нибудь писать так, как я считаю нужным. — И он твердо посмотрел в глаза Минаеву.

— Ого! И вы надеетесь, что это когда-нибудь случится? — задумчиво усмехнулся Минаев. Вынув из стаканчика толстый синий карандаш, он размашисто подписал бумагу.

Ольховский больше ни разу не обращался к Минаеву. Несколько раз Минаев встречал его в коридорах института. Ольховский проходил, угрюмо опустив голову, длинные руки его висели, словно чужие. Минаева тянуло остановить его, поговорить по душам, кое-что посоветовать, надо набраться терпения, вот скоро Минаев поедет на коллегию министерства, там будет случай кое с кем потолковать... Но он чувствовал, что Ольховский не поймет его, и это было обидно: Минаеву хотелось доказать, что он не виноват, что от него зависит немного.

Накануне отъезда на коллегию Минаева вызвали в горком. Он знал, что Локтев добивается увольнения Ольховского. В конце концов, кто такой Локтев? Всего лишь инструктор горкома. Какое он имеет право вмешиваться в мои дела? Если бы нужно было уволить Ольховского, я бы сам это сделал. С какой стати я должен потакать мелкому уязвленному самолюбию этого деятеля? Нет, хватит. Локтев мне не начальник, и не ему мною командовать. Другое дело, если бы секретарь горкома, а то инструктор! Вышел я из того возраста, товарищ

Локтев, да и положение не то... Так он и скажет: и положение не то — более чем ясно. Он мысленно повторил последнюю фразу — многозначительно, с легкой усмешкой. Подъезжая к зданию горкома, он машинально провел рукой по гладко выбритому подбородку, поправил галстук и тут же спохватился, негодуя на себя за этот привычный жест. Довольно, пришла пора, когда он может позволить себе оставаться самим собой, он ничем не хуже других директоров. Особенно в этом случае он может, он должен вывести Локтева на чистую воду. Ступая по широкой лестнице горкома, идя по просторному длинному коридору, Минаев высоко поднимал голову, в чертах его грузного лица вместо привычной затаенности проступала жесткая решимость.

Он вышел из горкома через час. Начинался дождь. Мелкие капли покрыли рябью асфальт. Минаев долго стоял возле машины. Бесчисленные влажные крапинки вспыхивали на сером асфальте. Капли падали на летнее пальто Минаева, он ощущал плечами их легкую дробь.

— Садитесь, Владимир Пахомович, — сказал шофер.

Минаев поднял голову, удивленно посмотрел на него.

— Вы поезжайте, — сказал он и захлопнул дверцу машины.

ЗИМ отъехал, место его стоянки четко отпечаталось на асфальте. Минаев смотрел, как дождевые капли пятнали светлый сухой прямоугольник.

— Поезжайте, — повторил он, прислушиваясь к своему голосу.

Он пошел вперед. Куда бы он ни шел, это все равно считается вперед. Он мог идти к площади, мог свернуть на набережную. Единственное, что он не мог, это вернуться в горком. Что бы он себе ни говорил, как бы он себя ни убеждал... Редко выпадали в его жизни случаи, когда ему приходилось оглядываться на самого себя. Нет, не то: о себе он думал достаточно, он старался предусмотреть каждый свой поступок, контролировал свои слова, но думать о том, почему он делал так, а не иначе, ему было некогда. Начинается тягостная психология... Натренированная ловкость, с которой он и сейчас увлекал себя прочь от опасных размышлений, позабавила его. «А что произошло в горкоме?» — неожиданно спросил он себя. Локтев грубо и откровенно предложил перевести Ольховского на опытную станцию в Николаев. Слушая Локтева, он спрашивал себя, по какому праву этот угрюмый недоучка, с мертвенным, каким-то прошлым лицом, никогда ничего не создавший и не способный создать, сидит здесь и распоряжается судьбами таких людей, как Ольховский? Даже для вида не спросил про строевские двигатели, в чем тут суть проблемы. Он был твердо уверен, что Минаев сделает так, как хочет он, Локтев. Откуда взялась у него эта гнусная уверенность? В горкоме его называли Угрюмбурчеев и побаивались связываться с ним.

По реке густо шел последний лед. Местами река была вся белая, как замерзшая. Лдины напоздали на гранитные быки моста и мягко трескались, угловатые обломки, кружась, исчезали в пролетах. Перегибаясь через перила моста, Минаев смотрел вниз. Казалось, лдины стоят на месте, а движется мост. От черной воды тянуло холодом, искристые длинные кристаллы льда звенели, ломаясь о гранит, и, мерцая, уходили под воду. Сделав над собой усилие, Минаев оттолкнулся от перил. В груди у него закололо, и сразу стало жарко. Сняв шляпу, он рукавом вытер пот. Холодные капли дождя обжигали горячую кожу.

Он почувствовал себя старым и навсегда усталым. Он вдруг увидел себя со стороны — обрюзгший, лысый мужчина, сутулясь, при шаркивая, идет по мосту, стиснув в руке шляпу. Боже, как быстро он состарился! Когда же это случилось? Он, Володя Минаев, запевала школьного хора, секретарь факультетской ячейки... Ему вдруг стало страшно — неужели он уже старик?

С пугающей явственностью возник перед ним Володя Минаев, яркоглазый, с прыщавой цыплячьей шеей, таким, каким он пришел на «Сельхозмаш». Ты помнишь ту историю с подвеской мотора? Пожалуй, с этого началось? Он помнил. Начальник цеха сказал ему: «Тебе, Минаев, еще рано высовываться. Куда ты лезешь со своими силенками против главного конструктора? Он тебе все будущее закроет. Что ты есть? Мастер. Таких глотают, не разжевывая». Он помнил свое унижительное бессилие, когда главный конструктор, прихлебывая чай, выслушал его страстную речь и сказал, умышленно перевирая фамилию: «Послушайте, вы, Линяев, если вы сунетесь еще раз с этим абсурдом, я вас выкину с завода. Идите». Вместе с друзьями он еще пробовал сопротивляться, ходил, доказывал. Все было напрасно. Они могли убить на эту безнадежную борьбу три, пять... десять лет и ничего бы не добились. Их было трое. Сперва уволили с завода одного, потом другого. Очередь была за Минаевым. Тогда он сделал вид, что смирился. Он утешал себя: это временно. Надо пойти в обход, сперва добиться независимости, авторитета, а потом громить этих бюрократов. Стиснув зубы, он продвигался к своей цели. Его назначили заместителем начальника цеха. Он приучал себя терпеть и молчать. Во имя того дня, когда он сможет сделать то, что надо. Он поклялся себе — все стерпеть. Он поддакивал тупым невеждам. Он голосовал «за», когда совесть его требовала голосовать «против». Он говорил слова, которым не верил. Он хвалил то, что надо было ругать. Когда становилось совсем тошно, он молчал. Молчание — самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью, оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, когда-то сказать его. Только не сейчас. Не в должности начальника цеха, и не начальником техотдела, и не главным инженером завода. И не на защите диссертации. Еще рано. Всякий раз было еще рано! А список его долгов рос. Жизнь

рождала новые идеи, сталкивалась с новыми препятствиями. Сколько таких Ольховских осталось позади!.. Неустанно, как муравей, он возводил здание своего положения, стараясь сделать его еще крепче. Зачем? Чего он добился? Чем выше он забирался, тем меньше он оставался самим собой. Тем труднее было ему рискнуть. Что мешало ему? Почему другие могли?.. Почему Петрищев мог — его несправедливо наказывали, понижали, снимали, а он всегда шел напролом, своим путем и побеждал? Нет, ему, Минаеву, ничего не мешало, просто так ему было легче. Он считал, что так легче. И когда Локтев, помахивая копией его ответа на запрос горкома, упрекнул его в двоедушии — «пишешь одно, а говоришь другое, что ж прикажешь докладывать секретарю?», — он понял, что Локтеву нечего стесняться, он имеет право быть откровенным, и сейчас надо уступить, так легче.

Все то, что предлагал Локтев, было подло, насквозь подло, но Минаева поразило другое — Локтев, по крайней мере, говорил то, что хотел. Локтев и Ольховский. Все остальные люди, связанные с этим делом, — все они думали одно, а говорили другое. Все, начиная с самого Минаева и кончая его референтом. Каждый из них по-своему лицемерил, лгал, и, вероятно, поэтому Локтеву можно было уже не лгать.

«Какой подлец! — с ненавистью думал он, глядя в пустые глаза Локтева. — Гнать его в шею из горкома! Не то что из горкома, из партии надо гнать таких. Злобное ничтожество. Ведь если его выгнать отсюда, его даже в продавцы не возьмут». Чем сильнее он ненавидел и презирал Локтева, тем спокойнее он отговаривал его, а когда Локтев стал настаивать и угрожать, он попросил отложить вопрос на несколько дней. Трезво оценив всю сумму неприятностей, которую способен причинить ему Локтев, он надеялся в Москве заручиться поддержкой.

— Только ты не тяни, — сказал Локтев, прощаясь. — Сам писал, что Ольховский — склочник. Надо очищать институт, оздоравливать атмосферу.

«Ах какая сволочь!» — подумал Минаев и крепко пожал руку Локтева.

В Москве, на коллегии, институту досталось за невыполнение плана, и, хотя в большинстве претензий виновато было само министерство, возражать не имело смысла, поскольку Минаева считали человеком новым, и все упреки списывались на прежнее руководство. Зато благодаря этой тактике Минаеву удалось выпросить валютное оборудование. В этом щекотливом вопросе просьбу института поддержал академик Строев, и после этого Минаеву было неудобно заговаривать о деле Ольховского. Суматоха московской командировки оттеснила это дело, ставшее здесь, в Москве, каким-то маленьким, и всплыло в памяти оно только в поезде, когда Минаев остался один в купе полупустого спального вагона. Виноват, наверное, был дождь. Он начался

незаметно, покрывая окно косыми мелкими блестками. Крохотные капли зигзагами пробирались вниз, вбирали в себя накрапы, сливались такими же каплями и рывками все быстрее скользили вниз. Вспомнив обещание, данное Локтеву, Минаев вздохнул — вероятно, он там рвет и мечет, ничего не поделаешь, придется переводить Ольховского в Николаев. Временно. Пока улягутся страсти.

На фоне густой черноты ночи двойное зеркальное стекло отразило грузную фигуру в розовенькой полосатой пижаме, отечное лицо с папиросой в углу твердо сжатого рта и еще одну, более смутную фигуру, всю в блестках дождя. Папиросный дым, касаясь холодного стекла, стлался сизыми льнущими завитками. Сквозь них из черной глубины окна, там, за вагоном, на Минаева смотрел тот, молодой, в намокшей кепке, в потертом пиджачке студенческих времен. Струйки воды стекали по его бледным щекам, по тонкой цыплячьей шее.

«Что же ты, папаша, опять откладываешь, сколько можно, неужели ты совсем не личность?» — «А между прочим, для всех весьма серьезная личность. Я считаю с реальными обстоятельствами, легко требовать, когда внизу». — «Ты обещал поступать по-своему, когда назначат директором. Потом, когда укрепишься, а теперь...» — «Как будто директор — это бог. Я связан по рукам и ногам. Если бы я работал в министерстве, тогда я бы не зависел от Локтева, я мог бы...» — «Подумаешь Локтев, что тебе его угрозы, надо было пойти к секретарю горкома, в конце концов мог обратиться в ЦК, ты же был там». — «Я честно делал и делаю что могу. И с Ольховским тоже все обойдется, верну его». — «Не вернешь, да его уже и не будет, того Ольховского, будет Минаев, он превратится в Минаева, ты предаешь нас обоих... Как я мог поверить тебе?» — «Демагогия. Безответственная болтовня. Если я сейчас уступаю, так это только для того, чтобы иметь возможность поддержать не одного Ольховского. На моих плечах большой институт, там есть десятки таких, как Ольховский, которых я могу защитить, поэтому я не имею права...»

И был еще третий Минаев, невидимый, который с любопытством слушал, как директор убедительно, степенно отражал наскоки молодого, фактами доказывая неизбежность случившегося, и вроде успокоил, пообещав выручить Ольховского, вернуть его, лишь только сойдутся обстоятельства. Был он вполне искренен, не ловчил, но тот, невидимый, третий, знал — обстоятельства нужным образом никогда не сойдутся, игре этой не виделось конца. Он всегда будет стремиться стать самим собой завтра. Однако третий этот, невидимый Минаев, не вязывался в их спор, никого не уличал, он ничего не произносил, он то знал, что вряд ли уже директору удастся когда-нибудь поступать так, как он хочет, и что этот невидимый Минаев и есть тот настоящий, про которого никому не суждено узнать. И то ладно, что есть и не погасло, значит, утешался он. Другие напрочь придавили это в себе.

Бог знает, сколько в нем расщепилось разных Минаевых, и никак они не могли соединиться в одно.

Гибкие плывущие пряди дыма затуманивали мокрое лицо, там за стеклом оно уплывало в черноту ночи вместе с прошлым. Куда уходит прошлое? Единственное, что осталось, — это ощущение ожидания, вспоминалась не работа, а ожидания, которыми, оказывается, были залеплены все эти годы. Непрестанное ожидание — чего?.. Он усмехнулся и придавил папиросу.

Утром на вокзале Минаева встретил референт. Тщательно заматывая шарф, Минаев слушал институтские новости.

— Да, кстати, — спросил он, — Локтев из горкома не звонил?

— Звонил, дважды.

— То-то и оно, — сказал Минаев.

Они медленно двигались в толпе по мокрой платформе, мимо вагона, в котором приехал Минаев. Запыленные стекла его купе ничего не отражали, сквозь них в сумрачной глубине виднелась смятая постель, грязная пепельница, полная окурков.

Даниил ГРАНИН

ДИАЛОГИ

ВЕТРЯНКА

Наши аэросани находились в пути уже третий час. Где валко, через логи и вспученные пуржистыми надувами холмы, где спокойно, по твердому ровному насту, прочерчивали стальными лыжами замысловатые узоры. Шли то по целику, то по голой тундре — бескрайней, как стылое озеро без берегов, то мелкоколесьем с белыми прогалами схваченных морозом болот.

Дороги от Северо-Дальского горного комбината до «Ветрянки», куда мы направлялись — не было.

То есть дорога, она, конечно, была, и не проселочная, не какая-нибудь, а посолидней, построже — и насыпи, и рельсы, и мосты — но вот уж который год по ней не прошел ни один поезд. Сейчас, в самом начале марта, когда весна даже и с робостью не постукивала первой редкой каплей, железнодорожная эта стезя на всем полуторастилометровом протяжении покоилась под плотным снеговым одеялом и только по невысоким телеграфным столбам, чуть не до половины засыпанным свирепыми бурями, можно было определить, откуда и куда она идет.

А шла она вдаль, на дикий, едва обжитой берег Козлы — притока Большой реки, куда некому было забредать, кроме разве волков да песцов. И нам уже казалось, что шахта по названию «Ветрянка» точно бы скрылась под воду, как град Китеж, — забыли о ней. Только раз в году в былые времена, по весне, в большую воду, подходил к «Ветрянке» катер с паузком на буксире. Выгружали с паузка продукты для считанных здешних жителей. И снова до будущей навигации ни один гудок не пробуривал тишину, залегшую над болотами и тундрой...

Пассажиров в салоне аэросаней было пять, механик Ундриц — шестой. Все — мужчины, только одна — женщина. И еще один «мужчина» — черный ньюфаундленд Мишка. Сидели на кожаных диванчиках в меховых одежках. Сидели не очень удобно, мешало обилие вещей. Не уместившиеся в багажнике, рассованные по углам и под ногами ящики, чемоданы, теодолит, рация нет-нет да и толкались с назойливостью живых существ. Люди переносили это неудобство терпеливо, но пес, лапам которого доставалось, взвизгивал.

Проплывали за стеклами снежные поляны, лесок, тундра, кустарник, снова лесок — разговаривать не хотелось, за стенками кабины было не так чтобы уж морозно, градусов двадцать шесть; иней нарисовал свои чудеса на плексиглазе, но внутри холод ощущался не очень.

— Замерзаешь, Татьяна? — по-командирски зычно спросил Курбанок, человек в зимнем треухе; посунул его на шишковатом лбу.

— Прямо-о... — будто кого-то передразнивая, смешливо отозвалась женщина и стала слегка выпрастываться из слишком просторной малицы.

Двигались не быстро. Спадали ночной холод. Порой на подъемах лыжи зарывались в рыхлеющий снег. Тогда мотор ревел натужно и с трудом выталкивал аэросани на гребень холма. Трескучий шум заглушал все слова. Надо было кричать, чтобы быть услышанным. Еще и поэтому ехали молча. Кто дремал, кто думал... Внезапно винт оборвал свою песню. Аэросани качнулись туда-сюда. Остановились.

— Что там, Ундриц? — Курбанок постучал в окошко водительского отделения. — Пёрекур, что ли?

— Не знаю. Погляди, — лаконично ответил механик. Вышел наружу.

Выбрался из кабины и Курбанок. Огляделся. Позади извивались оставленные лыжами следы. Виделось в отдалении тундровое мелкоколосье, а справа, неподалеку, торчащие, как мохнатые кукиши, несчастные хилые ели. И никаких признаков жилья. Пока Ундриц, подставив лесенку, копался в моторе, осматривал шасси, население дюралевого ковчега в полном составе вылезло наружу. Подышать.

Чиркали зажигалками, попыхивали наскоро табачным дымком, торопясь запастись сигаретным духом до следующей остановки. Вскоре, однако, выяснилось, что спешим мы зря. Неторопливо обтирая узкие ладони пестрой ветошью, Ундриц сказал:

— Шатун в нижнем цилиндре полетел. — Поскреб пальцами щеку.

— Перегрелся? — нетерпеливо спросил Курбанок.

— Ну да. Тыщу раз нагревался. Тыщу раз замерзал. Север. Сталь — не человек. Не держит. — Скептически сжал тонкие губы.

— Запасной есть?

Механик качнул туда-сюда лохматой собачьей шапкой.

— Фартовое дело! — присвистнул Курбанок, сбивая на затылок свой трюх. — Слыхали, граждане пассажиры?

Аэросани стояли на привольном открытом месте, словно свалившийся с неба космический бродяга. Вокруг — безлюдье, зимнее запустенье. Бездорожье. Гофрированный зандевелый дюраль напоминал о вторжении сюда человека с его хлопотами, беспокойством. Неутомимостью. Ундрец определил: до «Ветрянки» осталось километров пятьдесят. Может шестьдесят.

— Добро! — Курбанок с прищурцем посмотрел на Татьяну, точно прицеливаясь в нее.

— Что же тут доброго, Георгий Дормидонтыч? — удивилась та простодушно.

— А то, милейший мой доктор, что шестьдесят лучше, чем сто. А?

— Слава оптимистам, — снисходительно улыбнулась она.

— Не то словечко молвишь, матушка. Не то. С какой-то уж поры не знаю, стал я себя называть с к е п т и м и с т о м. Слыхала? Ах, не слыхала? Гибрид, Татьянушка Ниловна. Гибрид того и этого. — Говорил он так, что трудно было догадаться, ссерьезен или дурачится. — А ну, дивизия, за дело! — Понарошку покрахтывая, скинул с себя малицу. Остался в коротком меховом жилете. — Расчищаем местечко под костер. Так? — Распорядился радисту: — отстукивай послание в северный град Дальск насчет шатуна. Пусть подбросят самолетом-вертолетом. И на всякий случай — пол-магазина «Гастроном»!

Энергично расчистили площадку, метров пяти в поперечнике. Насыпали вокруг нее невысокий вал. Срубил и разделали несколько карликовых берез и низкорослую еловую сушину. Сложили в кучу. Небо быстро теряло свою чистоту. Все чаще палетал пока еще не сильный шквалистый ветер, сдирав с пологих гребней белесые катышки, с сухим шорохом бросал на застрявший экипаж; присыпал, как солью, широкие лыжи.

Улучив момент между двумя налетами ветра, Ундрец плеснул на дрова горячего, чиркнул зажигалкой. Взвилось, пыхнули жаром верткие языки. В ведре натаяли снега, вскипел чай. Все уселись у огня. Когда подзакусили, Курбанок задымил трубкой. Переступая по оттаявшей вокруг костра мшистой земле обутыми в оленьи унты длинными ногами, пофыркивал дымком. Его лицо с твердыми буграми скул и синеватыми впадинами под ними, точно вобравшими в себя холодноватую смуглость, не выражало и малейшей озабоченности.

Прищуривая то один, то другой глаз, словно хитря с кем-то, спросил радиста:

— Так что там отвечает наша планета «Уголь»?..

— Да вот, прошвырнутся к нам, не сегодня, так завтра. Как погодка позволит.

А погодка уже не позволяла. Низкая облачность отгораживала зем-

лю от солнца. Пошел снег. Видимость, как лампа без керосина — угасала. Темнело.

Подошла ночь. Тихая. Звездная. От стенок кабины тянуло стынью. Спальных мешков не было. Курсировали от машины к костру и обратно. Занималось, поигрывало яркими в диковинных цветах северное сияние. Я сидел на деревянной чурке. Курбанок — походил, походил, тоже уселся на что-то. Я спросил:

— А что, Георгий Дормидонтыч. «Ветрянка» эта — богатое наверное место рождение, если даже рельсы туда протянули?

— Уголек там есть. Фарговый уголек, и не простой, а для коксования, для металлургии первый сорт — лучшая пища! Потому и едем туда. Вспомнили.

— Вспомнили?.. А почему забыли?

Он вытащил из зубов трубку, слегка сжал щеки ладонью, будто хотел сделать лицо еще суше, долго молчал. Сказал, глядя в сторону:

— Ты-то сюда впервой едешь, поглядишь, почиркаешь в своем блокноте и уедешь. А я эти места не со вчерашнего дня знаю. Спать не тянет тебя?.. Давай-ка подбросим в горнило дровишек! — Мы оба встали, принесли по охапке сушья, с новой силой разыгрались, завели лихую пляску огни на кривых сучьях. — В пятьдесят втором году, сразу после института, послали меня сюда, на эту самую «Ветрянку» и такое, брат, увидел тут и узнал...

Осыпались угли в костре и пламя прижималось к земле, и опять мы его взбадривали. Курбанов вел свой рассказ неторопливо, иногда умолкая надолго. Мало мы с ним спали в эту ночь, как и все остальные, но сказанное мне — вполголоса, не для других, только для нас с ним — вбирало в себя многие годы и много — может быть тысячи! — судеб. Мороз ослабевал. Не ослабевала тишина. Вилась дымком и безмолвно дышала там, в звездной ночной выси. Солнце еще куталось за палевым горизонтом в зимние шубы, и утренний отраженный его свет — не то серебристо-пепельный, не то розовый — разливался вокруг, когда показался вдали самолет. Он сделал разворот, качнул крыльями, сбросил мешок, снова качнул крыльями и улетел.

Ундриц провозился часа два и к полудню запустил мотор. Ногой, обутой в собачий унт, постукал по креплениям передней лыжи, попинал, будто сердился на то, что она, вопреки его ожиданиям, не ломается, крикнул: «Едем!» и все стали втискиваться в кабину.

Пропеллер вновь завел свою воинственную песнь. Обдал все вокруг облаком холодной колючей пыли. Рывок, другой — и сани, скрипя лыжами по свежему снежку, снова тронулись в путь. И когда уже все притерпелось к моторному гулу, к покачиванию, подрагиванию, голос механика — веселый, довольный — возвестил:

— Вот она «Ветрянка». Доехали!

Аэросани спускаются с длинной пологой горы. Там, возле нее —

маячит решетчатый копер, эстакада. Террикон. У завалов породы, прикрытых снегом, остановились. Навстречу нам из ближайшего барака шел человек, показывал рукой на тропинку, по которой надо шагать к жилью.

Группа, которой распоряжался и руководил горный инженер Георгий Курбанок, прибыла на «Ветрянку» потому, что в Северо-Дальске и еще повыше — в министерстве — решили эту шахту восстановить, заново перестроить и сделать сильным, вполне современным предприятием, способным выдавать на-гора полтора миллиона тонн угля в год. Он нужен был как топливо, но также и потому, что в углях «Ветрянки» содержались некоторые вещества (а по-ученому говоря — компоненты), до крайности необходимые в химии.

Вдохнуть в «Ветрянку» вторую жизнь и должен был он, горный инженер Георгий Курбанок, ранее построивший в Северо-Дальском бассейне не одну шахту и о прежней «Ветрянке» тоже знавший не понаслышке. А я сюда ехал, чтобы потом рассказать — как на этом, как бы сказали в старину — богом проклятом месте, будет начинаться иная, чем когда-то, жизнь.

О той же, что была когда-то — мне многое уже поведал ночью у костра Курбанок.

Утром следующего дня он позвал меня с собой.

— Пройдем-ка в пренсподнюю. чаю — не бывал ты в ней, а тебе для полноты впечатлений не помешает!

У местного завхоза нашли старые шахтерские робы, мы переоблачились, взяли лампы-«шахтерки» и скрылись в людском ходке. Узкая лестница убегала на сто шестьдесят метров под землю вдоль наклонного ствола, по которому раньше тянулись скипы с углем. Шли осторожно. Кое-где не хватало уже ступенек-поперечек, прибитых к толстым плахам. Из темной глубины несло холодной сыростью, гнилостным воздухом, грибной плесенью. Спустились на рудничный двор, прошли по откаточному штреку и вернулись. Повсюду — запустение, заброшенность. Подгнили и треснули крепи. Лопнул и обвалился обапол. Рельсы для вагонеток покрылись густым слоем ржавчины. Где-то слышался голос воды: она журчала тихо, неизвестно откуда стекая и непонятно куда уходя.

Когда поднялись, небо, даже прикрытое серой лохмотью, показалось ослепительным. Чуть-чуть тянуло предвесенней теплыней.

— Пойдем, писатель, походим еще по кое-каким святым местам, — сказал Курбанок. — Может и еще что-нибудь эдакое углядим. — Обычной для него шутливости в тоне уже не было. Лицо залила хмулость. К нам присоединился завхоз. На его худых прямых ногах болтались старые залатанные валенки. Длинный тулуп со стоячим, вроде боярского, воротником свисал чуть не до самой земли. То и дело он запахивал его и от этого казалось, что под тулупом нет ничего, кроме голого тела.

— Куда пойдем? — спросил он.

— А вот в то самое — откуда командировку давали — кому в рай, кому в ад. Или там снегу по пояс?

— А-а... Есть дорога. Недавно старушку одну хоронили, так пробили.

Под ногами проседал сухой крупчатый ворс. Прошагали с полкилометра. Вдаль уходила широкая, местами рыжеющая отлогими откосами канава. Она странным образом напоминала братскую могилу. Впритык к ней тянулся правильный прямоугольник кладбища.

— Вот и пришли...

Белый покров, как огромный саван — прикрывал собой столбики, столбики, холмики. Видно, ветер сдувал с него слой за слоем, а может еще и притаивал во время оттепели, — виделась на каждом столбике дощечка. Протаптывая тропку, я подошел к одной. На ней кое-как, кривоватыми буквами было написано: «Худородов, В. Ум. 14.V.1944. Осужден по статье 58-10. Конец срока — 1947 г.»

Вот значит, какая она была, эта «Ветрянка»!

Я не слышал, как подошел сзади Курбанок. Снял шапку, снял и я.

— Так-то вот, писатель. Человек этот оставил землю, расстался с жизнью — раньше срока, до которого ему приказано, назначено быть за решеткой. Мучиться, страдать, медленно умирать, — но жить, жить, чтобы не оставаться должником. А он, видишь — посмел. Остался им... Заключенные на других шахтах слово это — «Ветрянка» боялись вслух произносить: попасть сюда — значит погибнуть! — Он сжал зубы. Вздупались, заходили под скулами желваки.

Прибрел сюда и завхоз. Скорбно покачал головой, стянул с нее ушанку. Молча, как и мы, смотрел на покосившиеся столбики; на некоторых уже и дощечек не было — то ли бурей сорвало, то ли сгнили и сами свалились...

Мы вернулись в барак. И еще четыре вечера подряд, да прихватив часть ночи, Курбанок раскрывал мне — что это такое была «Ветрянка».

Прилетел за мной вертолет. На прощание Георгий Дормидонтыч сказал:

— Месяца через полтора буду в Ленинграде, за проектной документацией приеду, повидаемся.

Он прилетел потом на неделю летом. И опять мы подолгу говорили, хотя говорил-то больше он. И оставил у меня б у м а г и, хозяина и автора которых уже не было на свете, дневники чьи-то: записанные ветвердой рукой диалоги.

— Хранил у себя, все думал — не зря ли? Все думал, спрашивал себя, придет ли оно, то время, когда запрещенное это слово услышат люди, прочитают?..

— И верили, что придет?

— Верил, знаешь, — он горько улыбнулся, — кто совести не потерял — каждый верил. Теперь уж можно не прятать. Пиши. Надо писать. Много крови пролито Сталиным. А кровь — она не молчит!

— Пишу. Пишу.

Кипение людское пришло в тот — давно ли переставший быть совсем пустынным — край, как трудный и долгие годы безответный глас. Руки — чаще и больше подневольные, нежели вольные — долбили вечную мерзлоту, м а н т у л и л и в ее глубинах, где под слоем никогда не оттаивающих напластований текла ширины неизмеримой черная угольная река.

И хотя тысячи этих рук застыли потом в вечном же покое — время делало свою кротовью работу.

Множились километры железных путей, ведущих к Северу с Юга. Множились километры путей и ходов подземных, и оттуда, из земных недр — вытекал на-гора отличнейший уголь-уголек. Множились этажи построек. Множились поселки и города...

Впрочем, и люди — тоже множились. Размножались. У в о л ь н ы х — рождались. На место загнущихся невольных — приволакивались эшелоны других. Таких же. Им подобных.

И кое-кому из тех, кто верховодил всеми этими делами, кто всегда был н а п о в е р х н о с т и, — невидимым и незримым отсюда, из безгласной глуши, из тундровых далей, словом — дирижерам, было это все — во-славу.

В конечном счете — судили да рядили они — руки, изгоняющие пустыню из пустыни — с о в е т с к и е же руки, как бы их ни окрестили, ни нарекли о с о б ы е судьи в Особом же Совещании НКВД или т р о й к е, или трибунале, и прочем.

В конечном счете (судили да рядили они) — все, что строят, добывают, прокладывают, возводят, творят подневольные эти руки — идет на пользу не какому-то там одному-разъединственному богатее, не буржуазному пузу, а в с е м у народу и, значит, цель оправдывает средства.

Что же касается «Ветрянки», то в прошлом, в годы тридцать седьмые — это был не просто ИТЛ, то есть — исправительно-трудовой лагерь, а обитель, про которую начальство многозначительно говаривало: особая; бывалые же з э к и называли ее «перетюрь-тюрьма». То есть самое что ни на есть доньшко: глубже некуда. На «Ветрянке» отбывали срок не только разные там урки, но и разные там фраеры, что шли под рубрикой «Пятьдесят восьмая», к о н т р а, словом, приговоренные к каторжным работам (да, да, было и такое...). И сроки «ветрянские» были — б о ж е с к и е: полную катушку, то есть десять лет мало кто имел, а чаще — от пятнадцати до двадцати пяти. Сверх этого, слава аллаху — не давали.

Слово это — страшное, царских времен слово «каторга», расстре-

лянное революцией, — словно бы восстало из мертвых, разбужено было теми, кто где-то далеко отсюда, в Москве — бросал и подбрасывал человеческие судьбы, как игральные карты. Теми, кто, тасуя и подтасовывая историю, пытался всю страну пропитать каторжным духом.

Теми, кому противостояли только слабые, лишенные всякой защиты и законного предстательства — люди.

Люди, чьим единственным оружием и орудием — и жизни, и борьбы за нее — был их дух, их идеи, т. е. идеи, вопреки которым только и могла появиться в гиблой северной тундре такая вот «Ветрянка».

... В тот мартовский приезд, что довелось побывать на «Ветрянке», Курбанок уделял мне время только вечерами, а днем я ходил да бродил по заброшенной шахте, по крошечному поселку, где и обитало-то всего с десяток людей, сохранявших вроде бы и никому не нужное имущество. Смотрел. Рассматривал. Думал. Как-то поднялся и на террикон, откуда далеко окрест виделось: копер, склады, мастерские, бараки, кладбище вдали... Казалось бы — обычный пейзаж промышленно-жилого местечка. Но нет. Было в застывших безмолвных сооружениях что-то, что делало всю картину непохожей на такие же индустриальные пейзажи, какие встречались мне в Донбассе. Или — в Сучане... Это был — частокол.

Люди, построившие его для себя же — словно бы отгородились им от мира. От жизни. От всех остальных людей. Но в действительности это и х отгородили. И, отгородив — лишили имен. Не всех, правда, но — многих.

Имена остались з а частоколом вместе со свободой. А тут были только номера, нашитые на спину да на шапку спереди. Черные цифры на белой тряпке. И вся жизнь этих н о м е р о в проходила, протекала в трех измерениях: на земле, от одной стороны частоккола до другой, в з о н е; и еще — в глубь земли, а потом из под-земли — к недосыгаемому небу. Не дальше. Только взглядом. Только.

В те дни он был молод — частокол.

И вдруг — что-то умерло. Ушло с лица зёмли навсегда. А что-то — воскресло. Родилось. Воспрянуло. Открылись, распахнулись настезь окованные сталью ворота. Люди, нет, н о м е р а, — вышли, вырвались из объятий частоккола и снова стали людьми. Не номерами.

И когда последний человек перешагнул, переступил через порог, еще недавно бывший для него неприкосновенным, запретным, запечатанным, — он словно перешагнул через грань: из эпохи в эпоху: через грань, отделяющую правду от произвола и беззакония; свободу — от порабощения; радость — от горя.

Да, он стал ненужным, подгнил, одряхлел, частокол. Началась его смерть — но не кончилась тут же. И сегодня еще он помеха легкому, веселому, бегущему вдаль простору. Свету. И такой он — ехидно, а может и злобно, напоминает людям:

— Я помню-у-у... А — вы?

Он помнит время, когда охранял не бараки, не шахту, не выданный на-гора уголь, — людей, спускавшихся в преисподнюю, затем, спустя рабочую смену — возвращавшихся, а на следующие сутки опять молчаливой цепочкой шагавших к людскому ходку. Вверх-вниз... Вверх-вниз...

И так же, как металл — в неумелых, безлюбовно его творящих руках — превращался порой в жалкий, никому ненужный огарок, так человек, оказавшийся во власти тупого и бессмысленного насилия — сгорал бесцельно, напрасно, неизвестно во имя чего, для чего...

И уж кто знает — вдомек или невдомек было далеким и высоким д и р и ж е р а м мрачного этого спектакля. — гнали они в пустыни, в тундры эти, как в гигантский отстойник, — не просто людские потоки, а струи, ручьи, — да, ручьи и реки крови. И реки огня. Того огня и той крови, которыми питался мозг страны. Обогревалось сердце страны.

И уж кто его знает — вдомек или невдомек было тем же самым дирижерам — что овчина эта каменноугольная, вылезшая шербатой своей шерстью из под-земли, обходится и обойдется народу в годы и годы приторможенного будущего в моря страданий, испытанных не только сейчас, но и потом, после — в дни гитлеровского нашествия; что выделка этой овчины обходится и обойдется людям, для которых буквы «СССР» были в с е, — в страшные, ничем не оправданные издержки.

Им — дирижерам с петлицами и без петлиц, бериевским, ежовским, сталинским, одним словом, и иже с ними — важно было задать работу себе, показать и доказать, что именно они и только они — хранители, оберегатели безопасности и спокойствия государственно-го — бдят денно и ночью, охраняя г л а в н о г о дирижера и всех его оркестрантов от бед, от несчастий, от гибели и позора.

И доказывали. И показывали. И получали за все это блага земные — от денежных — до орденских: государство в государстве. И все беды и несчастья, гибель и позор — выдуманные, измышленные ими — оборачивались реальной гибелью лучших из лучших. Цвета народного.

Вот что виделось, слышалось, думалось мне при виде полусгнившего частотола. Что сказал бы он сам, кабы мог говорить?

— Я еще ту-ут, — и подмигивает кривым глазом. — Ту-ут я еще. И не раз споткнется об меня ветрище. Еще не раз, глядя-поглядывая на меня, вспомняете вы т о время. Еще не раз при виде моих кольев-зубьев, сожмется сердце; у одних от боли утрат, у других — от гнева, у третьих — от радости, что я п а л... Но я еще ту-ут... А у кого-нибудь, может, и от страха. Да-а, от страха, что могу я снова подняться. Во весь рост. Что — могу-у...

Но даже в те немногие дни, что я пробыл на «Ветрянке», стало ясно, что век свой господин Частокол — отжил. Буквально на следующий день после того, как наши аэросани причалили к завалам породы на шахте, Курбанок вызвал бригаду добрых молодцев из Северо-Дальска. Они прибыли сюда на вертолете и я тогда же спросил у Курбанка — почему это и мы не использовали столь быстрый и удобный вид транспорта. Ответил:

— В песне какой-то, фильменной, помнишь, поется: «Мне сверху видно все, ты так и знай!»? А в деле — как? Все, да не все. Прошли мы с тобой на летучих санях вдоль всей трассы железки, затем, чтобы поглядеть — какие еще кости от нее остались. Уразумел?

С каждым днем «Ветрянка» все напористей, нажимистей, выходила из своей долгой немой жизни. Из спячки. В заколоченных бараках открыли настежь двери и окна. Загуляли по ним непоседливые сквозняки. С морозным ветром, с холодом уносились отсюда тяжелые, точно прилипшие к щелястому полу запахи скучности, горя. Тоски. Казенной одежды. Запахи кое-как устроенного общего жития. С треском ломали разные хибарки-временки. В огромных кострах сжигали выброшенный из углов хлам. Курбанок и меня тогда мобилизовал на эти дела.

Взялись и за частокол.

Били кувалдами по сгнившим основаниям, выворачивали ломami, вгрызались острыми пилами и топорами в еще сохранившую свою прочность сердцевицу. Курбанок на пару с Ундрисцем принялся рушить вышки. С упрямым азартом они подпиливали столбы-опоры. Когда все четыре опоры у первой были подрезаны, несколько человек жердями, баграми нажали:

— Р-раз-два -- сильно!

Вышка рухнула в затвердевший, напластованный снег, разбросала вокруг нафталиновые блески. А Курбанок с тем же неостывающим азартом прошагал к следующей, затем к третьей, к четвертой...

Частокол — кончился.

...Среди тех б у м а г, что передал мне Курбанок, были и его собственные заметки. Он писал отрывочно, если говорить о стиле — довольно коряво, в ученической тетради, писал, как видно, на скорую руку о том, что его тревожило, смущало, зывало к правде, которую еще надо было вызвать, найти. И по этим-то заметкам смог я постепенно понять человека — неординарного, необычного, но никогда этой неординарности за собой не замечавшего.

В этих его заметках говорилось и о том, что вот окончилась война и сотни тысяч советских **гражданско-пленных**, что не спали ночами, думали, рассчитывали, ожидали, что победа над фашизмом — станет и их победой. И что наконец-то им вернут свободу.

Не дождались.

Свободу получили лишь краткосрочники, то есть те, кто был наказан за кражи, хулиганство, взятки: люди, совершившие действительно преступление.

Остальные — все эти к а э р ы, в том числе и те, у кого уже был закончен срок заключения — продолжали оставаться за решеткой, за колючей проволокой, за дальними лесами, за высокими горами.

Их поочередно вызвали в УРЧ — учетно-распределительную часть, и давали расписаться в узкой полоске бумаги, которая гласила: «Такой-то постановлением Особого Сопещения при Министре госбезопасности задержан по окончании срока заключения — впредь до особого распоряжения». Но когда, — через какие недели, месяцы, годы могло или должно было последовать оное распоряжение — не знал никто.

И вот тогда-то Курбанок начал задумываться над порядком вещей, существующим рядом с ним, вокруг него.

Думалось: придет ли, наконец, час, день, в который рухнет часток, окружающий шахту и исчезнет колючая проволока?.. Беседуя то с одним, то с другим, то с третьим з э к о м, украдкой, на ходу, чаще где-нибудь под землей, чем на земле, чтобы не попасть на глаза стучачей — он все отчетливей понимал насколько эфемерны и бездоказательны их вины.

И еще думалось: вспомнят ли, напишут ли когда-нибудь о людях, которые первыми прокладывали вот этот железный путь через дикие приполярные горы в пустынные необжитые просторы Севера, чтобы извлечь из его глубин угольно-черное тепло?

Вспомнят ли о тех, кто, будучи окрещен трижды проклятым темным именем в р а г а н а р о д а, — строил шахты, города, заводы в тундре?

И к этим людям, которые каждый день спускались в закрома планеты, чтобы дать н о р м о ч к у, — инженер-майор Курбанок постепенно, не то чтобы меняя свое отношение, но определял его все точней. Трезвей. Истинней.

Да, видел, знал, начинал понимать: многим из них он, бывший беспризорник Гошка, воспитанный и выученный советской властью и вот уже который год пребывающий в партии коммунистов, — по идейности, по убежденности, по чистоте и правильности партийного жизненного пути, — годится разве что в ученики.

После войны что-то заставляло его упрямо вгрызаться в их думы, в их прошлое, в их мысли. Он всегда был прост, всеми нервами и чувствами ненавидел п р и д у р к о в, которые корчат из себя начальство и изгаляются над человеком только потому, что у них на погонах кое-какие звездочки, а на другом человеке — драный бушлат. Всеми силами старался избежать, не допустить в себе даже и малейшего самодовольства. Среди тех вольных, что окружали его постоянно, — он ощущал временами голод своей души. Был какой-то витамин в ее

рационе, которого постоянно нехватало. Но если бы его спросили — как называется этот витамин: правда, законность, объективность? — ответить бы не смог. Считалось, что все идет как надо, что все, кто находится на «Ветрянке» в сером или черном арестантском бушлате под номером или без него — действительно враги народа. Что с ними поступлено правильно и справедливо, и что нечего давать им поблажку.

Если же кто и думал про себя что-то иное — то ни с кем не делился, потому что не было никакой уверенности в том, что на завтра мысли, сомнения, высказанные вслух — не станут достоянием Шкаринова, начальника Первого отдела, то есть местного «наблюдателя», прокурора, следователя, — всего вместе. А это грозило тем, что нынешний вольный мог стать завтра **невольным**.

Нет, он, Курбанок, не относился к «врагам народа» с сентиментальной жалостью. И сочувствия особенного к ним не испытывал. Случалось, под горячую руку и **обкладывал** крутым словом того или иного работягу, который в борьбе за существование пытался **потуфтить, пофилонить**; переложить часть своего труда, своей ноши — на плечи такого же, как он сам, бедолаги.

Но при этом всегда оставался для них — ч е л о в е к о м.

ИННОКЕНТИЙ КРУТОЯРСКИЙ

... Это были листы какой-то старой бумаги, с одной стороны исписанной цифрами и словами «суточная сводка», «рапортिका», а с оборота — чистой. Переплетенные в тонкий упаковочный картон, они представляли собой нечто вроде амбарной книги. В верхнем углу крышки значилось: «Анналы. Иннокентий Крутойарский». И ниже — дата: «Январь 1954 года».

Анналы — то есть летопись. Она началась десять месяцев спустя после смерти Сталина и продолжалась до последних дней жизни бывшего арестанта, бывшего философа и крупного партийного работника, а после года пятьдесят четвертого — сторожа и кладовщика на бывшей же шахте «Ветрянке».

Зачем и почему он оставался на ней, когда получил свободу? Я вчитывался в страницы, исписанные узким, стремительно падающим вперед почерком, и становилось понятным — что это за летопись и почему написана, записана, составлена. Вчерашний заключенный, а ныне — вольнонаемный Иннокентий Крутойарский вел переписку с одним из товарищей по тюрьме, а копии писем оставлял в своих «Аналах».

Листая «Анналы», я нашел бумажку, на котором значился адрес:

«Белорусская ССР, город Кричев, улица такая-то. Савелий Лишов». Письма шли туда. Потом адрес изменился. Появился Ленинград.

«...Ты вот осуждаешь меня за то, что не покинул я обитель скорби и насилия, так ведь это — по нужде. Тэ-бэ-цэ мой во мне, ты знаешь, угнезвился прочно и доктора в Северо-Дольске, где побывал я, так и сказали: “Здешний холод палочке Коха вреден, но легким вашим — одно спасение. Так что на юга ехать не советуем”. Оно, конечно, спрашиваю себя: А для чего жить, для кого? И кто я теперь? Чего ни коснись — кругом — б ы в ш и й. Но вот о чем подумалось: уйдем из мира сего мы, испытавшие тут в с е и в с я — и никогда мир не узнает, ч т о здесь было, на “Ветрянке”. Не узнает о том, что тут отбывали п о л о ж е н н о е несправедно и безвинно осужденные на безмерно долгие годы, потому что каждый день здесь был, как год... Без права переписки, полная изоляция... Заживо погребенные... Расчет был на то, что возврата отсюда нет. Ну да что тебе рассказывать — ты и сам все изведal: начальнички наши дело свое знали. Кроме одного — Курбанка. Он-то был — человек, ну и пострадал за это. А то, помнишь ли — Урядова? Был такой горный инженер, совсем молодой, год или два как из института. Такой, я бы сказал, п о ч т и интеллигентный, приятной внешности товарищ. И — не без одухотворенности. Не всем нам — но большинству нравился. С подчиненными, то есть с арестантским нашим сбродом — чрезвычайная по тогдашним нравам редкость! — мягок, обходителен. Слова скверного никому не скажет. А иногда, если это, конечно, не грозило неприятностями — даже и пачку махры или пайку хлеба мог исподтишка сунуть... Но ты, наверное, и помощника его помнишь — Ревенко? Шкура и мерзавец из бывших кулаков, осужденный за поджоги и бандитизм, отбывший с в о е и оставшийся на Севере по вольному найму. О таких говаривали: “социально-близкие”. Ну да, близкие, кто нами командовал. Помыкал... О каждом из нас этот Ревенко досконально знал — кто был в прошлом коммунист, а кто — нет. И уж с коммунистами у него разговор был особый. Серьезный разговор... Н о р м о ч - к у - т о он изо всех умел выжать, а уж из коммунистов — в наилучшем виде... И уж если прорычит: “Я вас научу, как Родину любить” — значит, жди от него подлейшей подлости... Посылал в такие выработки, где ни стоять, ни сидеть, только лежать на боку. Гибель! Мало ли нас там подпридавливало, пооставалось под землей... “Давай, давай!..” И давали. Моя-то харта морбус начинается с того, что бригада наша шесть часов простояла в ледяной воде, да еще близко от вентиляционного штрека, закрепляли выработку. Шкура-Ревенко не хотел ждать, пока откачают: дескать, планчик срывается... А вся бригада состояла из коммунистов. Не б ы в ш и х коммунистов... И интеллигентный горный инженер Урядов этому не воспротивился. Вот я и спрашиваю — к т о они, самые страшные люди на земле?.. Не палачи, нет.

Не открытые деспоты, нет, не убийцы по найму. Не демагоги, которые, рассыпая бисер словесных красот, в то же время отдают приказы об истреблении инакомыслящих. И даже — не предатели. Самые страшные, самые гнусные — это эгоисты! Равнодушные эгоисты, обыватели, которые сами никого пальцем не тронут, но будут молча взирать на то как пытаются, истязают доверенных им людей, на их муки. На то, как их уничтожают. Урядов — не из их ли числа был?..»

Тут запись обрывалась и следующая была датирована 18 февраля.

«...Тебе, Савелий, кажется, что я тут мохом обрастаю: поговорить, мол, поспорить не с кем, а собственная персона не всегда может составить интеллектуальное общество. Но я тебе разве не писал о том, что, кроме меня, остались на "Ветрянке" еще некоторые, кому не захотелось в "большой мир"?.. Викула тут подвизается. Про него не скажешь — бывший художник, — он и есть художник. Отработает свои восемь часов на благо общества, а в остальное время — сам себе командир. Берет ящик с красками и прочим снаряжением — и на террикон. Оттуда — во-он какой вид. Ставит мольберт и пишет. "Для кого, для чего?" — спрашиваю: "А для себя". Живем мы с ним под одной крышей, бывает, что заспорим о чем-нибудь, схватимся. И стычки наши, случается, горячие, злые — потому что разных мы с ним ц е р к в е й. Так что мнѣния — сшибаются смаху, сналету, ну, как камни, летящие с двух противоположащих гор. И вот от сшибок этих, от соударений — выскакивают искры раздражения, страсти, ума. Доказываем, оспариваем друг-друга — иной час и не выбираем выражений.

Тут как-то Викула, — он большой охотник до поэзии — принялся читать стихи. Автор их, поэтесса, вовсе не юных лет, прислала ему свою книгу из Ленинграда, тоже из тех, что **шилом меду хлебнули**, но главного в себе не растеряли. А слова там такие: "И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь, и так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть". Я ему говорю: "Что же тебе тут нравится? Дамская лирика". Возражает: "Почему — дамская? Талантливо, черт побери, искренне!" Ну, тут уж я завелся — так, что искры летят: "Как это возможно н и ч е г о не зачеркнуть в прошлом и начать всю жизнь, весь путь снова?.. Где, на какой планете водятся такие ангелы? Уж не мы ли с тобой?" — Но Викулу — не переспоришь. "Ты пойми, Иннокентий, кричит, строки эти — выстраданы! Неужели не ощущаешь — сколько в них мужества, боли человеческой!.. Писать об э т о м надо. Писать и писать! И не так еще, а похлеще, чтобы каждый, кто прочтет — в поту от этих строк просыпался. Чтобы понял, учуял чтобы — что это такое: семь кругов сталинского ада!" Да. Качель тут на меня накатил, не сразу я ответил, но как отдышался, сказал: "Писать, говоришь?.. А — для чего?.. Для чего и кому сейчас нужно, чтобы мы, перенесшие все это и оставшиеся

в живых, раскрывали, публиковали все пережитое?.. Нам?.. Писаное это — нешто вернет народу казненных, убитых, замученных?.. Кто вернет ему расстрелянные годы, веру в будущее, обгаженную высокопоставленными подонками?.. Писать, говоришь?.. Для мертвых все это — бесполезно. Не нужно. А молодым — что даст? Что, кроме горечи, еще большего разочарования, раздражения. Нигилизма. Зачем отравлять им жизнь? Не знают они нашей боли, нашей прошлой жизни. Не поймут — ни нас с тобой, ни того, что было. Нет, нет, не поймут! Да, может, и не поверят. Они — наследники наши. А какое наследство мы им оставляем?.. Ну, да, скажешь — заводы, совхозы, города, электростанции, но все это — в е щ и. А люди?.. А души этих людей? Боль обманутых? Разочарование, уже ничего не ждущих, не ищущих? Равнодушие охамевших?.. Чтобы поверили: культа Сталина воистину нет больше — нужно уничтожить дух, оставшийся после покойника, убрать с дороги всех “культят”, все это проклятое, гнилое наследие и поставить в с ю жизнь на истинно демократические рельсы! Мы, те, которых уже нет, — были мостом, по которому новое поколение должно было идти в будущее. А моста — нет. Его сожгли. Строить его надо заново. Кто нынче его строит и построит? Кто возродит революционные традиции? вспомнить о былом, --- не о дрянном, а о самом высоком! И по этому мосту — назад к Ленину. Да, да — потому что назад к Ильичу — это и будет вперед, в грядущее!»

Здесь, в этом письме, был как бы конец его, но ниже, под другой датой, неделю спустя Иннокентий Аникеевич продолжал ту же тему, только на этот раз он решил диалог свой с Викулой изобразить в форме не столь эпистолярной, сколь литературной.

«... Извини, прервал эту свою эпистолу на полдороге. Разволновался, припомнивая наш спор с Викулой. А дальше было так: стал он меня оглаживать. Сказал миролюбиво:

— Ты — спокойней. Раздражаться-то тебе — нельзя. — Подождал, может я его прерву. Я молчал. — У нас ведь знаешь как: сидят р ы д а к т о р ы и думают, — что ежели о н о е припустить, то не возблагодарят ли за это соленой лозой по мягкому месту, а заодно и по партбилету?.. Потому как — напубликуешь, а в некоем “Нью-Йорк Таймсе” и же с ним — причепятся, и-и пошла писать губерния! Так что же — глядеть, значит, на этих р ы д а к т о р о в с душой динозавра и храбростью зайца и помалкивать?

— А-ах, — верь, в этот момент я прямо-таки ненавидел Викулу, — да ведь есть же, есть же в этом свой смысл, в том, чтобы не забывать покуда. Не овцы мы с тобой, не бараны — люди. У людей — все не просто, а сложно, трудно. По-другому-то — без борьбы — не выйдет...

Вот такой у нас вышел спор-разговор. И, пожалуй, он-то меня и убедил, что во многом Викула прав: молчать — преступление. Ты-то сам как полагаешь на этот счет?..»

САВЕЛИЙ ЛИШОВ

В ту же самую книгу, в которой, под заголовком «АННАЛЫ», шли дневниковые записи Иннокентия Крутоярского, были вписаны и копии (а может быть — оригиналы) его писем к Савелию Лишову. Но и письма этого человека, шедшие на «Ветрянку» — тоже находили себе место на обороте страниц, испещренных цифрами и техническими словечками. А часть их лежала отдельной пачкой.

Их, как и писем Крутоярского, было немало. Короткие, немногословные, они извещали о житье-бытие Лишова в небольшом белорусском городе Кричеве, а затем — в Ленинграде, куда он перебрался, чтобы быть поближе к детям, давно уже ставшим взрослыми и имевшим свои семьи. Но вот в одном из писем ленинградских Савелий поведал своему другу, что обо всем, что было им испытано в «тридцать седьмые годы», он решил написать подробные воспоминания, и что в этом смысле он вполне согласен с Викулой, а теперь и с Крутоярским: «Молчать — преступление». Чтобы не выглядеть человеком, который из пережитого пытается сделать себе рекламу, он воспоминация эти облакает в литературную форму, в книгу, где о себе самом расскажет в третьем, а не в первом лице.

И потом уже шли на «Ветрянку» не столько письма, сколько главы из будущей книги. Чаще всего это были диалоги между Лишовым (а в книге — с Савелием Савельевым) и его сестрой, которая тоже в свое время пострадала, или же с ее сыном, молодым инженером, Леней.

.. «24 мая 1956 года.

Главы я тебе, Иннокентий, посылаю не все, а только некоторые разговоры мои с Машей и еще кое-что — с племянником. Дается мне это творение тяжко. Вспоминать о былом, иной раз — как снова все пережить. Донимает меня сердце. Одним инфарктом меня уже стукнуло. Переборол, но приступы бывают, сестра требует, чтобы я бросил это занятие, боится за меня, пока, говорит, напишешь... Ну да, ладно. Я ей толкую, что ничего, ни одной буквы не понадобится придумать, сочинять. Все это — было. А теперь — читай...»

«— Да что было-то? Что? Ни за что тебя схватили, ни за что посадили, ни за что продержали столько лет... Всю жизнь поломали! — Голос Машин дрогнул. Пресекся.

— Ну как это — ни за что?... Значит — мешал кому-то. Да, впрочем — не кому-то, а темным силам. Врагам нашим. О них — должно сказать. Должно, чтобы люди, народ — знали!

— Да ты тише, тише ты! — вдруг всполошилась она и заговорила шепотом. — Ещё услышит кто...

— А вот и ладно. И хорошо. Пусть слышат. Да ты — чего боишься? Эх, Маша, Маша — глубоко же загнали в нас этот страх, никак не

выгоним, не выживем его! Время-то уж другое. Нынешний год — как век. Или забыла?

— Верно, Савушка, верно... — шмыгнула носом. Высморкалась. — Раньше когда-то, помнишь, в молодые наши годы — к а к говорили о чекистах: железный мол, страж революции. Дзержинский, Менжинский... Верили в них, как в себя. И мысли не было, чтобы могли невинного покарать, а тут вот...

— Что т у т?.. Да разве тридцать седьмой год чистыми руками содсян?.. Разве хоть один честный чекист повинен в том, что тогда творилось?.. Всех, кто был честен, принципиален, — из этих органов убрали. Уничтожили. А на их место пришли в НКВД подонки, беспринципные тупые карьеристы. Это были ягдовцы, ежовцы, бериевцы. Они действовали просто: “Чего изволите-с?” Вот ты — учительница, — со стесненным дыханием и чувствуя, как его одолевает одышка, говорил Савельев, — тебе бы в школе трудиться, ребят воспитывать, а ты вот... Ладно, об этом не буду. Ты же знаешь — я был военным прокурором. Под моим началом находилась вся Западная Сибирь: Красноярский и Алтайский край, области Омская и Новосибирская. Помнишь, наверное, еще до этого, в тридцать пятом году, я был назначен военным прокурором пограничных и внутренних войск Калининской области? Помнишь?.. Так вот уже там, начиная со следующего, тридцать шестого года — я увидел то, о чем говорю тебе. Послушай...»

До племянника Лени, случайно оказавшегося в соседней комнате, донесся шорох листаемых страниц. Дядя что-то искал в рукописи.

«В том, тысяча девятьсот тридцать седьмом году в стране повеяло большой тревогой. С каждым днем атмосфера в стране сгущалась. Всеобщая подозрительность, как ядовитый туман, обволакивала собой людей, их взаимоотношения, их разум и чувства. Все. Эта отвратительная атмосфера породила собой целую армию клеветников и провокаторов. Словно поднялась со дна общества вся муть, все его подонки. Они действовали нагло и безнаказанно, открыто и беспрепятственно. Это привело к страшным последствиям. Люди в то время начали бояться собственной тени. Не только близкие друзья, даже родственники перестали верить друг-другу, общаться меж собой...»

— Так ведь, Савушка...

— Погоди, погоди, не прерывай!.. «Любой донос, любая грязная анонимка были! достаточно для того, чтобы человека схватили, арестовали и осудили. Происходило что-то непонятное: страх обуял и парализовал — не скажу всех, но большинство людей. Даже таких, которые раньше жизнью своей рисковали, борясь за дело революции. Нередко, чтобы избавиться от этого гнетущего страха, вполне порядочные, честные в прошлом граждане писали доносы. Это доносительство приняло непостижимо огромные размеры».

— Незачем ты это мне...

— Молчи, молчи... «Тысячи коммунистов и комсомольцев, на протяжении многих лет боровшихся с оппозицией за генеральную линию партии, были брошены в тюрьму как “троцкисты”. Что же касается ярлыка “враг народа” — то его приклеивали всем, кто был подвергнут аресту. Исключений не делалось, и первыми жертвами...»

— Но, ведь, все это мы...

— «И первыми жертвами, — повышая голос и перекрывая голос сестры, читал Савельев, — оказались именно чекисты: те, кто отказывался творить беззаконие. Кто сопротивлялся этому. Я назову некоторых...» — Он остановился, словно перед прыжком, а когда снова заговорил, голос его стал глуше, придавленной. — «Я расскажу о Домбровском. Этот человек родился в Сибири, в семье ссыльных революционеров. Я мог бы рассказывать о нем бесконечно, а будь по-этом — написал поэму. Но лучше — кратко. Лучше, как в анкете. Окончил Юрьевский университет и одновременно музыкальную школу. Дружил с Шостаковичем и Тухачевским. Его влекли искусство и война, две, казалось бы, несовместимые вещи... Незадолго до конца Первой мировой войны он был мобилизован и направлен в школу прапорщиков, в Ташкент. Но уже в следующем, семнадцатом году Домбровский примкнул к Красной Армии, участвовал в подавлении контрреволюционных восстаний. Вместе с большевиками захватывал в Средней Азии власть и сам стал большевиком. Председатель Туркестанского ревкома Куйбышев поручил Домбровскому возглавить Туркестанскую ЧЕКА. С того часа он — чекист. Он был везде на своем месте — куда бы ни посылала его партия: в Карелии, в Петрограде, в должности начальника управления пограничных и внутренних войск Северо-Запада; как полномочный представитель ОГПУ в Иваново-Вознесенске. Наконец — начальник НКВД в Калининне... Это был добрый, умный, высокой культуры человек. Никогда не принимал он непродуманных решений. А сколько раз своей властью прекращал дела, когда видел, что в основе их лежат не преступления, а донос, клевета, карьеризм! В тридцать седьмом Домбровский арестовали и расстреляли...»

— А-ах ты, боже мой!

«А Митрофан Слонимский?.. Прошел всю гражданскую войну. От Витебска до Тихого океана. Ликвидировал белые банды на Дальнем Востоке. Первый начальник погранохраны на берегах Тихого океана. Коммунист с семнадцатого года. И его я знал. Это был сдержанный, скромный и в то же время общительный, жизнерадостный человек. Что с ним сделали, спроси-ка? В сентябре тридцать седьмого — арестовали и расстреляли. Сорок семь лет ему было. А жена его, Анна Степановна, была отправлена в отдаленные лагеря. Как же: “восхваляла в камере песенки Вертинского”!

Леня сидел недвижно, не шевелясь, хотя от такой позы уже затека-

ло тело. Становилось неловко. Больно. Но он тут же забыл об этом, как только пз-за закрытой двери снова донесся знакомый голос и слышался лихорадочный шелест страниц.

— Ты, Маша, имя Кингисеппа слышала. Виктора Кингисеппа — вождя эстонской революции?.. Город этим именем назван в Ленинградской области, бывший Ямбург. Сын Кингисеппа — Сергей, молодой чекист, работал вместе с Домбровским... Расстрелян в том же тридцать седьмом...»

Савельев всхлипнул. Закашлялся. Звякнуло стекло. Сестра его, Маша, — неожиданно спокойная, точно отрезвевшая, отошедшая от боли, испуганности, задавленности, сказала твердо:

— Выпей, выпей... И говори, говори, что хочешь — говори! Ах, надо это, надо — сама теперь вижу — надо, товарищ Савелий Савельев!

— Ничего, ничего. Прошло уже. — Савелий глубоко вздохнул. — Вот каких чекистов уничтожили. А те, что были потом — бериевщина, бериевцы, абакумовцы, разве их назовешь чекистами?..

— Так что же, неужто они и теперь...

В первый раз за все эти минуты Леня услышал короткий нервный смехок дяди. Иронический.

— Сказала!

Вдруг Леня резко встал, сильно толкнул дверь, втолкнул и себя-в проем и отрывисто бросил:

— Прости... Я тут... случайно... Но почему ты не арестовал, не судил?

— Что?

— Тех, кто незаконно? Ты мог, ты был обязан, ты — как прокурор? Подлость все это, подлость! — У него вдруг задрожали губы.

— Ну да... — Савельев качнул рано полысевшей головой. Морщины на лбу еще больше углубились. — Гнать мерзавцев, уничтожать, как положено советским законом. Так ведь? Да не на нашей стороне сила была тогда.

— На чьей это — в а ш е й?

Савелий приподнял уголки рта, но получилась не улыбка, а скорбная складка, как бы разделившая лицо надвое. Застыла так вот.

— Не на стороне закона. Социалистического закона. Если бы не знал сам, не испытал всего на себе, может, сказал, как ты говоришь, дескать, одно только беззаконие было. Не так это, племянник, не так... Ну — про Домбровского, Кингисеппа, Слонимского ты уже услышал ненароком. А сколько их было таких — знаешь ли?.. Были и другие бойцы, грудью вставшие на защиту закона, не один, не два — сотни, может. Стояли насмерть, как в гражданскую войну, когда с белогвардейщиной дрались. Твоя ли это вина — что и ты, и весь народ до сих пор не знает о них?

Он умолк, словно колебался — продолжать ли.

Над городом плыли в знойном мареве летние бегучие облачка. У края круглого сквера носились вперегонки мальчишки. Вспархивали и вновь садились на песок голуби. Поваркивали... И казалось, что в этом ярком солнечном свете всякое слово печали, скорби, страдания будет звучать одиноко. Ненужно. Чуждо.

— Погоди-ка... — позвал Савелий. Как точку поставил на каком-то своем сомнении. — Все равно когда-нибудь узнаешь... — Он достал из стола картонную коробку, выложил и разложил фотографии.

С одной из них глядел на Леню человек в армейской фуражке, слегка примятой на тулье, в военном кителе тридцатых годов, с петлицами, на которых виднелись четыре ромба. Как видно, снимали его, когда он и не подозревал об этом. Разговаривал, может быть, с кем-то, чуть сощуриль жизнерадостные глаза, улыбка залегла в углах добродушных губ. Улыбка и внимание. На обороте снимка написано карандашом: «Домбровский».

Он увидел и Слонимского — худощавое лицо, волосы ежиком. Ушедший в себя взгляд. Тонкая шея. А вот этот — ненамного старше возрастом, чем Лень. Почти юноша. Светлые брови вразлет, чуть вздернутый нос. Тяжеловатый высокий лоб и прядка, свисающая справа. Сергей Кингисепп.

— Говорили на последнем партийном съезде памятник поставить тем, кто стал жертвами фашизма н а и з н а н к у, — говорил Савельев, перебирая фотографии, — да что-то не слышно об этом. Дожили ли?.. видно, нужно кому-то, чтобы забыл народ, все забыл, и старые, и молодые — что было в те тяжелые годы. Но — не забудется! Еще придет время — музеи откроют, в которых такие вот фотографии висеть будут. А под фотографиями ты и сверстники твои, и дети ваши прочтут, например: «Дзервит Юлиус Андреевич — военный прокурор Главной военной прокуратуры. Боролся за наш ленинский закон. До конца сохранил чистоту партийной совести. Стал жертвой произвола в тысяча девятьсот тридцать восьмом году».

Голос Савельева стал монотонным, бескрасочным, точно сам человек глушил, тушил в себе живое, глушил нарочно. И беспощадно. Иначе — смерть.

— А вот этот — Кузнецов, член партии с девятьсот четвертого. Военный прокурор Ленинградского военного округа. Такие, как он — революцию на себе вывозили. Не для себя жил... До Октября — в подполье, по царским тюрьмам, по ссылкам... В тридцать проклятом году — опять стал арестантом. Записано у него в деле: «Признает себя виновным в контрреволюционной деятельности, состоявшей в том, что в тысяча девятьсот четвертом году вступил в РСДРП исключительно с целью взорвать партию изнутри...»

Что-то странное творилось с Савелием Савельевым. С его лица медленно, почти незаметно сходил, сходил румянец. Оно бледнело,

становилось суше, строже. Суровой. Подрагивали кончики пальцев в коротеньких седоватых ворсинках.

— ...Не стал Кузнецов пособником в черных делах бериевских и ежовских подонков. Стал их жертвой... — Будто тасуя карты, вытаскивал из этой страшной мученической колоды ее тузов, королей и валетов и клал перед Леней. — Коля... Николай Николаевич Гомеров. Товарищ мой. Вместе работали в Главной военной прокуратуре. Коммунист. Расстрелян в тридцать восьмом. А об этом человеке в учебниках литературы можно было прочитать...

Молодое, правильных очертаний, лицо еврейского типа задумчиво. Сосредоточенно. В нем живет мысль и только мысль: крылатая, свободная, большая. На военной гимнастерке, перечеркнутой портупеей, на ее петлицах поблескивают знаки различия, обозначающие высокое звание.

— ...Восемнадцать лет ему было, когда вступил в партию. В феврале девятнадцатого ушел в Красную Армию. Участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Журналист и писатель. Первые камни в Союз советских писателей закладывал.

— Кто же это?

— Субоцкий, Лев Матвеевич. Был в те годы заместителем Главного военного прокурора ССРСР. Тоже лег на пути беззакония. Арестован и уничтожен...

— Не надо. Не хочу. Хватит. — Леня отвернулся. Отошел к окну. Его познабливало. Голова горела. Ему казалось, что жить после всего, что он только что и вообще сегодня узнал — не стоит. Зачем его учили в школе — честности, гражданской совести, любви к Родине, уважению к партии, если вот так оно?.. — Непроизвольно он произнес это слово: — Зачем?

— Что — зачем?

Савельев собирал фотографии. Иногда задерживал взгляд на какой-то, будто видел не бумагу, а живого человека. И не было во взгляде ничего, кроме боли.

— Зачем нам лгали? — испуленно прошептал Леня. — Про партию лгали, про ленинский завет, про все, про все! Зачем?..

Дядя убрал коробку. Закрыв ящик на ключ. Вместо ответа племяннику спросил сам — испытующе, требовательно:

— Мимо ушей, что ли пролетело то, что я тебе об этих людях сказал?

— Н-нет... .

— Все они — чекисты, следователи, прокуроры — принявшие муку: заключение, собственную гибель, ставшие жертвами произвола, потому что не захотели сами чинить его, восставшие против него. Э-эх, молодые, молодые такие как ты — не телом — умом! Незрелы, черт побери!

— Так ведь — сколько их было?..

— Сколько?.. Много. Очень много: и за решеткой, и на воле. И тому, кто скажет тебе, что в сталинские времена народ был, как покорное быдло — плюнь в лицо! Ни тебе, ни мне — нет жизни без этой страны, без этого народа. Думай, ищи, размышляй, сомневайся, находи, но в народ — верь всегда. Как матери веришь.

Леня больше не спорил. Он чувствовал в словах дяди, в том, к а к они были сказаны, и силу, и правоту его. Но какая-то мальчишеская гордость, противоречивость, даже заносчивость какая-то — не позволяли согласиться с ними, признать их правоту. Молчал.

Единственное, о чем потом жалел: почему не спросил дядю — за что и почему сам-то он попал за решетку. Но уже догадывался, что тот, будучи в прошлом военным прокурором, находился в ряду с теми, кто защищал закон, истину. Справедливость».

АРКАДИЙ ГОРЧАВЦЕВ

В тот самый день, когда я, будучи на «Ветрянке», спускался вместе с Курбанком в заброшенные выработки шахты и также, потом, стоял возле забытых и покинутых арестантских могил на кладбище, с нами и туда, и сюда ходил завхоз Горчавцев. Худой, высохший какой-то, одетый кое-как, был он, похоже, из той же категории, что не подоброму попала на Север, да так тут и застрял. Я спросил о нем у Курбанка, но ответа не получил.

— Знал я его малость по Северо-Дальску. Да ты сам с ним потолкуй, писатель. Не пожалеешь.

Это было утром, а в середине дня я увязался за Курбанком. Он пошел проверять, как идут работы на прокладке коллектора-водосборника для отвода грунтовых вод. Стояла та холодноватая тихая теплынь, какая бывает только на севере весной. С неба подогревало солнце, а от земли, не отошедшей еще после зимы, еще не успевшей расстаться со сникшим лежалым снегом — тянуло прежней стынью.

Подошел Горчавцев, он спросил о чем-то у Курбанка, но тот, рассеянно взглядываясь в покатую плоскость, что тянулась поодаль и где располагалось кладбище, сказал вдруг о другом:

— В сущности, — он повел рукой, — надо бы все это привести в порядок. Люди, все-таки...

Горчавцев обнажил в скептической улыбке бледные десны. Покачал сухонькой тощей головой.

— Вот именно, Георгий Дормидонтыч, — в с е т а к и...

Курбанок нахмурился. Видно, уловил в тоне Горчавцева неприкрытый упрек. И осуждение. С неожиданной резкостью спросил:

— Вы ведь, кажется, давно в партии?

— Давненько: за тридцать пять лет — ручаюсь. А что?

— Так вот вы, вы, ветеран партии, скажите другое: как это мы, партийные, вообще — народ — во все это верили?

— Ну, насчет того, чтобы верить — не знаю, — неохотно ответил Горчавцев. — Видели, небось, обман, чуяли, хотя и не все... А другим-то он и на руку был. Полезла всякая дрянь наверх — дураки, подлецы и подлечишки, плотва всякая. Мелочью и сейчас осталась, а зубы — щучьи вырастили.

— Так я и говорю — т е р п е л и.

— Терпели — это верно. А ради чего?.. Если бы знали, думали, что сей вождь ради самого себя это делает — разве терпели бы? А то ведь — все для большого, самого главного дела. Для Родины. Для социализма...

— Сколько тут, на «Ветрянке» сидело людей по обвинению в заговорах, терроре — статья пятьдесят восьмая, пункт восемь! Неужели и впрямь собирались его уничтожить? — вслух подумал Курбанок.

Горчавцев посмотрел на него, поджав губы, как будто сомневался — стоит ли продолжать этот разговор. Неопределенно повел руками:

— Не знаю уж, — были против Сталина заговоры или восстания, не слышал... — Вдруг оживился: — Другое было. Спросите — что? А вот так: шел народ на лишения, на непосильный труд, на жертвы — чтобы только построить то, что задумала, наметила партия. Да — партия. Потому как: что бы и как бы о партии ни врали, а всегда в ней были, оставались люди, до конца преданные Ленину... Ну — в чем-то он помогал, шел вместе с народом и тогда народ был вместе с ним. А в том, где он поперек народу становился — кто был вместе с ним? Кто ему помогал, кроме всякой мрази?.. Народ, он свое дело делал: чугуны лил, дороги строил, книги писал, науку подымал. Одолевал то, что ему мешало. И делал. Вот какая, мне кажется, была борьба.

Я заметил, что Курбанок в этот раз с какою-то необычной острой приглядывается к Горчавцеву, — вот человек, у которого произвол и несправедливость отняли здоровье и многие годы свободы, лишили семьи. Но — не озлобился, не утратил привязанности и любви к народу, убежденности в том, что он, Горчавцев, в любом случае, до последнего дыхания, этому народу нужен и обязан служить ему.

А Горчавцев продолжал говорить. О том, что после Двадцатого съезда прошел уже не один год и что хотя почти совсем перестали в газетах писать о последствиях культа личности Сталина, но разговоры о том, что было тогда, о том, что еще осталось от тогдашнего — не утихают в народе. Говорят об этом. Не мало, не редко говорят. И поразному судят. Как бы жизнь ни оборачивалась, а жажда истины в народе по-прежнему сильна. Приглушить ее можно, утолить — никогда.

— Это вы правы, Аркадий Макарыч, — в раздумьи произнес Курбанок. — Так оно, наверное, и было. Эх, ежели бы не помехи эти все — сколько бы еще сделали! Ведь и то сказать, несмотря на то, что повыбил он тьму народу — далеко шагнули!

Горчавцев вздохнул, достал из кармана кисет, извлек оттуда мелко нарезанную бумагу, скрутил папироску из табака, очевидно, заранее накрошенного из сигарет. Сунул в рот и, забыв зажечь спичку, спросил:

— Шагнули, говорите? И — далеко?.. А им — профессорам и военным командирам, писателям и студентам, инженерам и учителям — какая была нужда долбать грунт четвертой категории, валить лес, рубать уголь и подыхать от цинги и дистрофии?.. На их-то место и а в о л е — к т о пришел?..

— Странно вы рассуждаете, — несогласно махнул рукой Курбанок, — пришел вчерашний шахтер, землекоп, рабочая интеллигенция!

— Кабы так-то! Кабы — вчерашний! А ежели он и на другом-то месте — все тот же землекоп по кругозору, по развитию? Тогда — каково?.. И не потому, что глуп или учиться не хотел. У кого ему было учиться, коли подчистую загребали тех, кто мог, кто должен был учить?.. У кого ему перенимать традиции, интеллект, умение? У кого?.. Конечно, время прошло и он образовался, вырос, но сколько за это время дров наломал!

В его словах уловил Курбанок как будто и то же, что уж не раз слышал от разных людей насчет сожженного м о с т а, но, в то же время и не то. Что-то обидное, даже оскорбительное и для самого себя, и для Горчавцева, — для любого человека, к которому обращался со словом «товарищ».

Видимо, сдерживая желание вспылить, отрезал:

— Ну, это вы зря! Народ — есть народ. У народа — какой он ни на есть — всегда поучиться можно... Это в вас старая обида журчит... Тут одно надо понять: хоть и е г о именем, и под его высочайшим руководством — но делали-то все это, строили, создавали — мы. Понимаете ли это — м ы!.. А теперь плюем разве только на н е г о?.. Нет, и на себя, на все, что м ы сделали. Э-эх, срамотища! Это ж надо совсем не иметь гордости, чтобы вот так-то...

— Так что ж, по-вашему — пирамиду е м у соорудить за все, что он натворил?

— Не пирамиду. Нет. А умно разделить то, что сделал он полезно и за что народ может благодарить, от того, что сотворил грязного, гнусного. И воздать ему то, чего и заслужил. Без истерики.

— Я бы ему воздал! — У Горчавцева напряглись и точно окаменели мускулы лица.

— Что же его — из могилы, что ли выкопать, как Муссолини, и головой вниз повесить? — как бы сожалея о ребячем непонимании

Аркадьем Макарычем самых простых вещей, спросил Курбанок, досадливо двинул костлявым подбородком.

— Э-э, да не считайте вы меня, Георгий Дормидонтыч, таким кретином! Не о том я! — с необычной страстностью выдохнул вдруг Горчавцев. Подергивая плечами, жестикулируя, заговорил возбужденно: — Я на «Ветрянке» не бывал, когда тут лагерь был, отбывал за Хальмер-Ю, сами знаете, где это. Сидели там же солдаты наши, попавшие в плен к немцам, бежавшие из Дахау и опять брошенные за колючку — где? А у нас, как изменники Родине?.. Так это — как?.. Что они говорили?.. В Дахау ждала их верная смерть, а здесь не было ни печей, ни газа, и пайку каждый день давали, и приварок. И все-таки тут было в тысячу раз тяжелей. А почему?.. Потому что там они были фашистам настоящими врагами и фашисты были им настоящие враги. А тут — как они могли считать себя врагами Родины, за которую дрались и умирали?..

— Вы что же, Аркадий Макарыч, агитировать меня вздумали? — грустно спросил Курбанок. — Я ведь одного хочу: чтобы человек везде оставался человеком. Над мертвым что ж измываться?.. Это лишь гниды, последние трупы, на которых только и хочется что харкнуть, мертвых кланут и на могилах у них пляшут! Где они были, когда он, ж и в о й, расстреливал, ссылал, сажал в тюрьмы?.. Молчали? Держались за штаны, а нынче на критике культа личности капиталец норвят сколотить?

Аркадий Макарыч не отвечал. Опустив голову, сумрачно чиркал и гасил одну спичку, другую, третью... Закурив, дохнул дымом. Сказал с горькой рассудительностью:

— Им-то, — кивнул в сторону кладбища, — им-то ведь все равно теперь: что пестом, что крестом... Кого приговором, кого наговором, а упокоили до времени и — конец!

Дальше разговор не вязался. Мы постояли молча и разошлись. Курбанок заспешил в наспах устроенную слесарку, Горчавцев и я медленно пошагали рядом в сторону жилых барачков.

— А вы, если время будет — заглядывайте ко мне, — пригласил он. — Разносолами не богат, а клюквой тундровой жена вас попотчевает.

... Вечера у меня были отданы Курбанку, беседами с ним. К завхозу просыпающейся шахты я заглянул около пяти часов. Он уже вернулся к себе. Жена его — пожилая женщина, слегка огруженная по причине немолодого возраста, но с лицом все еще моложавым, добрым, как видно, уже знала о моем визите. На столе, покрытом бахромчатой скатертью, дымил парком чайник, только-только снятый с плиты. Светила крупнолинейная керосиновая лампа (электричеством здесь были еще не богаты, только начали устанавливать движок).

Гости, вроде меня, тут в диковинную редкость, но дело не столько в этом, как в том, что было с кем поговорить, выговорить то, что давно

уже из глубины просится на поверхность, да вот как-то все не случилось в ы д а т ь на-гора из недр души бывшее, а оно ведь как томит человека, если все в себе, в себе?..

Так вот я и узнал что-то об Аркадии Горчаеве, бывшем скульпторе, в прежнее время хорошо известном.

— Да, выставлялся, и не раз, что в Москве, что в Ленинграде, и за границей меня показывали, и бывал там, да вот это мне во зло и поставили: замышлял, дескать, под видом творческих связей дать доступ в СССР враждебным элементам... — Он тихо рассмеялся, но так, точно смеялся над самим собой. — В тридцать седьмом дали мне полную катушку. Я и пробыл все десять на шахтах Северо-Дальска, ну, а когда выпихнули на так называемую свободу — не захотел больше возвращаться в Москву. Зачем? Что там делать? Опять искусство?.. Э-э, и глаз не тот, и руки трясутся: отбойный молоток да обушок вещицы не столь уж легкоперые, не шпатель, сами понимаете...

Он поселился в Северо-Дальске. Поступил в местный горкомхоз. Занимался благоустройством. А вскоре, поняв, что жена и дочь предпочитают оставаться там, где и были, в одном из подмосковных городов, куда забросила их судьба после войны, — сошелся с одной из бывших товарок по несчастью, простой, но очень грамотной, но сердечной заботливой женщиной, работавшей поваром. Перебрался на «Ветрянку».

Я слушал его, его подругу, двух русских людей, так же как тысячи и тысячи других людей, схваченных когда-то, безвинно осужденных и брошенных в эту глухую даль на многие годы, перенесших в с е и вновь возвратившихся не столько к жизни, сколько — в жизнь, и такое ощущение было, точно я раздваивался: слушал их рассказ о себе, о их бытие на Севере, а в то же время каким-то внутренним прозрением понимал, чувствовал — как больно, как невероятно больно и трудно им, даже мыслями, возвращаться к минувшему, к былому, оставшемуся т а м, за чертой того черного дня, от которого началось другое.

Быть может, — нет, не «быть может», а именно так, **навверняка**, все они — в глубоких ли шахтах, в тундре или в тайге, на лесоповале, строя ли в болотах эту железную гать, — все они мечтали ночами о том дне, когда вернутся к с е б е, к близким, к любимому труду.

А возвращения этого — пусть не для всех, но для многих и многих — быть уже не могло. Никто из них, даже не став развалиной физически, не мог, н и к о г д а уже не мог стать тем, каким помнил себя раньше, н а в о л е.

Все вокруг менялось. Неостановимо двигалось время. Вперед. И жизнь. И люди. Старились их жены или мужья. Вырастали, выросли дети, умирали друзья. Уходили, отживали старые и приходили на смену новые незнакомые понятия, суждения, представления. И сами эти люди, отринутые прочь — тоже менялись.

Возврата к себе — не было. И где бы потом, после того как на изработанные руки ложился, словно сбывшийся сон, обыкновенный серпастый и молоткастый паспорт, — где бы потом ни оказывались они: здесь ли на Севере или где-нибудь в теплых краях — только один выбор могли сделать: либо доживать остаток лет, либо — жить, как живется. Но — жить.

И он, Аркадий Горчавцев — ж и л.

Он жил и тогда, когда фигурировал в арестантских табелях как рабочая единица, как п а л о ч к а — против которой ставили сменную выработку: столько-то тонн угля; когда существовал как п а л о ч к а — против которой отмечали его заработок — заработок арестанта; когда числился как п а л о ч к а — против которой указывали категорию довольствия, «котел номер такой-то» и п а й к у — столько-то граммов, скудных граммов хлеба, крупы, соли...

Нет, он никогда не принадлежал к тем немногим, которые озлобленно брюзжали: «Н а н и х (то есть на советскую власть...) мы работать не будем!» И отлынивали. И старались получить пайку д у р о м.

Не относил себя и к тем, кто в удушающем гневе своем говорили о себе: «А мы — настоящая контра! Ну и что?..» Не был и с теми, с кого тут, за решеткой, за колючей проволокой сразу же слетала партийно-мундирная позолота, а под нею обнаруживались голые короли — первосортная обывательская дрянь.

Для бывшего художника Аркадия Горчавцева понятия «они» — не было. Не существовало. Он и здесь — на дальнем Севере в неволе — не отрывал себя от народа, от всего, чем жил раньше. Он любил труд — не ради самого труда, а ради его смысла, — труд любого рода, и не мог увизиться до того, чтобы человеческое созидующее деяние превращать в нечто серое, фальшивое. Бесплезное.

И ОПЯТЬ САВЕЛИЙ ЛИШОВ...

Изредка от Курбанка приходили письма. Писал о том, как на «Ветрянке» разворачиваются строительные работы, о народе, что прибывает по восстановленной ж е л е з к е. Были и такие строки: «А ежели бумаги, что я оставил, интересны тебе для дела и надумаешь что-нибудь писать, так, может, и с самим Савелием Лишовым потолкуешь, про которого, небось, прочитал уже?.. Адрес — прилагаю. Если разыщешь, привет от меня, он меня, чаю, помнит...»

Савелия Михайловича Лишова я дома не застал, сестра его сказала, что он в больнице, и если хочу с ним повидаться, то впускной

день — воскресенье. Но в воскресенье я бы не смог, зашел в обычный день, попросил разрешения и меня провели на «кардиологию».

Из палаты в широкий коридор вышел навстречу невысокий мужчина в больничной пижаме. Бледность лица контрастировала с темным, но уже с проседью полукружием, окаймлявшем затылок. Я представился, Лишов улыбнулся, закивал:

— А-а, знаю ваше имя, кое-что читал. Зачем это я вам понадобился? Если интервью брать, так ведь я дорого беру! — Улыбка сделалась лукавой. — Пройдем вон туда. — Вправо от коридора располагался небольшой холл. Мы присели на диване возле окна. Савелий Михайлович произнес одышливо: — Вечный двигатель мой барахлить что-то стал, — прикоснулся пальцем к груди. — И выходит, что он не вечный...

Я коротко рассказал ему о моей поездке на «Ветрянку», о том, что Курбанок велел ему кланяться и что передал мне некоторые бумаги, оставшиеся после Иннокентия Аникеевича Крутоярского.

— Там и переписка ваша с ним. Вы уж простите, что я оказался невольным ее читателем.

— Значит, он это наследство вам передал... Ну да, писателю такое почему бы и не знать?.. Правильно сделал. Скоро уже два года, как Иннокентия не стало. Убили.

— Убили?

— Именно так. С тридцать седьмого года та пуля летела. Долетела. — Он сжал челюсти. Полуприкрыл сухие горящие глаза. — А там, в бумагах этих, его письма в ЦК нет?

— В ЦК?.. Что-то не видел. Важное письмо?

— Пожалуй, что и да. Значит, не оставил себе копии, кроме той, что мне прислал. Я дня через три выписываюсь — заходите-ка вы ко мне, я вам покажу. А бумаги, что вам прислал Курбанок...

— Принесу и оставлю у вас, Савелий Михайлович. В а ш е это.

— Как хотите... Впрочем, для книги, которую пишу — сгодится, может быть.

Мы посидели еще немного, потом за Лишовым пришла медсестра, позвала на процедуру, я ушел, условившись о встрече.

Спустя несколько дней я сидел на квартире, где он жил вместе с сестрой и племянником. На тихой улице за Московскими воротами шумели высокие тополя, отгороженные от проезда густыми кустами шиповника. Солнце играло в прятки с лиловатыми тучками.

Савелий Михайлович полулежал в покойном глубоком кресле, перебирал принесенные мной бумаги, но не вчитывался, не пробегал их даже и взглядом, а только медленно листал страницы и у меня возникло такое ощущение, что само это касание доставляло ему печальную радость. Он стал рассказывать о Крутоярском.

— Мы с ним столько лет в одной упряжке ходили... Он спал в

бараке на нижних нарах, а я на верхних. Колхоз у нас был. Ну, то есть все, что получали на кухне или в каптерке, все по-братски, по-честному делили. Питались вместе. Это и называлось у з е к о в «колхозом»... Но то, что связывало нас в годы заключения — не имело никакого отношения к быту, тяжкому нашему лагерному быту. Мы были братья по духу, по идеям, и не подумайте, что это громкие слова — духу ленинцев, коммунистов. Даже в самые худшие времена ничто не могло из нас вышибить уважения к народу, любви к нему и к партии, которой отдали большую часть своей жизни.

Вошла его сестра, совсем седая высокая женщина. Она часто шурила глаза точно от яркого света. И губы складывались в легкую усмешку, точно она не могла решить — удивляться, радоваться или грустить по поводу того, что услышала. Мы познакомились.

— Называйте меня просто Маша. Без отчества. Да, так вот и называйте. — Спросила: — Что тебе, Савушка, чаю или сока? А мы с товарищем кофеем побалуемся.

Брат попросил ее принести «т у папку» и она, поставив перед нами чашки, вынесла из соседней комнаты толстую папку с завязками и положила перед Лишовым. Мы разговаривали долго, до позднего часа. Уговорились, что встретимся через день, а с собой я унес то, чему теперь отдавал многие часы хозяин квартиры, — его мысли, положенные на бумагу и ту часть переписки с Курбанком и Крутоярским, которая мне до этого была не знакома.

— Прочитаете и вернете, — сказал он. — Успеете?

Я отключил телефон, отложил все дела и принялся за чтение. Принуждать себя не надо было. Открыв и прочитав первую страницу, уже не мог не прочесть вторую, затем третью, четвертую...

Вернувшись из долголетних и дальних странствий поневоле, бывший военный прокурор, ныне — полковник юстиции в отставке, С.М.Лишов понял, что служить делу, которому он, пока тому не помешали, отдавал себя, свой ум, свои знания, силы — больше не сможет.

Сердце его, уже перенесшее один инфаркт, отказывалось жить и если билось еще, то не столько следуя законам физиологии, сколько вопреки им.

И тогда он сел писать книгу о пережитом.

Он никогда до этого не грешил литературой, ни в юные годы, ни в зрелые, но, может быть, именно поэтому страницы его рукописи, содержание которой было простым рассказом о судьбе одного и судьбах многих — поражали и убеждали. Оставались в памяти — надолго, если не навсегда.

«XXII съезд нашей Коммунистической партии, вскрывший грубейшие нарушения социалистической законности, вопиющие злоупотребления властью, факты невиданного массового произвола и репрессий

против невинных честных людей, стал на путь решительной борьбы с беззаконием, за полное восстановление правды и справедливости. XXII съезд, устами выступавших на нем делегатов — по существу подтвердил эту решимость партии...» — так начиналась рукопись — «И не только мы, — продолжал он, — вновь возвращенные к свободе, вернувшиеся в ряды партии, — миллионы людей безмерно благодарны за решительный поворот к ленинским нормам жизни, за возвращение к подлинной демократии».

Много раз мы виделись затем, и уже я не был для него Писатель, а он для меня — Читатель. Отношения стали приятельскими, а потом и дружескими, он продолжал работу над своей книгой и то — как он ее писал, могло бы само по себе составить сюжет новеллы... Пока обдумывал все, что должно было лечь на бумагу, он не ощущал в себе ни волнения особого, ни гнева против тех, кто изуродовал, искалечил его жизнь. Но едва брал в руки перо и слова, сложившиеся в мысль, превращались в законченные фразы, вытягивались в строчки — внутри закипала буря.

Волны этой бури прежде всего подхватывали сердце. Они подхватывали это измученное, покрытое рубцами пережитого сердце и смеху бросали вниз. Терзала боль и не хватало воздуха легким.

Меркнул в глазах свет.

Не помогало уже иной раз и лекарство. Приезжала «Скорая». Вонзался в похолодевшую кожу шприц... Но проходило какое-то время и человек с круглой головой древнего римлянина снова садился за письменный стол. «Пока еще мы живы, — свидетели и жертвы страшных событий — нужно, чтобы мы сказали народу всю правду. И пусть партия, которая решительно осудила произвол, злоупотребления властью — употребит наши показания так, чтобы это принесло пользу нашему великому общему делу!»

Женщина, самый близкий ему человек — с тревогой посматривала на брата. В любое мгновение готова помочь, уложить в постель, вызвать врача, выслушать записанное, перепечатывать, править... Но ни разу, никогда не сказала ему: «Оставь. Не пиши. Побереги себя». Ее лицо, лицо до времени состарившейся матери, от которой на долгие годы отнимали сына, а ее самое — преследовали, терроризировали, — оставалось все таким же: любящим, отзывчивым. Все понимающим.

Нервно и не очень твердо выводила рука, вся в склеротических багровых жилках:

«...Много было всего. Так много, что не все сохранила память. Не один год прошел с тех пор. Поэтому и рассказ мой гораздо короче того, что происходило и произошло на самом деле. Но одно осталось во мне нетронутым, свежим — гнев против тех, кто был виновником и исполнителем злодеяний, обрушивших на народ, на старую гвардию, создававшую первое в мире пролетарское государство!»

Воспоминания захлестывали. Бились в его больном сердце, как стая голубей у кормушки, трепеща крыльями, вытесняя один другого. ...Он видит себя в далекой юности. Тогда его звали просто — Савка. Вот он в длиннополой шинели со здоровенным «шпалером» на боку, шагает с комсомольцами, добровольно ушедшими в Красную Армию на западно-польский фронт. Март тысяча девятьсот девятнадцатого года. Восьмая стрелковая дивизия. При форсировании Березины — ранило Савку. А было ему в то время пятнадцать от роду...

И снова вернулся в армию из госпиталя. После войны двинули товарища бойца на рабфак, а там в университет. И стал Савка юристом.

«...И чтобы у человека было больше веры в людей, в правду, в справедливость, нужно, чтобы он знал как за эту правду и справедливость боролись до последней возможности. Так, как боролся и я».

Я читал эти кровью сердца написанные страницы, и мне казалось, что меня самого душат, схватили за горло и душат. Так это тяжело узнавать! Как будто злая боль, бередившая раны Лишова, передалась и мне... Осенью тридцать седьмого года военный прокурор Савелий Лишов прибыл по назначению в Новосибирск. И почти сразу же у него начались трения с руководством Новосибирского НКВД. С каждой неделей ему становилось ясней: люди, которым доверена борьба с контрреволюцией — сами творят ее.

Однажды ему — человеку, который по своему положению обязан был контролировать деятельность органов НКВД — сообщили:

— Во внутренней тюрьме НКВД томится группа молодых рабочих, строителей, которым предъявлены обвинения в тяжчайших преступлениях: все эти люди, якобы бывшие офицеры царской армии, находясь на службе у Колчака, принимали активное участие в борьбе против Советской власти. Но люди эти ни в чем не повинны.

Прокурора Лишова не хотели допустить в тюрьму. Он прибегнул к хитрости и проник туда под видом инспекторского осмотра. Из камеры в камеру, из камеры в камеру... Вот они — участники «дела Николаева», якобы колчаковцы.

Смотрел на них и его шатало от гнева. Этим молодым парням в годы борьбы Советской власти с Колчаком было по семь-девять лет от роду. За что же их арестовали?..

Нет, они не знали, за что их схватили и в чем обвиняют. Их ни разу не вызывали, ни разу не допрашивали. Лишов понял: все протоколы допросов, с которыми он ознакомился — фальшивка. Их написали и подписали сами «следователи».

Не честные чекисты, а бандиты и клеветники в их образе — арестовали и оклеветали честных тружеников, рабочих. Когда же в этот произвол вмешался прокурор, — на следующий же день так называемая «тройка» вынесла им приговор: расстрелять.

Никогда не забудет Лишов того, что было дальше.

Он явился в кабинет начальника Новосибирского НКВД Мальцева и написал при нем предписание, запрещающее приведение приговора в исполнение впредь до особого распоряжения.

Мальцев, сидевший за массивным письменным столом, даже не двинулся, чтобы прочитать предписание. Его свежесвыбритое, пахнущее одеколоном лицо не выражало ничего, кроме раздражения и злости на прокурора, который мешал ему р а б о т а т ь и делать то дело, которое он считает для себя главным. Первостепенно важным, — фабриковать и «разоблачать» как можно больше «врагов народа» и этим снискать благоволение своего начальства.

Подчеркнуто безразлично, небрежно сказал:

— Для приема бумаг есть секретарь. Вот ей и передайте.

Лишов вышел.

Он понял: если не принять самых срочных мер, приговор приведут в исполнение. Ибо ясно одно: сделают все, чтобы «тройка» получила его предписание уже п о с л е того, как с Николаевым и его товарищами покончат.

Через прокуратуру железной дороги он сумел дать телеграмму в три адреса: председателю Президиума Верховного совета СССР Калинин, Прокурору Союза ССР Вышинскому и Главному военному прокурору — Розовскому.

В ту же ночь пришла ответная телеграмма от всех трех адресатов: распоряжение Мальцеву — приговор в исполнение не приводить до особого распоряжения. Л и п о в о е дело — провалилось.

Но на этом борьба света и тьмы не завершилась. Становились известными новые факты, новые злодеяния. Новые злоупотребления. И он считал делом своей совести не проходить мимо ни одного из них, опровергать ложь, клевету, беззаконие насколько хватало сил.

Поступили сигналы из Томска. Группа сотрудников НКВД во главе с Пучкиным, Вавришем, Свешниковым систематически занималась составлением вымышленных обвинений, лгала и клеветала на честных людей. Избивали и истязали их; пытками и издевательствами добивались признания в несовершенных преступлениях.

Лишов бросился в Томск. Все подтвердилось. Он дал распоряжение — немедленно схватить всех виновников произвола. Пучкин, Вавриш и другие были арестованы. Началось следствие. Оно протекало в исключительно трудных и сложных условиях. Мальцев и его помощники делали все, чтобы помешать установлению истины. Всячески выгораживали своих провалившихся коллег.

И тогда Лишов решил ехать за помощью в Москву.

Он прибыл в Главную военную прокуратуру, доложил о положении дел и с немалым трудом добился приема у Вышинского, который стоил ему впоследствии не одного года жизни и свободы.

Вместе с Главным военным прокурором СССР Розовским Лишов вошел в кабинет Вышинского. За широким с хитроумными инкрустациями столом восседал тот, кто в своем высшем звании воплощал в себе и высший Закон. Прямая негнушащаяся фигура. Холодный блеск очков. Он пожал Лишову руку, кивком головы с гладко зачесанными волосами показал на стул. Спросил негромко:

— С чем именно вы приехали? — тон был сухой. Официальный.

Лишов был спокоен. Однако эта сухость слегка смутила его. Он торопливо извлек из портфеля папку с документами и положил на стол, ожидая, что Вышинский протянет за нею руку. Но Прокурор Союза не проявил интереса к папке. Он только коротко сказал:

— Слушаю.

— Андрей Януарьевич, я прошу вас ознакомиться с документами, которые неопровержимо свидетельствуют о преступлениях, совершаемых некоторыми карательными органами...

— Некоторыми?.. — Вышинский поднял брови. — Что за странное определение. Точней! — Чуть-чуть отворотясь, он глядел поверх Лишова.

— Я располагаю материалами о создании НКВД фиктивных дел, об арестах и расстрелах ни в чем не повинных людей: настоящих коммунистов, честных граждан... Я должен обратить ваше особое внимание на приемы, с помощью которых ведется следствие: избивания, издевательства, пытки... Это же средневековая инквизиция, Андрей Януарьевич!

Брови Вышинского опустились. Теперь из-за стекол в позолоченной оправе виднелись только очень острые, выжидательно смотрящие глаза. Впрочем — не глаза: зрачки. Только точки, сильно увеличенные стеклами. Они все еще были устремлены куда-то поверх Лишова и тот невольно обернулся. Но там не было ничего, кроме бюста Сталина на постаменте и его портрета на стене.

С оттенком иронии и даже отчасти сады Вышинский обронил:

— Непонятно — как это и с каких пор иные большевики стали либерально относиться к врагам народа?.. Слушая вас, прокурор Лишов, я прихожу к выводу, что вы просто-напросто утратили не только партийное, но и классовое чутье! — Быстрым, едва заметным движением облизнул кончиком языка губы. — Врагов народа гладить по голове мы не намерены. Усвойте это. В том, что врагам нашим бьем морду — ничего плохого нет. Разве забыли вы, что сказал великий пролетарский писатель Горький? «Если враг не сдается — его уничтожают!» Нет, не-ет — врагов народа жалеть не будем!

Лишов слушал его и вдруг поймал себя на странном ощущении: ему показалось, что он видит перед собой не истинного Вышинского, а какого-то актера, переодетого в прокурорскую форму и нацепившего на себя чужую личину. Маску. Неужели этот интеллигент с такими

тонкими чертами лица только что сказал: «Бить морду?..» Лишов чувствовал, как в нем подымается протест, но ничем не выдал этого. С долей в е д о м с т в е н н о г о почтения возразил:

— Против преследования подлинных врагов партии нельзя возражать. Но чем мы докажем, что, избивая всех подряд, бьем безошибочно именно врагов и только врагов?.. Применяя пытки, можно любого человека заставить подписать все, что угодно. Разве не так?..

Прокурор Союза не ответил. Слушал. Кончиками пальцев слегка потирал пуговицу на форменном пиджаке, точно старался сделать ее из медной — золотой. Вдруг прервал Лишова:

— В эпоху построения коммунизма капиталистически настроенные элементы вступают в ожесточенную схватку и способны на любое преступление! — Он снова бросил взгляд на бюст Сталина и его портрет.

Чувствуя, как трудно и уже почти невозможно продолжать этот диалог, Лишов с растущим недоумением спросил:

— Но как же так: социализм побеждает, а враги народа крепнут, растут, их становится все больше?.. Как же так?..

Однако Вышинский, как видно, нашел излишним и дальше просвещать своего коллегу по юстиции. Энергично поднялся, давая понять, что на этом приему конец. Повернулся к Розовскому.

— Разумеется, все что говорил товарищ Лишов, надо проверить. И — тщательно. Н-ну, а поскольку с НКВД у него сложились обостренные отношения, давайте переведем его пока в Ленинград, в аппарат военной прокуратуры... А там — видно будет.

Он едва-едва пожал пальцы Лишова. В сужившихся зрачках его, в голосе, в последней фразе, — во всем его облике почувствовал Лишов такой холод, почти враждебность, что стало ему не по себе. Молча сунул в портфель так и не раскрытую папку. Вышел, унося вместе с нею подавленность. Даже — смятенность.

Почти сразу же после переезда в Ленинград он был арестован».

Я перевернул эту страницу. Надо было читать и дальше, до конца рукописи оставалось еще немало, но вдруг подступило к сердцу какое-то бессилие. Подумалось: «Читать это тяжело, а пережить?..» Когда на завтра я пришел к Лишову опять, он ничего и ни о чем меня не спросил, привял из моих рук папку и повел беседу о недавно вышедшем романе, посвященном минувшей войне. Книгу он частью хвалил, частью поругивал за литературные изъяны. Сказал:

— Да, впрочем, я-то ведь великий должник перед автором: он, как никак, сам воевал, а наша категория далеко-о от фронта была!

— Но разве это ваша вина, Савелий Михайлович?

— Не моя. Знаю. Да разве душе от этого легче?.. — Он помолчал. Мы еще немного потолковали на разные темы, затем он подал мне другую, совсем тонкую папку. — Тут вот копия письма Иннокентия в ЦК. Я полагаю, коли он вам интересен — это тоже стоит прочитать...

Но мне не удалось открыть тонкую папку, на которой сбоку нанско-сок было написано: «Письмо Иннокентия в ЦК». Я получил задание выехать на несколько дней в Хибины. Чтобы не выглядеть в глазах Лишова необязательным, тут же позвонил ему, сказал о поездке и спросил, могу ли поддержать у себя документ до возвращения. Услышал:

— Ну, конечно, какая может быть спешка? Я сейчас над другой главой работаю, так что для книги эти его письма пока не требуются. Счастливой вам дороги! Как вернетесь — звякните и заходите, порасскажете, что там, в северных краях делается...

На Кольском полуострове я пробыл около недели. Хибины, Апатиты, Кировск, Оленегорск... Новые, молодые и уже не совсем молодые города. И везде — жизнь в труде. Стройки. Незнакомые, а потом уже и знакомые лица. Почти два блокнота исписал, делая заготовки для будущего очерка о северном крае, растущем быстро, бурно. Рьяно.

Самолет, которым летел из Мурманска, в Ленинград прибыл близко к вечеру. Еще из аэропорта я позвонил Лишову, но почему-то никто не ответил. Мне это показалось странным: дома там всегда кто-нибудь был... Попозже я звонок свой повторил. И опять молчание. А на следующее утро узнал, что Савелия Михайловича не стало. Сердечный приступ. Больница. И — конец.

* * *

Под последней строкой этого рассказа стоят даты: 1959—1961. Это те годы, в которые я его написал и, конечно, старался опубликовать. Но, побывав в нескольких редакциях, рукопись неизменно возвращалась ко мне: общая цензура его не разрешала печатать. Шло время, и в 1971 году появился на свет мой роман «Хановой», выпущенный издательством «Современник». Несколько второстепенных по значению эпизодов из рассказа «Диалоги» вошли в него. А рассказ так все и лежал в столе: время и силы отнимали серии «Распятые». И только теперь он публикуется в этой же серии с теми финальными страницами, которые были написаны двенадцать лет назад...

* * *

Летом восемьдесят седьмого года я плыл на теплоходе «Заря» по Новолодожскому каналу, огибающему берега огромного озера. Мне нужно было побывать в Кобоне. Судно это не имело кают, просто ряды мягких диванов, столики кое-где. В отделении, где я устроился, сидели еще несколько пассажиров. По обличию, по разговорам троих из них можно было понять, что они заняты на рыбных промыслах, да и по обветренным лицам, по крепким обмозоленным ладоням замечалось, что со штормовой погодой они знакомы близко. Разговор у них

шел о своих рыбацких делах, о «посудине», которую неладно отремонтировали, о перестройке. Вспомянули одну из речей Горбачева, в которой он высказывался относительно культа личности Сталина, резко осудил его.

— Это он правильно сказал, Михаил Сергеевич: такого забывать нельзя. Никогда. — Мужчина с задубелыми щеками постучал пальцем по обложке «Огонька», полистал журнал. — Читали, небось, что тут написано про всякие прошлые дела?

— Не читал еще. Рассказывали. Матвейч вот рассказал, — сидевший рядом с ним черноусый парень показал на моего соседа. — Да, черт возьми, нашей семьи, например, никакие репрессии не коснулись. Но народ-то, который по шеям костыляли, не видел, не замечал их, что ли? Ну хорошо — война. Тут все терпят. Все знают — ради чего. А тогда-то, тогда-то — зачем?.. Этого же никто не мог понять! Ты-то вот как полагаешь? А, Максим Иванович?

Максим Иванович убрал «Огонек» в дорожную сумку, покачал в сомнении головой.

— А как и понять?.. Всегда толкуем, и Ленин тому учил: не болтай впустую, борись! Борись, не щадя себя! Так ведь и не щадили себя в войну, в бою!

— Тут другое, — не согласился мой сосед слева, пожилой человек в сером с меховой оторочкой жилете, кого называли Матвейчем. — В войну с кем дрались-то? С фашизмом. А тут — как было подняться на партию, коли я сам член этой партии, а партия и Сталин были одно? Нет, не то толкуешь.

— Это вы, пожалуй, правы, — вступил в их разговор интеллигентного вида пассажир в легкой плетеной шляпе. — Я вот еще думаю: есть высшие нравственные категории: добро, зло, ненависть, любовь. Так вон нас, как припомню, — все больше ненависти учили. — Он поправил очки, снял шляпу, пригладил крупные седые кудри. — Да и то сказать — такая была жизнь: гражданская война, потом — пятилетки, да и всякая мерзость пыталась помешать... Ну а дальше уж Сталин поднял вой насчет врагов народа... Удивляемся иногда — откуда равнодушие, несрабатанность, бесчеловечность. А все — оттуда же...

— Ненависть ненависти рознь, — не согласился Максим Иванович. — Ежели в человеке душа, а не навоз, должен он ненавидеть только зло. И чем выше сидит, тем сильнее должен ненавидеть!

— Это-то верно... В лесу-то каждое дерево видно: какое большое, какое — здоровое. А подымись-ка на самолете — все в одно сольется, поди различи что-нибудь. Так вот и боль человечья — видна ли она была е м у сверху?.. А?.. — Матвейч сделал паузу, как бы ожидая ответа. — Он людей не считал. Они для н е г о были так, пешки. Тыщей больше, тыщей меньше!

Глухо и неостановимо рокотал водяной двигатель, выбрасывая на-

зад сильные струи и непрерывно толкая судно вперед, поплескивались волны, бегущие вдоль корпуса. Чайки падали на крыло, выхватывали в волнах мелкую рыбку и опять взмывали над каналом.

— А слышали вы, — сказал черноусый с ленивым любопытством, — ходил такой разговор одно время, будто по ко й н и к а воскрешать собираются?

— Слышал, — утвердительно кивнул Матвейч. — Пустые разговоры. Того, что померло — не воскресишь. Тут, как говорится, никакие уколы не помогут!

— Это ты верно! — встрепенулся Максим Иванович. — Родственник мой, старый уж теперь, а был профессор, побывал в той б а н е. Вернулся, и тоже, знаешь, хватил горького через край, пока жизнь устроил... Сидят еще кое-где сталинские выкорыши, вредят втихую, как могут. Одно время, понимаешь, хвост трубой подняли: померещилось им, что новый о т е ц н а р о д о в на горизонте засиял. Не вышло!

— Нет, отчего же, вообще-то говоря — разговор о Сталине пойти может. Конечно не о его личности, а о его теоретических работах, — интеллигентный пассажир сделал глубокомысленный жест, как бы подчеркивая значительность сказанного.

Молчавший до сих пор шестой обитатель нашего отделения, юркий, непоседливый какой-то старичок в вязаной кофте с узорами и вязаной же шапочке на лысой голове, покашлял, издал смешок.

— Извиняйте, что встречаю, но я-то хочу возразить, что никак народу без хозяина невозможно. То есть вовсе никак нельзя. Был Сталин — кои его уважали, кои — боялись, ну, а все-таки был, значит, каждому человеку урез: Сталин сказал, Сталин велел. А теперь?.. Вон, молодяки-то, которые дак и вовсе ни к чему не привержены! Это — как же?

Не раз, уже позднее, я возвращался мыслями к рукописи Лишова и к «Письму Иннокентия в ЦК». Поводы для этого были: шумные декларации вынешней Компартии, ее постоянные потуги на главенство в политической жизни страны... И когда я читал и перечитывал написанное двумя бывшими з э к 'а м и, вставал передо мной облик Лишова, его коренастая фигура, лицо с упрямыми складками у рта и чистые, всегда вопрошающие глаза. Станным казалось, что, пройдя через каторгу, он по-прежнему чуть ли не свято верил в с в о ю партию, относя ее преступления только к ошибкам и просчетам отдельных личностей. И, может быть, судьба распорядилась справедливо, не дав ему дожить, не дав его сердцу дотянуть до того часа и года, когда враз рухнула эта страшная, порочная и преступная система под названием КПСС, в которую он так глубоко верил.

Именно тогда, после того как он ушел из жизни, начался тот широкий и уже неостановимый ледоход, который взламывал и взломал

красную крышу, под которой таились скрытые до времени преступления палачей с партийным билетом.

Да, тот год, пятьдесят девятый, был еще годом, когда всемогущий ЦК держался на сильных, словно бы негибких ногах. Оба они — и Лишов и Иннокентий — были до предела наивными в своей идейной вере, и даже то, что они испытали, не смогло их отрезвить.

Шумели струи двигателя, плескались... Я думал, вспоминая и свое прошлое и узнанное, думал о том, что оно, как и всякое уже минувшее, забывается, но справедливо ли это? И не мы ли, писатели, обязаны не дать напрочь забыть о том, что б ы л о?..

Теплоход подходил к Кобоне. Народ в салоне зашевелился. Некоторые поднялись и пошли к выходу. Поднялся и старичок.

— Насчет Сталина ты, отец, верно сказал, — произнес Максим Иванов. — Нужен пастух стаду. Сталин и был, как пастух, а народ — как стадо. Но, слава-тебе-на-тебе — стада у нас нынче нет и такие глупари, как ты — не в силе. Народ — он сам сила, ему пастухи без надобности!

«Заря» зачала у пристани. Я тоже вышел на берег. В сторонке уже тормозилась очередь к рейсовому автобусу, на котором и мне предстояло ехать. Старичок в вязаной шапочке юркнул вперед, показывая книжечку, наверное, ветеранскую. Теплоход гукнул и поплыл дальше по своему пути, к Новой Ладоге. Я смотрел ему вслед и думал: «Народ открыл уста, народ открыл свои души. Как это хорошо, что мы дождались таких дней, когда это стало возможно. Еще не раз столкнутся правда и неправда, но самое главное — это будет происходить не в тайне, не подспудно, а у всех на глазах. Ибо только в таких условиях может родиться и жить вера человека в истину. В справедливость».

Автобус тронулся и поехал по своему маршруту...

Захар ДИЧАРОВ

1986—1987

ПУНКТ «ПЯТЫИ» — КРОВЬ И ЗЛОДЕЙСТВО

I. ВСПОМНИМ

Писатели старшего поколения, которое активно участвовало в литературной жизни Советского Союза в 50–70 годы, хорошо помнят каково жилось и каково творилось тем, у кого в паспорте значилось: «еврей». Примеров искать не надо — они записаны в душе и сознании тысяч и тысяч.

Это был период государственного антисемитизма. Он был заявлен и проявлен буквально во всех видах и формах культуры: в слове звучащем; в слове рукописном; и в слове печатном.

Вспомним, что в преследованиях поэта Иосифа Бродского не последнюю роль сыграло и национальное начало, и чего стоит ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ А.ФАДЕЕВА и К.СИМОНОВА — Н.С.ХРУЩЕВУ О МЕРАХ СЕКРЕТАРИАТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БАЛЛАСТА, которое приводится ниже.

«24 марта 1953 г.

ЦК КПСС

товарищу ХРУЩЕВУ Н.С.

О МЕРАХ СЕКРЕТАРИАТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БАЛЛАСТА»

Этот документ по своему весьма примечателен, и стоит местами его привести:

...«Много случайных людей, не имеющих самостоятельных литературно-художественных произведений, попало в Союз писателей в годы войны и в первые послевоенные года...»

Приводятся фамилии: А.Ржевский, Д.Хайт, М.Шолок. Эти — решением Секретариата — исключены из Союза. Далее перечисляются те, кто подлежит исключению: Т.Дубинская, М.Хенкина, Д.Хорол, Б.Бобович и другие.

«Приведенные примеры характерны в той или иной мере для всего балласта, составляющего в Московской организации, как отмечалось выше, более 150 человек.

Значительную часть этого балласта составляют лица еврейской национальности и, в том числе, члены бывшего «Еврейского литературного объединения» (московской секции еврейских писателей), распущенного в 1949 году.

Из 1102 членов московской организации Союза писателей русских — 662 чел. (60%), евреев — 329 чел. (29,8%), украинцев — 23 чел., армян — 21 чел., других национальностей — 67 чел.

При создании Союза советских писателей в 1934 году в Московскую организацию было принято 351 чел., из них — писателей еврейской национальности 124 чел. (35%). В 1935—1940 гг. принято 244 человека, из них писателей еврейской национальности — 85 человек (34,8%), в 1941—1946 гг. принято 265 чел., из них писателей еврейской национальности 75 человек (28,4%). В 1947—1952 гг. принято 241 чел., из них писателей еврейской национальности 49 чел. (20,3%).

Такой искусственно завышенный прием в Союз писателей лиц еврейской национальности объясняется тем, что многие из них принимались не по литературным заслугам, а в результате сниженных требований, приятельских отношений, а в ряде случаев и в результате замаскированных проявлений националистической семейственности (особенно в период существования в Союзе писателей еврейского литературного объединения, часть представителей которого входила в состав руководящих органов ССП СССР).

Следует сказать о членах и кандидатах в члены Союза писателей, состоявших в бывшем Еврейском литературном объединении. Все руководство этого объединения и значительная часть его членов в свое время репрессированы органами МГБ. После ликвидации объединения и прекращения изданий на еврейском языке только четверо из 2-х еврейских писателей*, входивших ранее в это объединение, занялись литературной работой и эпизодически выступают в печати на русском языке. Остальные — являются балластом в Московской организации Союза писателей. Среди них есть отдельные лица, вообще изменившие свою профессию (например, О.Дриз, уже несколько лет работающий глянцщиком в одной из строительных организаций).

Приводя изложенные выше факты о Московской писательской организации, руководство ССП СССР располагает сведениями, что близкое к этому положение существует в Ленинградской организации. Не вполне благополучно обстоит дело с состоянием творческих кадров и в Союзе писателей Украины.

* Так в тексте.

Полностью сознавая свою ответственность за такое положение с творческими кадрами, руководство Союза советских писателей СССР считает необходимым путем систематического и пристального изучения членов и кандидатов в члены Союза писателей последовательно и неуклонно освобождать Союз писателей от балласта.

Руководство Союза писателей считает, что было бы политически неправильным проводить эти мероприятия в порядке «чистки» или «перерегистрации». Эта работа должна проводиться постепенно, опираясь на пристальное изучение кадров. Вместе с тем, мы считаем необходимым добиться того, чтобы в течение 1953—54 годов существующее ненормальное положение с составом творческих кадров писателей было бы решительным образом исправлено.

За последнее время Секретариат и Президиум Союза советских писателей СССР принял первые меры в этом направлении. За ряд месяцев Президиумом Правления ССП СССР исключено из Союза писателей 11 чел.; Секретариатом ССП внесена в Президиум рекомендация — исключить еще 11 чел. Работа эта будет продолжаться.

Подписано:

Генеральный Секретарь
Союза советских писателей СССР

А.Фадеев

Заместители Генерального Секретаря
Союза советских писателей СССР

А.Сурков

К.Симонов».

Что можно к этому добавить и как прокомментировать приведенный выше текст?.. Назвать его актом «культурного антисемитизма»?.. Ярчайшим проявлением подострастия и угодничества «властителей человеческих душ» по отношению к высокому начальству?..

Тайное — становится явным. И как ни назови этот документ — все будет истинно, все будет справедливо.

Такова обнаженная правда.

В этой книге идет разговор о литературе, — театр, его искусство — это тоже литература: драматургия, воплощенная в сценические образы. Именно поэтому мы решили, что к месту будет посвятить некоторые страницы Еврейскому театру Соломона Михоэлса. И трагедии, с ним связанной.

Захар ДИЧАРОВ

II. СОЛОМОН МИХОЭЛС И ЕГО ТЕАТР

В годы сталинского режима исчезали не только люди, но и театры; такие, как театр Вс.Мейерхольда, Камерный театр А.Таирова, ГОСЕТ им. С.Михоэлса...

А начиналось все обнадеживающе. «Комиссар по Евр. Нац. Дела» открывает в ближайшем будущем студию еврейского народного театра, — сообщила «Еврейская трибуна» летом 1918 г. — По этому вопросу ведутся переговоры с некоторыми видными еврейскими литераторами и артистами. Открытие студии состоится, как только будет подыскано подходящее помещение». Вскоре на улицах Петрограда были расклеены афиши-объявления, в которых Комиссариат Народного Образования и Отдел театров и зрелищ оповещали, что «Еврейский театр-студия и школа Сценического искусства» начали прием «лиц не старше 27 лет, желающих посвятить себя работе в еврейском театре».

Афишу увидел и молодой юрист, только что закончивший Петроградский университет, Шломо Вовси.

Афиша всколыхнула забывшиеся мечты. Он пришел к режиссеру А. Грановскому, и несмотря на то, что ему уже исполнилось 28, был принят. Зрители узнали о нем под именем Соломона Михоэлса. Театр-студия начал работу 20 декабря 1918 года.

— На улицах еще бушевала буря революции, — вспоминал С. Михоэлс. — И в это самое время, когда миры трещали, гибли, заменялись новыми мирами, случилось одно, быть может, маленькое, но для нас, евреев, великое чудо — родился Еврейский театр».

И уже через пять месяцев, начиная с 3 июля 1919 г., в бывш. Малом театре на Фонтанке начались спектакли Еврейского Камерного театра-студии. Первый «Вечер студийных работ» состоял из «Пролога», «Слепых» М. Метерлинка и «Греха» Ш. Аша (художники А. Грановский и Анна Бенуа, композиторы И. Ахрон и С. Розовский, постановка А. Грановского). Второй «Вечер», сыгранный на следующий день, также был сборным. Первым шел «Сон, посвященный новому театру», «Строитель», не первый, но последний драматургический опыт С. Михоэлса, довольно странная, символическая пьеса.

11 июля бал показан «Уриэль Акроста» К. Гуцкова в пер. М. Ривсмана (постановка Р. Унгерна, художник Н. Альтман, композитор С. Розовский), который получил наибольший резонанс в петроградской прессе. И особо выделялся начинающий актер С. Михоэлс в заглавной роли. Вскоре постановлением Наркомпроса Камерный театр-студия был переведен в Москву и стал тем знаменитым ГОСЕТом, который открылся 1 января 1921 г. «Вечером Шолом-Алейхема».

Студия превращается в театр. В 1921 г. сыграли еще три премьеры с участием Михоэлса.

В 1926 г., на пятилетие театра, А. Грановскому и С. Михоэлсу были присвоены звания Заслуженных артистов республики.

В 1928 г. ГОСЕТ отправился на гастроли в Европу. Колоссальный успех имел он в Германии, Франции, Бельгии, Голландии и Австрии. Приглашали в Америку, но власти в Москве их «завернули». Еще

ясно виделось невозвращение из заграничных гастролей другого еврейского театра — «Габима». «Успех его (ГОСЕТа. — Е.Б.) можно назвать смешанным, — писал тогда А.Луначарский. — С одной стороны, нет никакого сомнения, что и пресса, и очень значительная часть публики, всюду, где появлялся этот театр, приветствуют его тонкое и острое искусство: с другой стороны, некоторые газеты — часть буржуазной и даже эмигрантской прессы — стараются ослабить политическое значение этого успеха, заявляя, что в театре нет и следа какой бы то ни было советской идеологии, что этот театр чужеродный у нас и не показательный для подлинного лица нашего театра... Все это — и наличие целого ряда других фактов — не дает возможности Наркомпросу с совершенной уверенностью сказать, какой будет дальнейший путь театра; будет ли он вызван немедленно в Москву или ему будет дано разрешение продолжить поездку».

Алексей Грановский действительно стал очередным «невозвращенцем». Чувствовалось, что актеры, вернувшиеся без него в Москву, были в растерянности, опасались за свою судьбу. Но на этот раз обошлось. Создатель ГОСЕТа был осужден. Художественным руководителем театра назначен Соломон Михоэлс. 12 января 1929 г. спектаклем «Человек воздуха» (по Шолом-Алейхему) вновь открылся занавес театра в Москве. Жизнь театра продолжалась.

Михоэлс и раньше ассистировал Грановскому в постановках отдельных спектаклей. Теперь он вынужден ставить сам.

Казалось бы, дела театра идут прекрасно. Ставятся блестящие спектакли, актеры загружены интересными ролями. В 1935 г., в связи с 15-летием С.М.Михоэлсу присваивается звание Народного артиста республики, актерам В.Зускину, М.Гольдблату, С.Ротбаум, И.Шидло и М.Штейнману — Заслуженных. А в 1939-м С.Михоэлс становится Народным артистом СССР, В.Зускин и композитор Л.Пульвер — Народными артистами республики и еще пять актеров — Заслуженными.

В ночь с 15 на 16 декабря 1941 г. труппа театра отправилась в эвакуацию.

Перед войной в СССР существовало 24 еврейских театра.

В 1946 г. за спектакль «Фрейлехс» театр удостоивается Сталинской премии, но уже 13 января 1948 г. по прямому указанию Сталина в Минске был убит Соломон Михоэлс. Некролог подписали М.Харченко, А.Фадеев, А.Яблочкина, В.Качалов, В.Зускин, С.Маршак, Л.Пульвер, Н.Акимов, О.Книппер-Чехова, А.Тарасова, И.Фефер, Ю.Завадский, Н.Охлопков, Е.Турчанинова, А.Таиров, А.Тышлер, А.Хорава, М.Царев, Н.Черкасов, Ф.Эрмлер, Д.Бергельсон, С.Галкин, М.Беленький, Л.Квитко и многие другие.

Театр получает имя С.М.Михоэлса. Художественным руководителем его назначается Вениамин Зускин.

Такой прием «лучшего врага всех народов» был хорошо и давно отработан — Фрунзе, Киров, Куйбышев, Орджоникидзе, Горький... Теперь — Михоэлс.

20 ноября 1948 г. ЦК ВКП(б) было поручено МГБ «немедля распустить Еврейский антифашистский комитет (который еще недавно возглавлял С.Михоэлс. — *Е.Б.*), так как, как показывают факты, этот Комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию иностранной разведке».

24 декабря был арестован В.Зускин, которого вытащили из постели Боткинской больницы.

Его, как и членов ЕАК — С.А.Лозовского, начальника Совинформбюро, писателей Ицхока Фефера, Давида Бергельсона, Льва Квитко, Переца Маркиша, Давида Гофштейна, чьи пьесы также шли на сценах ГОСЕТа, и др. в июле 1952 г. приговорили к расстрелу.

А в 1949 г. все еще функционировавшие ГОСЕТы, репертуар которых в основном состоял из пьес «врагов народа», были закрыты. Еврейский театр на территории СССР прекратил свое существование.

Евгений БИНЕВИЧ

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА — ТЮРЕМНЫЙ ПОЭТ

Мы уже писали о ней, о Елене Владимировой, человеке тяжелой мучительной судьбы*. «Лена — солдат революции», так назвал ее в своем очерке Анатолий Горелов, ее товарищ по творчеству и по лагерной зоне. Глубоко талантливый человек, она за годы своего заточения в тюрьмах и за «колючкой», создала настоящий поэтический эпос об испытанном и пережитом — не только ею, но и тысячами бесправных униженных рабов. Лишь немного из того, что ею написано, смогли мы тогда опубликовать — не позволил ограниченный объем книги. Но сейчас такая возможность представляется, и на страницах книги 6-й, серии «Распятые», мы помещаем поэму «Я пишу о неволе» и еще ряд стихотворений.

Но при всей остроте и талантливости своего творчества она, уже будучи на воле, не смогла издать свою книгу. Мы и сейчас публикуем далеко не все, что ею создано, но самое яркое, берущее за душу — даем. Открывается мир — скорбный, полный трагизма. Но и мужества, также. И высокого нравственного долга.

Я ПИШУ О НЕВОЛЕ...

Поэма

Я всего лишь тюремный поэт,
Я пишу о неволе.
О черте, разделяющей свет
На неравные доли.

Ограничена тема моя
Обстановкой и местом.
Только тюрьмы, этап, лагеря,
мне сегодня известны.

* Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 1. «Тайное становится явным», с. 109—119.

И в двойном оцепленье штыков
и тюремных затворов,
вижу только сословье рабов
и сословье надзора.

В мой язык включены навсегда
те слова и названия,
что в тюрьме за года и года
восприняло сознание.

Вышка. Вахта. Параша. Конвой.
Номера на бушлатах.
Пайка хлеба. Бачок с баландой.
Бирка с смертной датой.

Это вижу и этим дышу
за чертою запрета.
Это знаю одно и пишу
лишь об этом.

Ограничена тема моя,
но за этой границей —
лагеря, лагеря, лагеря
от тайги до столицы.

Не ищи никаких картотек,
Не трудись над учетом:
три доски и на них человек —
мера нашего счета.

Искалечен, но все-таки жив,
человек, как и раньше,
он живет, ничего не забыв
в своей жизни вчерашней.

И хотя запрещают о нем
говорить, или слышать —
грудь его под тюремным тряпьем
и страдает и дышит.

Он по-прежнему чувствует боль,
унижение и голод.
Пусть звучит его страшный, живой,
человеческий голос.

И хотя моя тема мала,
и тюрьма — ее имя,
люди, люди за ней без числа
с их страстями живыми.

Заключенные — те, кого нет,
на свободе. Однако
они смотрят, как в окна на свет
на свободу из мрака.

И отчетливо видимо
им по закону контраста,
заключенным собратьям моим,
то свободное царство.

У неволи взыскательный глаз:
видит вещи нагими.
Знает цену словам и не даст
Обмануть себя ими.

Сопоставит слова и дела,
вывод сделает точный,
и какая бы ложь ни была —
ее выверит тотчас.

Не отыщешь на свете страшней
и грязней учрежденья,
чья задача — калечить людей,
как у мест заключенья.

Все, за что осудили людей,
что звалось преступленьем,
превратилось в черте лагерей
в рычаги управления.

Все усилья направлены тут
к униженью другого,
и одно лишь насилье зовут
здесь житейской основой.

А ослепшая, жалкая жизнь
над собою заносит
грязный щит подхалимства и лжи,
воровства и доносов.

Да, непросто быть честным на дне
Страшной лагерной ямы,
хоть знаком моей теме и мне
этот честный упрямец.

Моя тема. Дай место ему,
встань с товарищем рядом.
Слава тем, кто осилил тюрьму,
кто в ней прожил, как надо.

Заключенье. Могила людей,
обреченная зона,
так как нету обратных путей
для людей заключенных.

С ними кончено раз навсегда
без гуманности лишней.
Только мера тупого труда,
только окрик привычный,

только пайка, чтоб камень носить
и не вытянуть ноги.

Да и той не хватает, чтоб жить,
не упав на дороге.

Как в кунсткамере, собрано здесь
горе разного сорта.
Горе чистого вида и смесь
в ядовитых ретортах.

Горе тех, кто еще не привык
к безнадежности полной,
кто колотится в двери. Чей крик
бьется в стенах безмолвных.

Кто не понял еще, не затих,
кто пытается спорить.
И с усмешкой ужасной на них
смотрит давнее горе.

Горе-нищенка. Горе-обвал,
сокрушающий горы.
Горе-ненависть. Горе-шквал.
Материнское горе.

Горе — маленький жук-костоед,
разрушитель несносный.
Подчиненье. Отчаянье. Бред.
Развлечение. Поза.

Горе разное, как люди. Оно
трафарета не знает.
Учит гневу и бунту одно,
а другое — смиряет.

Горе тех, кто боится задеть
своей болью другого,
то, что в сердце умеет гореть
без укора, без слова,

что людей пожалеет не раз
и улыбкой обманет...
Горе — летняя буря на час.
Горе — вечная рана.

Существует особый декрет,
где дано объяснение,
что дозволено людям, что нет
за чертой заключенья.

Не дозволено писем писать,
кроме двух по лимиту,
да и в тех — ничего не сказать,
не поплакать досыта.

Не дозволено близких встречать,
ни отца и ни сына.
Не дозволено их повидать
даже перед кончиной.

Ну, да что там. На мертвых в гробу,
на посмертные строчки
тот декрет налагает «табу»
нерушимо и точно.

Не дозволен ни угол, ни друг,
ни поступок свободный,
ни любимое дело для рук
и для мысли голодной.

Недозволено здесь сохранять
человечье обличье,
даже словом себя защищать
против брани циничной.

Ну, а горе дозволено. Здесь
запрещения сняты.
Можешь выбрать любое, что есть,
без особой доплаты.

Хоть давься им — позволено все.
Здесь свобода сплошная...
Заключенное горе твое
без конца и без края.

Моя тема расскажет о нем
без прикрас и без жалоб.
Чтоб свободу тяжелым стыдом
ее слово обдало.

Много ярких портретов дает
серый фон заключенья
для широких и новых полотн,
для больших обобщений.

Как бы ни был ты скрытен, но есть,
но наступит мгновенье,
когда люди сумеют прочесть
все твои побужденья.

Можешь снова искать темноты,
уклоняться от взгляда,
но мгновенье упущено. Ты
оценен и разгадан.

Ничего, моя тема. С тобой
мы других не беднее.
Лишь бы не было взято тюрьмой,
что сегодня имеем,

лишь бы встретить в дороге друзей,
чтобы нам пособили
кое-как донести до людей
то, что мы накопили.

Может быть и найдем.
А теперь за работу, за дело.
Уже ночь. Запечатана дверь.
Утомленное тело

распростерлось на нарах. Страшной
не отыщется места.
Но мечты и желанья людей
входят стежкую тесной

в этот тягостный мир нищеты.
Посмеяться над ними..
Мы не будем смеяться, мечты,
над друзьями своими.

Мы придем с моей темой вдвоем
в час душевной тревоги
за поддержку к вам, за теплом,
за душевной подмогой.

Мы идем с моей темой сквозь строй
слишком грозных явлений,
мы идем с ней по жизни самой —
по местам заключенья.

Мы с ней мучимся вместе с людьми.
Под угрозой расстрела,
Мы с ней вместе слагаем стихи,
как нам совесть велела.

И хотя моя тема мала,
Я горжусь этой темой,
раз поднять она голос могла
за стеною тюремной!

. * * *

Он был в такой глубокой тьме,
Где гаснет самый свет.
Он отдал дань такой зиме,
страшной которой нет.
Он, словом, жил на Колыме
Без мала десять лет.
И раз один, устав молчать,
Он вслух сказал о том,
Что запрещалось называть
Свободным языком.
— За это надо расстрелять. —
Объявлено судом.

Параша. Нары. Козырек
Над выступом окна.
Как домик лысьвенский далек.
Как эта ночь темна.
Как длится этот малый срок.
Как смерть, друзья, страшна.

Сто крат сгущается тоска —
Ее не отогнать.
И жадно тянется рука
Нашупать и обнять
Картонку фото в полвершка.
С которой смотрит мать.
«Товарищ, много трудных дней
делили мы с тобой.
Хочу, чтоб к матери моей
Не прикоснулась боль.
Она и так со мной была
На самом страшном дне.
Она тюрьму со мной прошла
И улыбалась мне.

Ты ей скажи, как лучший мой,
Надежный самый друг.
Что я живу и что домой
Вернусь однажды вдруг.
Я знаю: проще обмануть
На несколько минут.
Но ты о слове не забудь,
Пока года идут.
И если надо век молчать —
Молчи, пока ты жив.
О том, чего не надо знать,
Ни слова не скажи».
Но друг сказал ему, суров,
Иль должен был сказать:
— «Я для тебя на все готов,
Но я не буду лгать.
Святое горе матерей
Должно и будет жить.
Оно оставшихся детей
Захочет защитить.
Я пишу дам ему, я сам
скажу, что ты убит.
Пусть будет путь к людским сердцам
Тоской ее открыт.
Замок скрипит, тяжел и ржав.
Клади портрет на грудь.
Пусть мать идет, ладони сжав,
С тобой в последний путь».

Елена ВЛАДИМИРОВА

* * *

Как долгий незатаивший аккорд звучат эти строки и невольно возникает вопрос — как, каким образом удалось сохраниться творениям тюремного поэта? Как уцелели они в условиях страшного злого режима, при бесконечных «шмонах» в лагерных бараках, в тесных каменных камерах, во всех местах, где обитали зеки?.. Никто уже не сможет рассказать об этом, но все же нам известны имена тех, кто оберегал память о Елене Владимировой и сберегал ее творчество. И мы их называем.

Это, прежде всего Лидия Самуиловна Невельсон (1904–1993), подвергшаяся репрессиям в 1937–1955 годах. Это другой тюремный поэт, Юрий Борисович Люба. Но и его уже нет. С 1993 года наследие Елене Владимировой хранит Лидия Викторовна Кошурникова — также из тех, кто многие годы шагал по лагерным дорогам.

Вот так, по непознанной нами цепочке дошли до нас эти, исполненные гнева, ярости и скорби строки. И теперь, почти четыре десятилетия спустя после кончины их автора — мы читаем их.

Вечная память тем, о ком они сказаны. Спеты. Выкрикнуты!
Вечная память и той, кто выносил их в своем сердце!

О ЕЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВОЙ

Журналистка и литератор. Родилась в Петербурге в 1902 г. Ее отец был морским офицером, мать — родом из семьи знаменитого русского флотоводца адмирала Бутакова. Воспитание и образование получила в привилегированном учебном заведении — Институте благородных девиц. Еще обучаясь в нем, познакомилась с революционной литературой, которую получала нелегально.

ЕЕ ЖИЗНЬ В СВОЕМ РОДЕ УДИВИТЕЛЬНА

Когда произошел Октябрьский переворот 1917 года, Елена решительно порывает со своей дворянской семьей и уходит в революцию. В 1919 году, когда ей было всего шестнадцать лет, она вступила в комсомол и стала бойцом войскового отряда. Далеко от Петрограда забросила тогда ее судьба — в Туркестан, где нужно было сражаться с басмачами — бандитскими группами, которые пытались восстановить власть феодалов и эмиров.

В 1921 году Россию поразило великое несчастье: голод на Поволжье. Три года подряд поля, иссушаемые засухой, не родили хлеба. Тысячи людей, оставшиеся без пропитания, умирали от истощения. Теперь уже в другом отряде, призванном помогать голодающим, Елена отдавала свои руки, свое сердце братьям по Человечеству; спасала от голодной смерти детей, стариков, женщин. Писательница Елизавета Драбкина, подобно Елене подвергшаяся длительным репрессиям, но знавшая ее еще в юности, оставила нам такой — короткий, но выразительный — портрет: «Была она и смелая, и застенчивая, и насмешливая, похожая то на мальчишку, то на тургеневскую девушку. И очень красивая...»

Осталась позади борьба с голодом. Владимирова поступила в Петроградский университет. Закончила его в 1925 году. Ее профессией становится журналистика. «Красная газета», «Ленинградская правда», журнал «Работница» помещают на своих страницах ее корреспонденции. Знаменитый американский журналист Линкольн Стефенс

называл людей своей профессии «разгребателями грязи». В молодой Советской республике нужно было каждый день сражаться с отсталостью, неграмотностью, духовной темнотой и одновременно — искать и находить все новое, что пробивалось к свету, к жизни без угнетения и рабства. Такая задача легла и на плечи юной журналистки, которая уже знала, что такое смерть, кровь, но также и добро и рука друга.

В 1927 году она стала коммунисткой. Появилась своя семья, ее мужем стал известный ленинградский журналист Леонид Сыркин. Но вот минует десять лет, наступает зловещий 1937 год. Ее мужа переводят в Челябинск редактором областной газеты. Елена уезжает с ним и тут их постигает участь многих: Сыркин арестован, клеветнически осужден и расстрелян. А Елену Владимирову, жену «врага народа», бросают в лагерь на Колыме.

Казалось бы, все кончено для человека, жизнь которого грубо и жестоко попорана насилием. Но для Владимировой — сильной, целеустремленной натуры — и в ужасающих условиях постоянного гнета и произвола духовная жизнь продолжается.

С детских лет она писала стихи, не считая, однако, это своим призванием. В заточении, за решеткой, за колючей проволокой зоны талант обрел свой настоящий голос. Она создает мужественные, сильные произведения. Их постоянная тональность — протест против беззаконий, вера в грядущую справедливость и правду.

В лагерной зоне рождается группа **бывших коммунистов** и комсомольцев. Они собираются, чтобы послушать стихи Елена Владимировой, мысли и надежды их устремлены в грядущее; они подвергают критике сталинский «социализм»... Финал: вся группа схвачена по доносу провокатора. Военный трибунал выносит приговор: расстрел.

Три месяца ожидала Елена того дня, который должен был стать последней точкой в ее судьбе. Девяносто с лишним дней в камере смертников и ожидание, ожидание... Наконец решение — расстрел заменен 15 годами каторжных работ.

И опять — лагеря. Более 18 лет провела она в них. В 1956 году после реабилитации возвратилась в Ленинград. Полное одиночество. Единственная дочь — погибла во время войны.

Елена Владимирова... 9 июня 1962 года она умерла. Поэт — Человек... Поэт — Гражданин... Поэт — Мученик...

Захар ДИЧАРОВ

ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ...

В.С.Абакумов — А.А.Кузнецову

10 августа 1946 г.

Герб СССР

МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СССР

Экз. № 1

№ 1392/А

гор. Москва

10 августа 1946 г.

СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ВКП (б)
г. КУЗНЕЦОВУ А.А.

При этом направляю справку по имеющимся в МГБ СССР материалам на писателя ЗОЩЕНКО М.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ: — по тексту.

В.АБАКУМОВ

Совершенно секретно

С П Р А В К А

на писателя ЗОЩЕНКО Михаила Михайловича

З О Щ Е Н К О Михаил Михайлович, 1895 года рождения, уроженец г. Полтавы, беспартийный, русский, из дворян, быв. штабс-капитан царской армии, член Союза Советских писателей, орденносец. Постоянно проживает в гор. Ленинграде.

В своей автобиографии ЗОЩЕНКО пишет, что он родился в семье художника, отец его происходит из дворян.

В 1913 году окончил гимназию, поступил на юридический факультет университета; в начале 1915 года ушел из университета на фронт, где и пробыл вплоть до весны 1919 года — сначала в царской армии, потом в гражданскую войну в Красной Армии. На фронте был ранен и отравлен газами. В апреле 1919 года вследствие болезни сердца был освобожден от военной службы, после чего в течение 3-х лет переменил до 10 профессий. Был агентом Уголовного розыска — Оранненбаум, инструктором по кролиководству и куроводству — Маньково, Смоленской губернии, телефонистом пограничной охраны, милиционером (Лигово) и т. д. В 1921 году начал писать рассказы. Первый рассказ был напечатан в декабре 1921 года в Петербургском Альманахе.

На протяжении ряда лет ЗОЩЕНКО характеризуется как писатель с антисоветскими взглядами, критикующий политику партии в области искусства и литературы.

ЗОЩЕНКО до последнего времени в своей творческой деятельности остается в стороне от советской действительности, не принимая участия в создании литературных произведений, отражающих нашу современность.

В прошлом (1921 г.) ЗОЩЕНКО являлся членом литературного содружества «Серрапионовы братья» — группировки вредной по своему идеологическому характеру. В выпущенном в 1921 году «Манифесте» этой группы говорилось:

«В эпоху регламентаций и установления казарменной жизни, создания железного и скучного устава, мы вынуждены организоваться. Нас атакуют и справа и слева. У нас спрашивают, с кем мы — с монархистами, с эсерами или большевиками?

Мы — ни с кем, мы просто русские... Нас ни одна партия в целом не удовлетворяет. Искусство не имеет общественной функции. Общественная функция убивает искусство, убивает талант. Мы пишем не для пропаганды...»

В этот период ЗОЩЕНКО является автором антисоветских рассказов, которые читались в близких ему литературных кругах.

ЗОЩЕНКО постоянно высказывает свое враждебное отношение к советской цензуре, жалуясь на невозможность заниматься творческой работой.

Еще в 1927 году он заявил:

«Мы беззубые юмористы, нам не позволяют трогать существенные вопросы. Всякая критика запрещена. Непременное требование идеологии лишает возможности объективно отражать быт и жизнь».

В 1940 году по этому вопросу ЗОЩЕНКО говорил:

«Я совсем не знаю, о чем я должен и могу писать, напишешь резко — не пропустят, а написать просто — мне трудно. Я вижу сплошные неполадки вокруг... Рабочие и служащие не заинтересованы в своей работе, да и не могут быть заинтересованы, так как для этого им должны платить деньги, на которые они могли бы существовать, а не прикреплять их к работе... Вообще, впечатление такое, точно мозг

всех учреждений распался, так как большинство хороших руководящих работников изъято, а новых нет».

В 1942 году, во время наступления немецких войск, ЗОЩЕНКО высказывал неверие в победу Советского Союза в войне с Германией.

В 1943 году ЗОЩЕНКО была написана книга «Перед восходом солнца», в которой показал советскую действительность в вульгарно-бытовых тонах. Советские люди изображены им как нравственно уродливые, мелкие и корыстные. Это произведение было осуждено литературной критикой и общественностью как идеологически вредное.

ЗОЩЕНКО М. М. считал, что критика и осуждение его повести «Перед восходом солнца» были направлены не против книги, а против него самого.

«Мне было ясно дано понять, что дело здесь не только в повести. Имела место попытка “повалить” меня вообще как писателя, так как вся моя писательская работа, а не только повесть “Перед восходом солнца”, была осуждена “вверху”».

ЗОЩЕНКО рассказывал, что его повесть, якобы, вызвала всеобщее восхищение. ее одобряло руководство Союза Советских писателей; академик СПЕРАНСКИЙ и психиатр ТИМОФЕЕВ согласились с «научными» выводами ЗОЩЕНКО. Некоторые работники аппарата ЦК ВКП(б) разрешили ее печатать, а во время «проработки» большинство этих лиц «продали» его и выступили против книги.

В этой связи ЗОЩЕНКО давал следующую оценку состояния советской литературы:

«Я считаю, что советская литература сейчас представляет жалкое зрелище. В литературе господствует шаблон. Поэтому плохо и скучно пишут даже способные писатели. Нет зачастую у руководителей глубокого понимания задач искусства».

«Творчество должно быть свободным, у нас же — все по указке, по заданию, под давлением».

По вопросу о своих планах на будущее ЗОЩЕНКО заявляет:

«Мне нужно переждать. Вскоре после войны литературная обстановка изменится и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я буду снова печататься. Пока же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит».

В 1944 году ЗОЩЕНКО возвратился в Ленинград на постоянное местожительство. Здесь им был написан цикл рассказов «О войне», по содержанию политически ошибочных. Внешне подчеркивая стремление перестроить свое творчество на актуальные темы, ЗОЩЕНКО продолжает писать и выступать перед слушателями с произведениями, отражающими его пацифистское мировоззрение (рассказы «Стратегическая задача», «Щит» и др.).

Творчество ЗОЩЕНКО в последний период времени ограничивается созданием малохудожественных комедий, тенденциозных по своему содержанию: «Парусиновый портфель», «Очень приятно».

В настоящее время ЗОЩЕНКО продолжает критиковать строгость

цензурного режима, отсутствие условий для подлинного творчества. ЗОЩЕНКО имеет довольно обширный круг связей среди писателей Москвы и Ленинграда.

По Ленинграду близок с писателями СЛОНИМСКИМ, КАВЕРИНЫМ, Н.НИКИТИНЫМ (бывшими членами литературной группировки «Серapiroновы братья»).

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

2-го ГЛАВ. УПРАВ.

МГБ СССР

ШУБНЯКОВ

«10» августа 1946 года

Ф. 17. Оп. 125. Д. 460. ЛЛ. 18–21. Машинописный текст. Подпись -- автограф Шубняка. Исторический архив. 1992. № 1. С. 137–139.

[Протокол беседы М.М.Зощенко с агентом НКГБ

20 июля 1944 г.].

25.VII–44 г.

Во время беседы М.М.Зощенко 20.VII.–с. г., ему был поставлен ряд вопросов, ответ на которые дает представление о его настроениях и взглядах.

1. Каковы были причины первого выступления против вашей повести «Перед восходом солнца»?

Ответ: «...Мне было ясно дано понять, что дело здесь не только в повести. Имела место попытка “повалить” меня вообще, как писателя».

2. Кто был заинтересован в этом? Ваши литературные враги?

Ответ: «...Нет, тут речь могла идти о соответствующих настроениях “вверху”. Дело в том, что многие мои произведения перепечатывались за границей. Зачастую эти перепечатки были недобросовестными. Под рассказами, написанными давно, ставились новые даты. Это было недобросовестно со стороны “перепечатчиков”, но бороться с этим я не мог. А так как сейчас русского человека описывают иначе, чем описан он в моих рассказах, то это и вызвало желание “повалить” меня, так как вся моя писательская работа, а не только повесть “Перед восходом солнца”, была осуждена “вверху”. Потом в отношении ко мне был поворот».

3. Как вы относитесь к статье Еголина, напечатанной в «Большевике»?

Ответ: «...Считаю ее нечестной, т. к. Еголин в отношении моей повести — до критических выступлений печати — держал другого взгляда. Юнович (ред. “Октября”) может подтвердить это. Еголин одобрял повесть. Когда ее начали ругать, Еголин струсил. Он боялся, что я “выдам” его, рассказав о его мнении на заседании президиума Союза Писателей, где меня ругали. Видя, что я в своей речи не “выдал” его, Еголин подошел ко мне после заседания и тихо сказал: “Повесть хорошая»».

4. Говорили ли вы кому-нибудь впоследствии о поведении Еголина?

Ответ: «Говорил Поликарпову».

5. Как отнесся к вашим словам Поликарпов?

Ответ: «Он необычайно заинтересовался моими словами, сказал, что у него есть и другие материалы, подтверждающие мои слова и свидетельствующие о том, что некоторые партийные руководящие работники проводят неправильную линию. Поликарпов потребовал, чтобы я напи-

сал об этом, подал заявление о поведении Еголина».

6. Зачем он потребовал от вас письменного заявления?

Ответ: «Он сказал, что перешлет его Щербакову».

7. Подали ли вы это заявление?

Ответ: «Нет, мне стало жаль Еголина».

8. Настаивал ли все-таки Поликарпов на подаче заявления?

Ответ: «Он кричал на меня, требуя подать заявление, но я этого не сделал».

9. Как вы намерены держать себя в отношении Еголина?

Ответ: «Я напишу повесть, в которой расскажу всю историю своей повести “Перед восходом солнца”. В этой повести я выведу Еголина — и выведу во всей неприглядности его поведения».

10. Узнает ли он себя в этой повести?

Ответ: «Бесспорно узнает, так как я обо всем напишу откровенно».

11. Были ли еще примеры такой двурушнической оценки вашего произведения?

Ответ: «Были. В частности, могу назвать Шкловского — Булгарина нашей литературы — до “разгрома” повести он ее хвалил, а потом на заседании президиума Союза ругал. Я его обличил во лжи, тут же на заседании».

12. Как оценивает вашу повесть Тихонов?

Ответ: «Он хвалил ее. Потом на заседании Президиума объяснил мне, что повесть «приказано» ругать и ругал, но ругал не очень зло. Потом, когда стенограмма была напечатана в “Большевике”, я удивился, увидев, что Тихонов меня так жестоко критикует. Я стал спрашивать его, чем вызвана эта “перемена фронта”? Тихонов стал “извиняться”, сбивчиво объяснил, что от него “потребовали” усиления критики, “приказали” жестоко критиковать, — и он был вынужден критиковать, исполняя приказ, хотя с ним не согласен».

13. Как вы расцениваете снятие ваших рассказов в «Ленинграде»?

Ответ: «Объясняется все тем, что в Ленинграде все делают с оглядкой на Москву».

ПРИКАЗ № 42/1629с

УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА

МИНИСТРОВ СССР ПО ОХРАНЕ ВОЕННЫХ

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ

27 августа 1946 г.

г. Москва СЕКРЕТНО

§ 1.

Изъять из книготорговой сети и библиотек общественного пользования следующие книги:

Зошенко М.М. — Рассказы. Изд. «Правда», Москва, 1946 г. 46 стр. Тираж 100 000 экз.

Его же — Избранные произведения, 1923—1945 г. Гослитиздат, Ленинград, 1946 г. 660 стр. Тираж 30 000 экз.

Его же — Фельетоны, рассказы, повести. Изд. «Лениздат», г. Ленинград, 1946 г. Тираж 10 000 экз.

ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО

Чтобы в какой-то мере понять глубинную природу «явления Зощенко», вспомним его рассказ «Пациентка». В больницу за тридцать верст приезжает крестьянка Анисья. Ничем, как выясняется, она не больна, хоть и каждая косточка, говорит она, в ней ноет и трясется, а «сердце гниет заживо». Фельдшеру-то она и рассказывает про свои терзания. Муж, говорит, у нее грамотный, в штиблетах ходит, с городскими комсомолками разговаривает, — а я как есть неграмотная, ни подписаться не могу, ни дробей не знаю. И как жить теперь? Как быть?

Узнаете? Конечно же, она, «Тоска». Тоска, причина которой, пусть несравнимая с той, чеховской, но тоже не так уж мала, ибо она — человеческая. А человеку надо с кем-то поговорить, кому-то поплакаться. Тут хоть к фельдшеру поедешь, хоть к забору прислонишься, хоть лошади пожалуешься.

Эту женщину, неграмотную, одинокую, которая нутром чувствует, что суждено ей остаться одной, поскольку муж-то в начальство вышел, — эту женщину надо было просто пожалеть. Зощенко часто оканчивает свои куда как невеселые истории какой-то отдушиной, просветом, но обманываться на сей счет не стоит. «Пациентка» кончается добрым советом фельдшера — иди, Анисья, к учителю, не туда ты обратилась, — и вздохом... Вздох, по всей вероятности, уже не фельдшерский, — зощенкоковский вздох.

И если попытаться его, так сказать, прокомментировать, то в нем смешалось все — и жалость, и старая интеллигентская закваска, которую не спрячешь ни за какими простонародными словами, ни за

какой маской, закваска вековая, все равно не позволяющая хоть в чем-то народ обвинять, и спокойная, грустная мудрость...

Вот этот-то сложнейший комплекс эмоций и страданий и лежит в основе его неподражаемой прозы — Зошенко вышел к народу прежде всего с глубочайшим сочувствием, и им-то и определялись острота ее, накал, ее страстность. Искра высекалась именно здесь — на столкновении страдания с болью, юмора с сарказмом, безнадежности с несомненной надеждой, что, дай Бог, опомнится человек, увидит себя без прикрас, ужаснется — и хоть немного прозреет. Без такой веры подлинного творчества не существует.

Это и было «энергией заблуждения» Зошенко. Причем в сочетании этом одинаково важны оба слова. Энергия — да, она сделала рассказы Зошенко ~~небывало~~ динамичными, страстными, держащими читателя в напряжении от первого до последнего слова. Но — заблуждения. Потому что обыватель, взращенный и выпестованный советской эпохой, черты которого с таким мастерством уловил и передал писатель, чувствовал себя в этой уродливой атмосфере, как рыба в воде. Над типами Зошенко и над его словечками он искренне хохотал (как всегда хохотали сидевшие в первых рядах партера советские чиновники — любители и ценители бессмертного таланта Аркадия Райкина), ему явно хотелось пошевелить лицевыми мускулами после сытного обеда, — но — прозреть? Увидеть себя? Да Бог с вами! Пусть дальше наяривает — ишь, как ловко у него получается! Давай, сатирик, весели!

Верится ли всерьез, что мудрец и провидец Зошенко этого не понимал? Но — шел, но — продолжал рассказывать, проповедовать, учить, ибо все-таки надеялся, хотел быть мало того что услышанным, — он хотел хоть какую-то струну в читателях зацепить, задеть.

Видимо, натуре русского интеллигента суждено оставаться таковой даже в самых распечальных обстоятельствах.

В принципе, рассказы Зошенко есть в основе своей подлинная и горячая проповедь. Таковы они и по замыслу своему, и по строю, и даже по языку. Знаменитый зошенковский «сказ» — это, как заметил еще Ю.Тынянов, есть попытка ввести в литературу читателя. «Сказ делает слово физиологически ощутимым, — писал Ю.Тынянов, — читатель играет рассказ». Как превосходно осознавал Зошенко, тот читатель, который хлынул в города из разоренных деревень (но который — повторю еще раз — и грабил не так давно усадьбы, включая Шахматово), который в недавнее время читал разве что «милорда глупого», но отнюдь не по причине нерасторопности коробейника, — этот читатель, само собой разумеется, отвернулся бы от чистого, дистиллированного («господского») языка, какие свехрправильные вещи им ни излагай. А вот «нарушаешь беспорядок» — это он, безусловно, поймет, как и то, что это «нарушение беспорядка» есть «курская аномалия». Что-то он про эту аномалию слышал!.. «Раздаются крики,

возгласы и дамские слезы», — это тоже из круга его понятий, на его языке. И то, что «рыло» и «морда», как терминология самая ходовая, превосходно сочетаются в этой лексике с «ситуацией», «элементом» и «самокритикой» — тоже для мира зощенковских героев, мира его народа есть не просто удивительная вещь, но вещь вполне обыденная. Поскольку, повторяю, другого языка и другого мышления в том мире не существует, другой будет непонятен, чужд, «учен». А этот, вдобавок ко всему, еще и уморительно смешон. Такой словопорядок удивителен и интересен для интеллигента, который, конечно же, моментально отметит фантастичность его и вопиющее уродство. Ибо в его сознании всегда присутствует языковая норма.

Интеллигенту и эстету, разумеется, не запрещено восторгаться мастерским воспроизведением этого синтаксиса и этой чудовищной морфологии, как и изыскивать их корни и истоки. Но, констатируя прозу Зошенко как крайне любопытный литературный факт, имеющий совершенно определенного адресата — неразвитого читателя, языковеда и критики упустили из вида важнейшее обстоятельство: то, что художник, превосходно сознающий безликость и бездушность «обновленной» России, ее каждодневный ад, все равно туда вновь и вновь спускался. Все равно он на что-то надеялся, во что-то верил, — вопреки тому, что сам же и изображал, безыллюзорно видя дрянность человеческой природы. Уж не современного ли Ноздрева он надеялся перевоспитать, не из Коробочки ли сделать личность?.. Глубокая внутренняя трагедия писателя — она лежала именно здесь, в самом замысле: пойти с нравственной проповедью в ад, отдать себя на закланье; и всем известный «август 1946-го» был, по существу, вполне закономерен. Ведь жестокая жизнь лишила отечественных творцов даже той иллюзии, которой подвержены были когда-то на вершине своего творчества Гоголь, Достоевский, Толстой, — иллюзии найти правду в низинах народной жизни. Зошенко не ищет там правду: он, заговоривший на языке «революционной России» и надевший на себя личину хама и обывателя, вновь и вновь пытается обратиться этот несчастный народ к нравственности. Побудить его выслушать некую проповедь — в необычной, доступной всем форме, форме внешне несложной, однако не такой уж и простой.

Стоит внимательно посмотреть на любой рассказ Зошенко, чтобы увидеть, насколько тверд в нем нравственный стержень. Как высока его мораль, просвечивающая сквозь все «авось» и «надясь». Зошенко пытается разъяснить, насколько уродливо отношение к женщине, как к домашней скотине, которую в дом берут только для того, чтобы работать по хозяйству, — стало быть, «скотина» должна быть без «дефектов» («Жених»); но обратите внимание, кто рассказывает эту трагикомическую историю... Этот рассказчик совершенно идентичен герою, злосчастному «жениху», — одинаковы мораль (точнее, амо-

ральность), одинаковы нравственные побуждения. Зошенко пытается разъяснить, что непомерная жадность бессмысленна, уродлива, — и рассказывает историю, как герой требует отдать ему даже... разбитый стакан, если за него уплачено («Стакан»). Даже «Баня», десятилетиями воспринимавшаяся как рассказ сугубо юмористический и «обличительный», есть безыскусный монолог несчастного нашего соотечественника, которого и унижить-то легче всего тогда, когда он, как говорится, остается «без ничего». Оно, с одной стороны, куда как смешно, обхохочешься, а с другой — голому человеку от унижения и спрятаться-то некуда; кругом, пишет автор, «живот да ноги».

И рассказывает «Банию», как мы помним, человек, искренне убежденный, что в Америке-то уж бани общественные — наиотличнейшие! И воровать там не воруют (подумайте только!), и подштанники залатают.

Кстати, знаменитая «Голубая книга», в которой Зошенко сделал попытку представить чуть ли не всю мировую историю в кратких рассказах, рождена той же сжигавшей его потребностью объясниться с читателем напрямую, сделать основные нравственные понятия зримыми, конкретными. Книга, как известно, написана характерным для Зошенко языком, с массой лингвистических вывертов (и, между прочим, языком, почти не отличимым от того, каким он писал свои детские рассказы. Писатель не строил иллюзий относительно инфантильной природы неразвитого читателя). Своим неподражаемым голосом Зошенко заставляет говорить в «Голубой книге» всех исторических героев — от Александра Македонского до Екатерины II. Б.Сарнов усматривает здесь следы воздействия неизменного зошенковского героя, под взглядом которого «весь мир преобразуется в заплывшую и жалкую коммунальную квартиру» (а также то, что писатель, как пишет исследователь, явно разочаровался в возможности интеллигенции хоть как-то повлиять на народ).

Думается, что, при всей верности этого наблюдения, перед нами все же более сложный случай. Во-первых, Зошенко с помощью этого героя (в которого опять же играет новый читатель, как сказал Ю.Тынянов) вновь и вновь, сильнее, страстнее, хочет задеть этого читателя, заставить его содрогнуться, ужаснуться, опомниться. Он прибегает к такому сильнейшему инструменту, как трагическая мировая история, — и все с той же своей неизменной целью. Целью проповеднической. Он рассказывает о коварстве Екатерины, заставившей графа Орлова сначала настойчиво ухаживать за княжной Таракановой, а потом арестовать ее, беременную, и Екатерина, разговаривающая в его рассказе, как стопроцентная обитательница коммуналки, — «Я сама еще интересуюсь царствовать», — говорит так прежде всего потому, что только такой язык, упрощенный, вульгаризированный и с «вывертом», будет понятен основному его читателю. Только такой его затронет. Его Тиберию, задумавшему поговорить со своими подданными-больными, один

из начальников говорит: «собрали их всех в саду-с. Чтоб, так сказать, вам не трепаться по разным учреждениям», — то есть говорит типичным воляпюком, рожденным в советских учреждениях, а казалось бы, отнюдь не в римских.

И если это действительно всемирная коммуналка, то потому, что все мировоззрение советского обывателя простиралось в границах, начертанных ею, ее неписаным моральным кодексом. И разъяснить читателю, что такое добро и зло, можно было, конечно же, только в ее пределах.

А во-вторых... Во-вторых, этот прием волшебным образом обнаружил истинную подоплеку массы событий мировой истории. Он ее, так сказать, обнажил, — во всей ее истинной сущности. Нравы политической кухни что Римской, что Российской империй и впрямь подчас мало чем отличались от нравов кухни коммунальной. Кто читал исследования историков новейшего времени (Эйдельмана, Анисимова, Гордина), тот увидел, что исторический гротеск Зошенко нет-нет да и обращивался горьким реализмом. Когда же государством стали управлять кухарки (слово «учиться» из ленинской формулы «учиться управлять» последователи Ленина как-то незаметно потеряли), эта закономерность была возведена в квадрат, куб и $N + 1$ -ю степень. А в недавние дни она вышла из-под земли на поверхность, как избыточная горная порода, как вагоны «подземки» на новых московских и питерских линиях. В чем мы воочию убедились как телезрители. Да, провидцами являли себя наши классики в веках минувшем и нынешнем...

Зошенко отлично сознавал, что коммунальная кухня — не только апофеоз советского абсурда. Она сама — суть советского мировоззрения, венец его бездушия, элемент одновременно и воспитательный, и воспитывающий. Психология коммунальной квартиры на долгие-долгие годы пережила ее обитателей.

...Когда размышляешь над смыслом и идеей нравственной заповеди Зошенко — заповеди, неподражаемой по своей доступности, отчетливости, ясности и одновременно сложности, — приходишь к выводу, сколь много в ней общего с заповедью евангелической, тоже обращенной в первую очередь не к праведникам, а к грешникам. Недаром в Евангелии сказано: «Я пришел не праведников, но грешников призвать к покаянию». К кому направлен шаг Мессии в великой картине А.Иванова «Явление Христа народу»? К ним. К грешникам. К фарисеям и римским воинам, но не к апостолам...

Нет, прекрасный писатель, чистейший человек, провидец Михаил Зошенко, разумеется, не был святым. Речь идет всего лишь о направленности его нравственной проповеди. А нравственность воспитана веками христианства. Не потому ли своих проповедников, носителей чистейшей совести и чести, толпа издавна была, поносила и распинала? Ведь именно с подобной истории началась наша эра.

Одно можно утверждать бесспорно. То, что Зошенко, хотя моральные его уроки весьма часто били мимо цели, с предельной отчетливостью и выпуклостью отобразил и передал черты страшного мира безличия, бездушия, безнравственности. Ведь если поступки человека обусловлены исключительно обстоятельствами, случаем, если в основе его натуры лежит пустота, — мир, населенный такими людьми, катастрофичен. Он лишен изначального нравственного стержня. Люди в таком мире не уважают ни себя, ни друг друга, поступки их аморальны, бессердечны. А раз так, значит, качнись весы истории — и вновь окажутся выпущены на волю злые российские духи, вновь обострятся старые болезни. Ведь все это возможно лишь на одной почве — на почве мертвой человеческой души.

Евгения ЩЕГЛОВА

РАСПЯТОЕ СЛОВО. ДОКУМЕНТЫ

Мы дожили до такого времени, когда действия политической цензуры перестали быть секретом и суть ее, деяния ее, скрытые в документах высших органов Компартии, стали обнаженными.

Прежде всего — если дело касается литературы — это относится к тому, что щедро творило УПА — Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Бумаги, которые хранились под грифом «Совершенно секретно», стали наконец достоянием исследователей. Открылись для общества.

Теперь мы можем видеть и знать, как и что решалось, и не только в высоких партийных сферах, но и в тиши кабинетов «литвождей» на улице Воровского, 52, — кто из советских писателей мог быть удостоен звания «черный», а кто — звания «белый». Читаем письмо, адресованное в ЦК партии, члену Политбюро А.Андрееву.

А.А.Фадеев, П.А.Павленко — А.А.Андрееву
[ранее 26 июля 1939 г.]

Дорогой Андрей Александрович!

Мы не включили в списки для награждения следующих крупных писателей, в политическом лице которых сомневаемся. Оставляем их на рассмотрение ЦК:

Бабель Исаак Эммануилович
Пастернак Борис Леонидович
Олеша Юрий Николаевич*
Эренбург Илья Григорьевич

С коммунистическим приветом
А.Фадеев П.Павленко]

* Правильно — Юрий Карлович.

Ф. 17. Оп. 121. Д. 1. Л. 38. Автограф А.А.Фадеева, подпись — автограф П.А.Павленко.

Читаем и то, что за этим письмом следует:

Проект письма [А.А.Андреева] — И.В.Сталину
[ранее 26 июля 1939 г.]
В ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ.

Направляю Вам проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении советских писателей, внесенных в ЦК т. т. Фадеевым и Павленко. Список представленных к награждению писателей был просмотрен т. Берия. В распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы на следующих писателей:

Инбер В.М.
Исаакян А.С.
Бергельсон Д.Р.
Голодный М.С.
Светлов (Шейнсман) М.А.
Асеев Н.Н.
Бажан Н.П.
Катаев В.П.
Якуб Колас
Янка Купала
Маршак С.Я.
Новиков-Прибой А.С.
Павленко П.А.
Погодин (Стукалов) Н.Ф.
Тихонов Н.С.
Бахметьев В.М.
Лаврентьев Б.А.
Леонов Л.М.
Мосашвили И.О.
Панферов Ф.И.
Рыльский М.Т.
Сейфуллина Л.Н.
Толстой А.Н.
Федин К.А.
Шагинян М.С.
Шкловский В.Б.
Бровка П.У.
Герасимова В.А.
Каменский В.В.
Луговской В.А.
Сурков А.А.

Просмотрев совместно с тов. Берия эти материалы, считаю, что Инбер В.М., Исаакян А.С., Бергельсон Д.Р., Голодный М.С. и Свет-

лов (Шейнсман) М.А. должны быть отведены из списка к награждению, как по характеру компрометирующего материала. так и потому, что за последние годы их вес в советской литературе был совершенно незначительным.

Из материалов на остальных перечисленных мной писателей заслуживают внимания материалы, компрометирующие писателей Новикова-Прибоя, Панферова Ф., Толстого А., Фебина К., Якуба Коласа, Янку Купала, Сейфуллину, Рыльского, Павленко. Необходимо отметить, что ничего нового, неизвестного до этого ЦК ВКП(б), эти материалы не дают.

Что касается остальных кандидатур к награждению, компрометируемых в той или иной степени материалами НКВД, считаю. что они могут быть награждены, имея в виду их значение и работу в советской литературе.

Ф. 17. Оп. 121. Д. 1. ЛЛ. 39—40. Машинописный текст.

Комментариев не требуется...

Постоянное грубое, беззастенчивое и циничное вмешательство в творческий процесс и Сталин, и Жданов, и весь хор их приспешников считали нормой в практике «руководящих органов».

А.М.Еголин, заведующий отделом художественной литературы Управления пропаганды и агитации ЦК партии — секретарю ЦК Г.М.Маленкову.

...В Ленинградском литературно-художественном журнале «Звезда» печатался ряд стихотворений местных поэтов: Владимира Лившица, Михаила Дудина, Всеволода Рождественского, Ольги Берггольц, проникнутых мотивами страдания, смерти, обреченности. Так, в № 3 журнала «Звезда» за 1944 г. было напечатано стихотворение В.Лившица* «Противотанковый ров»:

Во рву, где закончена стычка,
Где ходят по мертвым телам,
Из трупов стоит перемычка
И делит тот ров пополам.

И пули на воздухе резком,
Как пчелы, звеня без числа,
С глухим ударяются треском
В промерзшие за ночь тела...

Не встав при ночной перекличке,
Врагам после смерти грозя,
Лежат в ледяной перемычке
Мои боевые друзья!

* Так в тексте фамилия поэта Владимира Лившица.

В обнимку лежат они. Вместе
Стучит по телам пулемет...
Я тоже прошу этой чести,
Когда подойдет мой черед!

Чтоб ночью по рву пробираясь,
Ты смог изготовиться в бой,
Чтоб ты уцелел, укрываясь
За мертвой моею спиной (стр. 38).

Другой поэт. М. Дудин, во вступлении к поэме «Костер на перекрестке» (журнал «Звезда», № 1, 1944 г.) размышляет о нашей советской молодежи, ее судьбах в дни Отечественной войны. Он рисует мрачную безысходную картину:

На косогор взбирается тропа,
В сырой траве желтеют черепа,
Чертополохом заросли окопы,
В воронках рваных ржавая вода, —
Здесь юности печальной навсегда
Переплелись и оборвались тропы...

Я знаю все. Я ел солдатский хлеб.
Я видел столько горя. Я ослеп.
Я разучился в воскресенье верить.
Гнилую накипь желчи и тоски
До гробовой неструганой доски
Мне никакую меркой не измерить.
Друзья мои, товарищи мои!
Для вас уже окончились бои!
Вы рассчитались полностью. Вы квиты.
Лишь совесть говорит мне: «Не туши
Горячий свет обугленной души,
Ты здесь один». Плакучие ракиты
Не шелестят листвою среди могил
О, как мне этот тихий воздух мил!
И я его покоя не нарушу! (стр. 15).

Теми же настроениями проникнуто и стихотворение молодого поэта А. Межирова «На рубежах», посвященное блокаде Ленинграда (журнал «Знамя», 1945 г. № 5 — 5). А. Межиров утверждал в этом стихотворении, что во время Отечественной войны:

Из Леты выплыли обрывки слов,
таких,
как «проституция,
туберкулез,
блокада...»

Как писал Александр Твардовский: «Тут ни убавить, ни прибавить». Нужно только вспомнить замечательные точностью и правдивостью слова, сказанные Михаилом Шолоховым в 1958 году на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс»: понятие так называемого «социалистического реализма» сводилось к тому, чтобы «писать простым, понятным художественным языком для советского правительства».

Для органов партийной пропаганды колебимым было правило: литературой требуется управлять. И ею управляли. Как лошадью. Идеологический контроль должен был крепко держать в своих руках вожжи цензуры, а в сущности — неограниченного произвола. Писать следовало, повинуюсь «указаниям» и «рекомендациям». Пошлость, издевка, мещанская тупость не знали при этом никаких границ. Читаем:

Оргсекретарь Правления Союза писателей СССР,
ранее — первый заместитель начальника
Управления пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) Д.А.ПОЛИКАРПОВ —
В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ»
24 декабря 1945 г.

Я ознакомился с рукописью В.Пановой «Спутники» («Санитарный поезд»), принятой вами для опубликования; кажется, в первом номере журнала в 1946 г.

Считаю это произведение ошибочным, искажающим действительную картину быта и семейной жизни советских людей.

В романе В.Пановой преобладают мелкие люди, запутавшиеся в семейно-бытовых неурядицах. По существу говоря, все это — несчастные люди, у которых война выбила почву из-под ног. Намеченная автором галерея персонажей представляет собой убогих в духовном отношении людей.

Публикация произведений в таком виде была бы грубой ошибкой. Я категорически возражаю против опубликования романа В.Пановой и настаиваю на проведении специального заседания редколлегии с участием автора и моим заявлением об этом произведении.

Д. Поликарпов

24.XII.—45 г.

Ф. 17. Оп. 125. Д. 459. Л. 2. Заверенная машинописная копия.

Примечание:

1. На документе надпись [Г.М.Маленкова]: «Мало соблаговолить разрешить печатать хорошее произв[едение]. От руков[одителя] требуется больше! Менее любовное отношение к тому, что не в стихах написано».

Бессмысленное речение.

Для господ «вождей» творческий процесс мыслился как сочетание определенных правил, инструкций, запретов и предписаний. И не дай Бог нарушить их, отступить от них.

Литературный процесс приказано было втиснуть в железные рамки марксистской идеологии. Только так и не иначе.

Г.Ф.Александров, А.М.Еголин — А.А.Жданову

7 августа 1946 г.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) товарищу ЖДАНОВУ А.А.

О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЖУРНАЛОВ
«ЗВЕЗДА» И «ЛЕНИНГРАД»

...В номерах журнала за 1946 год произведения В.Рождественского, И.Авраменко, Рахманова всячески расхваливаются и поднимаются на щит, и в то же время такое произведение, как «Ленинградский дневник» В.Инбер, подверглось грубому осмеянию (№ 13—14 за 1945 год, пародия А.Флита).

О недостатках в журналах «Звезда» и «Ленинград» было в печати опубликовано несколько критических статей (журн. «Знамя» № 11 за 1945 г., № 2—3 за 1946 г., «Литгазета» за 8 сентября 1945 г.). Однако и после первых сигналов качество журналов не улучшилось, что указывает на неспособность редакций «Звезды» и «Ленинграда» справиться с возложенными на них задачами.

Правление Союза советских писателей СССР и Ленинградское отделение ССП отдали журналы на откуп группе литераторов, не руководили их работой и не оказывали им никакой помощи.

Ленинградский горком ВКП(б) не уделяет достаточного внимания литературно-художественным журналам, не замечает крупных идейных ошибок в содержании произведений, опубликованных в «Звезде» и «Ленинграде», не руководит работой редакций.

Необходимо утвердить новый состав редакционной коллегии журнала «Звезда», способной коренным образом улучшить работу журнала.

Что же касается журнала «Ленинград», то дальнейшее его существование следует признать нецелесообразным.

Проект постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» прилагается.

7.VIII.46 г.

Г.Александров

А.Еголин

Почему же и для чего нужен был такой контроль за «опасными мыслями»?.. Ответ может быть лишь один: неуверенность в своих идейных позициях, в сути и канонах государственного строительства. Страх перед массами, постоянное опасение того, что «вдруг» они прозреют и сбросят власть партийных бояр от марксизма.

Впрочем, наиболее прозорливые и просвещенные деятели партии понимали всю нелепость такого грубого, неприкрытого контроля над литературой. В 1924 году Николай Бухарин иронично задавал партаппаратчикам вопрос: «Какое Политбюро от дворянства давало директивы Пушкину, когда он писал стихи?».

Чувства, мысли, глубоко интимные, годами созревшие в душе

творца, прозаика, поэта, артиста, художника, композитора, — подвергались издевательскому осмеянию на страницах послушной партийной прессы. Их уничтожили духовно, а их создателя — физически.

И командовал этим тот, о ком угодливо вещали: «Сталин — это Ленин сегодня».

Стенограмма заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) по вопросу
«О журналах «Звезда» и «Ленинград»».
9 августа 1946 г.

С Т Е Н О Г Р А М М А
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО ЦК ВКП(б)
ОТ 9.VIII—1946 г.

САЯНОВ. (Начало не стенографировалось.) Вина моя большая, что я, очевидно, не понял, насколько к нашему журналу приковано внимание партии и страны.

СТАЛИН. Этот ваш журнал для детей издается?

САЯНОВ. Нет.

СТАЛИН. У вас перед заграничными писателями ходят на цыпочках. Достоин ли советскому человеку на цыпочках ходить перед границей. Вы поощряете этим низкопоклонные чувства, это большой грех.

ЛИХАРЕВ. Напечатано много переводных произведений.

СТАЛИН. Вы этим вкус чрезмерного уважения к иностранцам прививаете. Прививаете такое чувство, что мы люди второго сорта, а там люди первого сорта, что неправильно. Вы ученики, они учителя. По сути дела неправильно это.

ЛИХАРЕВ. Я хочу только одно отметить...

СТАЛИН. Говорите позубастее. Вы что смешались или вообще согласны с критикой?

ЛИХАРЕВ. Сейчас попробую.

СТАЛИН. Что попробуете, надо сильнее говорить.

ЛИХАРЕВ. «В Севастополе» Сельвинского есть вывод, он вспоминает свою юность в Севастополе, вспоминает девушку, которую там видел, которая назвала его милым. Это ему запомнилось на всю жизнь. Вот его стихотворение.

СТАЛИН. Это уловка.

ЛИХАРЕВ. Я люблю наш журнал и мне хочется, чтобы этот журнал сохранился.

СТАЛИН. Журнал должен руководить писателями или он должен плестись в хвосте у них?

ЛИХАРЕВ. Должен руководить.

СТАЛИН. Руководить может или нет?

ЛИХАРЕВ. Он должен и будет.

СТАЛИН. Пока не выходит этого.

ЛИХАРЕВ. Я хотел заверить товарищей, что можем это делать, если

нам доверят. Со следующего номера журнал будет иным. У меня есть вещи по-новому осмысленные, но ведь нам не так легко работать.

СТАЛИН. Вы хотите, чтобы все было по-хорошему. Я это вижу. Но надо суметь сделать, чтобы все было по-хорошему.

ЛИХАРЕВ. Необходимо сделать.

СТАЛИН. Да, необходимо сделать.

ЛИХАРЕВ. Оставить город без журнала очень больно. Мы должны сохранить его. Остаться без журнала этого нельзя.

СТАЛИН. Все требуют, чтобы мы улучшили качество продукции: ширпотреба, металла и прочее. Однако следует, чтобы лучшие произведения печатались, на качество хотим нажать.

СТАЛИН. Кто у вас Янгфельд, ленинградец?

ПРОКОФЬЕВ. Я не знаю, он недавно в Союзе писателей.

СТАЛИН. Вам что, нравятся его произведения, можно поставить на сцене их?

ПРОКОФЬЕВ. Когда я их читал, я считал, что это романтические произведения.

СТАЛИН. Это детские произведения, это не оформившийся писатель, а школьник. Вы должны, чтобы на ваш журнал смотрели и учились у него.

ПРОКОФЬЕВ. Очевидно, у нас не хватало и вкуса.

СТАЛИН. И произведений, видимо, не хватало, чтобы помещать, вот вы и вывалили в одну кучу.

ПРОКОФЬЕВ. Журнал у нас не мусорная куча, мы хотим, чтобы наш журнал был достоин нашего города, но, очевидно, не получилось этого.

СТАЛИН. Материала, видимо, не хватает, и поэтому, видимо, в «Звезде» иногда появлялись замечательные вещи, прямо бриллианты, а наряду с бриллиантами — навоз.

...Насчет журнала «Ленинград» ничего не расскажете?

ПРОКОФЬЕВ. Журнал «Ленинград» имеет большие традиции. Он возник из журнала «Резец», этот журнал был органом рабкоровским и из него впоследствии стал журналом «Ленинград». Мы его мыслили как массовый журнал, журнал, который должен ориентироваться на короткий рассказ, в частности, редакция журнала допускала, когда из больших произведений выбирались куски.

СТАЛИН. Вы это одобряете?

ПРОКОФЬЕВ. Нет. Союзу советских писателей надо обратить внимание на рассказ. Жанр рассказа у нас очень не в большом почете у писателей. Мы обсуждали оба журнала наших в Союзе писателей не раз и не два, но критика наша не была столь суровой как сейчас. Очевидно, у нас опять не хватает мужества в ряде случаев сказать правду, имея в виду, что люди, с которыми мы работаем, они находятся рядом с нами и будут обижены, а обида эта не прощается во веки веков. У нас некоторые очень болезненно обиды принимают.

СТАЛИН. Мнительные и чувственные люди?

ПРОКОФЬЕВ. Да, и даже иногда небольшая критика оставляет глубокую царапину.

СТАЛИН. Этого бояться не следует. Как же иначе людей воспитывать без критики.

ПРОКОФЬЕВ. Критика была, но она не была такой действенной.

СТАЛИН. Боялись, что обидно будет. Обиды бояться нельзя.

МАЛЕНКОВ. И обиженных приютили. Зощенко критиковали, а вы его приютили.

ПРОКОФЬЕВ. Тогда надо обратить внимание на другое. Сейчас у Зощенко третья комедия идет.

СТАЛИН. Вся война прошла, все народы обливались кровью, а он ни одной строки не дал. Пишет он чепуху какую-то, прямо издевательство. Война в разгаре, а у него ни одного слова ни за, ни против, а пишет всякие неблизки, чепуху, ничего не дающую ни уму, ни сердцу. Он бродит по разным местам, суется в одно место, в другое, а вы податливы очень. Хотели журнал сделать интересным, и даете ему место, а из-за этого вам попадает, и не могут быть напечатаны произведения наших людей. Мы не для того советский строй строили, чтобы людей обучали пустаковине.

...Относительно стихов. Я считаю, что не является большим грехом, что были опубликованы стихи Анны Ахматовой. Эта поэтесса с небольшим голосом и разговоры о грусти, они присущи и советскому человеку.

СТАЛИН. Анна Ахматова, кроме того, что у нее есть старое имя, что еще можно найти у нее?

ПРОКОФЬЕВ. В сочинениях послевоенного периода можно найти ряд хороших стихов. Это стихотворение «Первая дальнобойная» о Ленинграде.

СТАЛИН. 1—2—3 стихотворения и обчелся, больше нет.

ПРОКОФЬЕВ. Стихов на актуальную тему мало, но она поэтесса со старыми устоями, уже утвердившимися мнениями и уже не сможет, Иосиф Виссарионович, дать что-то новое.

СТАЛИН. Тогда пусть печатается в другом месте где-либо, почему в «Звезде»?

* * *

Что же еще содержится в литературно-архивных амбарах, далеко не всегда и не во всем открытых для историков?.. Многое: это и письма писателей, и цидулки ревнителей бдительности, и доносы, написанные рукой самих литераторов, торопившихся доказать свою «верность заветам Ленина-Сталина»... Ну, что ж, подойдет, вероятно, время и для их публикации.

По данным книги «Литературный фронт. История политической цензуры. 1932—1946», имена и творчество более чем пятидесяти ленинградских писателей перемалывали в партийных же р н о в а х. В различных документах, — директивах, протоколах, резко-критических

отповедах, решениях и постановлениях присутствуют имена не только Зощенко и Ахматовой, но и Михаила Дудина, Ольги Берггольц, Александра Блока, Юрия Германа, Веры Кетлинской, и тут же — Мария Комиссарова, Борис Лавренев, Борис Лихарев, Осип Мандельштам, Самуил Маршак, Вера Панова, Александр Прокофьев, Леонид Рахманов, Всеволод Рождественский, Илья Садофьев, Виссарион Саянов, Михаил Слонимский, Леонид Соболев, Елизавета Катерли, Алексей Толстой, Константин Федин, Борис Корнилов, Николай Клюев, Юрий Тынянов, Леонид Борисов...

Но было бы наивным и ошибочным думать, что писатели, как покормное и безмолвное стадо, терпели на себе всеохватный хомут цензуры и партийных директив. Анна Ахматова, Николай Асеев, Александр Довженко, Леонид Леонов, Илья Сельвинский, Мариэтта Шагинян и позднее — многие другие, которых мы знаем под именем «диссидентов», — все они стали участниками сопротивления сталинским оковам мысли, штампам и догмам партийных невежд.

История еще раз доказывает: свободную мысль подавить невозможно.

Захар ДИЧАРОВ

ХРАНИТЕЛЬ ВЕЧНОСТИ

(от составителя)

На архивно-следственном деле каждого, кто в сталинские времена был незаконно лишен свободы, а часто — и жизни, стоит служебный гриф «Хранить вечно». Сохранятся ли надолго эти бумаги, пропахшие кровью, ложью, пытками — мы не знаем: время беспощадно. Но вечно хранится то, что создали мысль и талант творящего прекрасное — будь то скульптура, картина или книга.

Это — так.

Среди известных и знакомых мне петербургских интеллектуалов есть один, о котором я могу с полным основанием сказать — «Хранитель вечности», именно так.

Многие тысячи российских интеллигентов, а меж ними — сотни литераторов, известных ученых, крупнейших научных исследователей были уничтожены в годы великого сталинского побоища. Но палачам было мало отнять у них жизнь, они делали все, чтобы мысль, воплощенная в слове, навсегда исчезла из памяти народа; чтобы все то, что создали и выразили в своих творениях осужденные на смерть и долгое заточение — должно было быть истреблено. Уничтожено. И это страшное инквизиторское дело — свершалось: пылали костры запрещенных, изъятых из культурного процесса книг, плоды многолетнего труда, журналы, газеты.

Черные, кроваво пламенеющие костры, разожженные руками бериевских подручных.

Полвека минуло с той трагической поры. Справедливость восстановлена. Честь и достоинство оклеветанных, истребленных сталинскими палачами возвращены их именам. Но тех, кто сгинул в Левашов-

ском захоронении и еще сотнях таких же, не воскресить. Вернуть к жизни удалось только то, что случайно или не случайно уцелело в книжных хранилищах. Но и то — далеко не всё.

И вот теперь, лишь в последние десятилетия — каждая «вражеская» книга, страница журнала, номер газеты, то есть то, что каким-то образом уцелело, тайно сокрыто от глаз чекистских жандармов — стало зримым, стало известным и доступным. Их немало, кто приложил руки, старания, свои сбережения, чтобы ценности эти смогли храниться вечно. И одним из таких является ныне здравствующий Владимир ПЕТРИЦКИЙ, — неистощимый собиратель утраченного ранее, замечательный библиофил, одержимый страстью к редкой и старой книге: хранитель вечного.

Семью Петрицких в зловещие 30-е годы постигла та же трагедия, что и миллионы других семей в СССР. Флотский офицер Александр Густавович Петрицкий был в 1935 году, вскоре после убийства С.М. Кирова, арестован и расстрелян. Его жена и сыновья Владимир и Вилли — стали «навечно ссыльными». Об одном из них — Владимире интересно и душевно написал петербургский библиофил, чью публикацию мы и предлагаем читателю.

Захар ДИЧАРОВ

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

Цель нашего повествования — рассказать о единственно пока известном частном собрании книг — книг трагической судьбы, книг запрещавшихся, изымавшихся из государственных библиотек, уничтожавшихся в годы сталинской диктатуры, но все-таки сохранившихся до нашего времени.

...В семейном архиве ленинградского инженера-конструктора Владимира Александровича Петрицкого, брата известного ученого-философа, писателя и библиофила Вилли Александровича Петрицкого, имеются четыре справки о реабилитации — его отца, матери, отца жены и отчима.

Отец братьев Петрицких — Александр Густавович Петрицкий (1901—1935 гг.) шестнадцатилетним юношей принял участие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде в 1917 г. В 1918 г. вступил в РКП(б), защищал Петроград от банд Юденича, затем был организатором комсомола в Сестрорецком районе. В 1922 г. по призыву комсомола пошел в Красный Флот, окончил артиллерийскую школу, за-

тем Военно-политическую школу им. Ф.Энгельса. Был политруком на портах Кронштадта, затем получил назначение на сторожевой корабль «Гроза», который в 1933 г. должен был войти в состав Северной флотилии. В 1933–34 гг. А.Г.Петрицкий служил на флоте, а в декабре 1934 г., после убийства С.М.Кирова, был арестован, увезен в Ленинград и в сентябре 1935 г. расстрелян (в 1958 г. — реабилитирован). Мать с двумя детьми выслали в г. Рыбинск Ярославской области.

Мать всегда говорила сыновьям, что отец не виновен ни в чем, что эта трагическая ошибка, злой умысел и клевета. С этим заветом и росли братья Петрицкие.

Когда в 1901 г. Владимир Александрович вернулся из ссылки в Ленинград, он стал приобретать и собирать книги о героях гражданской войны, политических деятелях — соратниках В.И.Ленина. Почти все они были репрессированы. Большинство из этих имен в годы хрущевской «оттепели» впервые становились известными молодому поколению; интерес к ним становился все более обостренным.

С 1964 г. начали выходить книги о военных деятелях — Р.П.Эйдемани, И.П.Уборевиче и др. В серии ЖЗЛ вышли два сборника: «Полководцы гражданской войны» (1960) и «Герои гражданской войны» (1963). Обе эти книги легли на книжную полку.

Читая их, Владимир Александрович в именных и библиографических указателях к ним находил все новые и новые имена.

В разные города страны посылались открытки-заказы, в ответ отделы «Книга-почтой» присылали книги из Свердловска — о Р.К.Блюхере, из Кишинева — о И.Э.Якире и И.Ф.Федько, из Киева — о В.М.Примакове, Ю.М.Коцюбинском, В.П.Затонском, В.Я.Чубаре, из Краснодара — о Яне Полуяне, из Хабаровска — о Дальневосточном созвездии полководцев (В.Блюхер, И.Уборевич, Г.Штерн, М.Калмыков, Г.Кассин).

В поисках книг о военных и политических деятелях, реабилитированных после XX и XXII съездов КПСС, собиратель стал замечать на прилавках книжных магазинов и книги неизвестных для него писателей.

Именно тогда, с середины 60-х гг. началось интенсивное собирательство.

На полку легли произведения И.Бабеля, Арк.Бухова, А.Бибика, Ю.Берзина...

В поисках неизвестных ему имен репрессированных литераторов он штудировал «Краткую литературную энциклопедию», выходившую с 1962 г. Были сделаны сотни выписок кратких биографий писателей с соответствующей библиографией. Появился надежный компас по интересующей теме. Посещение ленинградских книжных и букинистических магазинов стало осознанной необходимостью. После каждого такого похода Владимир Александрович что-то вычеркивал из своего списка.

Работая в районе Театральной площади, он почти ежедневно после работы доезжал до Невского пр. и начинал «обход» с «науумовского» магазина на углу ул. Герцена, затем Дом военной книги на углу ул. Желябова, Дом книги на канале Грибоедова, Книжная лавка писателей на Фонтанке, магазины «Букинист» и «Академкнига» на Литейном пр. Лишь после всех этих «визитов» шел домой, к себе на Фонтанку, как правило, с «уловом».

Иногда, в зависимости от настроения или имеющейся энной суммы в кошельке, делались и более дальние «вылазки» в бумагазины на Большом пр. В. О., Большом пр. Петроградской стороны, на проспекте Огородникова, ул. Марата и др.

Практически эти регулярные «обходы» можно считать «сверхурочной работой», потому что это требовало времени, сил, знаний, энергии.

В итоге двадцатипятилетнего собирательства в библиотеке Владимира Александровича Петрицкого насчитывается сегодня более тысячи томов книг репрессированных писателей в прижизненных и современных изданиях. Около трехсот имен; писателей Ленинграда — свыше пятидесяти.

Если учесть, что в 20-е — 50-е гг. в нашей стране были незаконно репрессированы около двух тысяч литераторов (около тысячи пятисот из них погибли в тюрьмах и лагерях, так и не дождавшись свободы), то в собрании Владимира Петрицкого представлено более одной шестой писательских имен, а если говорить о репрессированных писателях-ленинградцах, то в его собрании в прижизненных и современных изданиях представлена добрая половина имен.

Еще не обо всех погибших мы знаем. Трагический список увеличивается. Только в Ленинграде репрессировано более 150 поэтов и прозаиков, шестьдесят три из них расстреляны. Для сравнения: в годы войны на фронте погибло двадцать семь писателей-ленинградцев, умерли во время блокады — пятьдесят.

Вот поименный список репрессированных ленинградских писателей, чьи произведения бережно собраны Вл. Петрицким: Д.Аль, Гр.Белых, Н.Баршев, О.Берггольц, Ю.Берзин, Н.Брыкин, Арк.Бухов, А.Введенский, Евг.Венский, Г.Венус, Д.Выгодский, Н.Глебов-Путиловский, П.Губер, Ан.Горелов, Вл.Дмитриевский, В.Зоргенфрей, М.Зуев-Ордынец, Мих.Зощенко, И.Ионов, Ан.Каменский, Н.Клюев, С.Колбасьев, Н.Константинов, Б.Корнилов, Г.Куклин, Л.Лайцен, Ян Ларри, А.Лебеденко, Б.Лившиц, Д.Лихачев, Дм.Мазнин, А.Македонов, Вл. Матвеев, П.Медведев, И.Михайлов, Н.Олейников, А.Пиотровский, С.Спаский, Вал.Стенич, А.Тверяк, Ел.Тагер, Д.Хармс, Б.Четверяков, А.Шадрин, Г.Шилин, В.Эрлих.

Одна из наиболее удачных находок, — почти полное собрание прижизненных изданий поэта Бориса Корнилова (1907—1938), чьи «Песня о встречном» (муз. Д.Шостаковича), поэмы «Триполье» и «Моя Афри-

ка», лирические стихи «Продолжение жизни», «Качка на Каспийском море», «Соловьяха» и др. вошли в золотой фонд советской литературы.

Вл. Александрович собрал почти все прижизненные издания ленинградского прозаика Юлия Берзина (1904–1938), автора повести «Конец Девятого полка».

Петрицкого глубоко заинтересовал сам автор, его трагическая судьба. Захотелось прочитать и собрать другие его книги. И закон библиофильского коллекционерского везения начал действовать. В 1968 г. в Книжной лавке писателей Вл. Петрицкий приобрел роман Ю. Берзина «Форд» (2-е изд. 1928 г.). В магазине «Академкнига» удалось найти «Оптимистический роман» (1930 г.). Еще через год — «Возвращение на Итаку» — роман, который высоко оценил со своей профессиональной точки зрения геолог, академик В. Смирнов. В разное время ему посчастливилось приобрести первое издание романа «Конец Девятого полка» (изд. писателей в Ленинграде, 1931) и сборник рассказов «Путешествие — факты и лирика» (Изд-во писателей в Ленинграде, 1931).

Точку же поставил летом 1974 г. Находясь проездом в Москве, в Доме книги на пр. Калинина обнаружил недостающую у него книгу рассказов Ю. Берзина «Завоеватели и мелочь» (ЗИФ, 1930). Это было последнее недостающее звено. Таким образом, за шесть лет все произведения Ю. Берзина были собраны Вл. Петрицким.

Одним из любимых писателей Вл. Александровича становится Сергей Колбасьев (1898–1942) — морской офицер, автор романа «Арсен Люпен», повести «Салажонок», поэмы «Открытое море», книги рассказов «Поворот все вдруг». Николай Тихонов писал, что книги С. Колбасьева передают дух, цвет и голос эпохи.

Осенью 1987 г. Вл. Александрович Петрицкий присутствовал на организационном собрании общества «Мемориал» в Доме культуры Ильича (на Московском пр.) и здесь познакомился с Борисом Георгиевичем Венусом (сыном писателя Георгия Венуса). Тот сказал ему: «Впервые вижу человека, который знает моего отца». Вскоре Вл. Александрович был приглашен в старый литераторский дом на канале Грибоедова, 9 в семью Венусов. Через них он познакомился с Галиной Сергеевной Колбасьевой, дочерью писателя, переводчицей. Петрицкий рассказал ей, что у него есть третье издание рассказов Сергея Адамовича Колбасьева «Поворот все вдруг» (Изд-во писателей в Ленинграде, 1933, в суперобложке худож. М. Кирнарского) с автографом писателя дочери: «Галине Сергеевне Колбасьевой в знак уважения автор. 25.V.33».

В собрании Вл. Петрицкого имеются также книги с дарственными надписями авторов друзьям-писателям (Ю. Берзин — Г. Карельской, Г. Куклин — Б. Эйхенбауму, И. Гольдберг — М. Азадовскому, Г. Алексеев — В. Ермилову, Д. Слетов — В. Замошкину и др.).

Многие книги оформлены известными художниками-графиками:

М.Добужинским, И.Рербергом, Б.Кустодиевым, В.Замирайло, В.Конашевичем, Вал.Ходасевич, И.Кузьминым, Б.Титовым, С.Молчановым, С.Чехониным и др.

Владелец особенно дорожит такими изданиями, как: Д.М.Мазнин. В дыму пожаров. Стихотворения (1919—1920). ГИЗ, Пб., 1921, (в мягк. обл.); В.Зоргенфрей. Страстная суббота. Стихи. Изд-во «Время». Пб., 1922 — 56 с. (Обл. и марка работы С.Чехонина); Илья Ионов. Колос. Стихотворения, Пб. ГИЗ, 1921, 31 с.; Вс. Мейерхольд и Ю.Бонди. Али-нур. Сказка в 3-х д., с прологом и эпилогом. Изд. Театр. отд. Наркомпроса, Пб.—М., 1919, 32 с.

В разделе общественно-политической литературы собрано около 400 книг о политических и военных деятелях, пострадавших в годы культа личности Сталина.

В числе редкостей этого раздела — прижизненные издания П.Постышева, В.Блюхера, В.Примакова, Е.Ковтюха, Я. Ганецкого.

В разделе научно-популярной литературы имеются книги репрессированных ученых — Н.И.Вавилова, Н.М.Тугайкова, Н.М.Федоровского, Н.Н.Урванцева, Р. Самойловича.

Помимо основного направления — книг репрессированных писателей, политических и военных деятелей, деятелей науки и культуры собрание Вл. Петрицкого содержит около 600 книг по Старому Петербургу — Петрограду — Ленинграду, около 700 книг по книговедению и библиофильству, около 500 книг составляет иллюстрированная Пушкиниана.

Владимир Александрович считает, что основной раздел его собрания — книги репрессированных писателей, политических и военных деятелей, деятелей науки и культуры — далеко еще не собрал всех имен. Поиск продолжается.

Главный же результат видится собирателю в том, что должен быть библиографический справочник репрессированных ленинградских писателей. И тут, конечно, потребуются усилия других библиофилов и Ленинградской писательской организации — одному с этим справиться трудно. Но общая цель — такой справочник издать, он совершенно необходим.

Необходим потому, что это наш нравственный долг перед памятью погибших и тех, кто прошел тяжкий путь сталинских тюрем и лагерей. Наша совесть неспокойна до тех пор, пока мы не назовем всех поименно и не расскажем об их месте и вкладе в нашу литературу, в нашу жизнь вообще.

Установление имен и судеб ведет за собой восстановление их трудов, их места в литературе...

Кое-что уже делается нашими издательствами. В 1988 г. в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» вышел первый в стране однотомник избранных произведений Даниила Хармса.

В нем представлены стихи, пьесы, проза, письма. Здесь и «детское», ставшее уже классикой, и «взрослое» — в большинстве публикуемое впервые. В книгу включено много рисунков Хармса, дополняющих и своеобразно комментирующих его словесное искусство.

Даниил Хармс (1905—1942) принадлежит к ярким «еретикам» в литературе.

— Сегодня, — говорит Владимир Александрович, — мне как читателю многое кажется в нем непривычным. Но читая его, нельзя не почувствовать свежесть и смелость литературного эксперимента, новизну, изящество мистификации, тревогу, глубоко ощущавшуюся автором. Он словно предчувствовал свою судьбу. Он был арестован в августе 1941 г. и в 1942 погиб в тюрьме...

— Мы трагически не можем вернуться в прошлое, чтобы предупредить о том, что ждет его в скором будущем, которое тоже сейчас стало прошлым. Мы сегодня вспоминаем все для того, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Только так можно расчистить дорогу в будущее.

Владимир Александрович Петрицкий — участник вечеров, посвященных жертвам сталинских репрессий. Проходили они в Выборгском дворце культуры, в киноцентре «Ленинград» и на других площадках. Он участвовал в них, представляя редкие материалы, книги и документы из своей коллекции.

Был он также участником выставки книг писателей Москвы и Ленинграда, репрессированных в 30-е — 50-е гг. Она состоялась в Центральной городской библиотеке им. В.В.Маяковского.

Но чаще всего он делает доклады и сообщения на основе своего обширного собрания и участвует в библиофильских выставках в стенах Ленинградского Дома ученых им. М.Горького АН ССР (Дворцовая наб., 26).

Здесь, в самом центре Ленинграда, в бывшем великокняжеском дворце, расположенном по соседству с Эрмитажем, работает старейшее в нашей стране библиофильское объединение — Секция книги и графики.

Еженедельно, по вторникам, собираются в Малом дубовом зале, окна которого выходят на Неву и на Петропавловскую крепость, члены секции. Они слушают и обсуждают доклады коллег, с интересом знакомятся с редкими изданиями, автографами, документами, экслибрисами, произведениями графики.

Здесь, среди многих именитых библиофилов, известных по многочисленным публикациям не только ленинградцам, не затерялась и фигура Владимира Александровича Петрицкого, человека в высшей степени скромного и глубоко порядочного, удивительно настойчивого в своих поисках и разысканиях.

Я имею право это сказать, так как знаю Владимира Александро-

вича с 1972 г., когда он впервые пришел к нам в секцию. С его братом, Вилли Петрицким, мы в один год вступили в секцию — в 1967 г. Нас пригласил посещать заседания тогдашний ее председатель — П.Н. Берков. А теперь, вот уже на протяжении почти 15 лет, секцией руководит Вилли Александрович Петрицкий.

В секции много замечательных и интересных людей, «прорабов духа», чья коллективная деятельность вносит заметный вклад в культурную жизнь города на Неве.

Одним из впечатляющих событий библиофильского сезона 1988/89 гг. была выставка «Книга и “белые пятна” в отечественной истории и литературе». Одна из выставочных комнат Дома ученых была целиком отведена подборке прижизненных изданий книг репрессированных писателей из собрания инженера Владимира Александровича Петрицкого.

Десятки людей, приходя в выставочные комнаты Дома ученых, надолго задерживались в одной из них у витрин, где из-под стекла смотрят на них ветхие обложки книг Исаака Бабеля, Артема Веселого, Михаила Зощенко, Бориса Пильняка, Аркадия Бухова, Николая Клюева, Ольги Берггольц, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Даниила Хармса...

В книге отзывов — обжигающие, взволнованные записи потрясенных людей. Пишут о том, что мы еще не в состоянии до конца осмыслить то сталинское время, извлечь из него исторический урок. Пишут о том, что людей уже не воскресить, но надо спасти их труд, творчество, отдать его народу. Собирая утаенные, украденные у народа рукописи, книги, документы, письма, автографы, устроители делают великое дело, ибо речь идет о спасении Слова — лучшего, что явили эти таланты в их краткой мученической жизни...

Я абсолютно уверен, что почти всюду — от Балтики до Тихого океана — есть энтузиасты, бережно собирающие и хранящие память о самом трагическом периоде истории нашей литературы. И они сделают все, чтобы смыть эти позорные «белые пятна».

Борис КАЗАНКОВ

28.02.89 г. Ленинград

СТРАХ

...Страшное время 30-х — 40-х годов, — оно давно минуло. О нем написаны сотни книг, на страницах которых обозначены воспоминания тех, кого подминала беспощадная «колесница Джагернаута» Имя ей — Сталин. Но, пожалуй, только Вениамин Каверин раскрыл в своей книге «Эпилог» истинную сущность того как фабриковался страх перед «органами» и как, затем, внедрив его в душу человека, старались сделать из него послушного раба, агента, доносчика, осведомителя, стукача карательных учреждений. И если цели этой удавалось достичь — ковать затем цепочку «врагов народа», будь то писатель или читатель. Книге «Эпилог» уже три десятилетия. Но о том, как пытались взять в цепь писательское слово и как брали, — стоит помнить и сегодня...

Перед нами глава из книги воспоминаний ВЕНИАМИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАВЕРИНА, названной им «Эпилог».

Писатель приступил к ней в начале 70-х годов, в годы так называемого застоя. В предисловии он рассказывает: «Господствующим ощущением, ставившим непреодолимые преграды развитию и экономики, и культуры, был страх. Правда, это было не то чувство, которое мы испытывали в тридцатых — сороковых годах, когда страх был тесно связан с арестом, пытками, расстрелом, смертельной опасностью во всех ее проявлениях. Но это был прочно устоявшийся страх, как бы гордившийся своей стабильностью, сжимавший в своей огромной лапе любую новую мысль, любую, даже робкую, попытку что-либо изменить. Это был страх, останавливающий руку писателя, кисть художника, открытие изобретателя, предложение экономиста...

Мое флотское назначение в Палдиски было отменено — немцы заняли этот порт в первые дни войны. Я был военным корреспондентом ТАСС, которое утилось в тесном подвале с канализационными трубами над головой.

К фронту можно было подъехать на трамвае — в октябре они еще ходили. В Союзе писателей еще выдавали блюдечко жидкой зеленоватой каши, и страшно было смотреть, как это крошечное блюдечко осторожно, бережно ставили на стол старые, знаменитые писатели и переводчики, которых почему-то не вывезли из Ленинграда.

В милиции будущим подпольщикам выдавали подложные паспорта, на стенах домов читались крупные надписи: «При артиллерийском обстреле эта сторона наиболее опасна». В городе пахло дымком, летели, как умирающие серые бабочки, сожженные страницы сочинений Ленина, Сталина, Маркса. На этот раз жгли не память, а улики.

Жена и дети были эвакуированы в Ярославль, последняя связь с ними — телеграмма-«молнии» — оборвалась, когда Ленинград был окружен. Я жил в пустой квартире, отбиваясь от этой пустоты, наплававшей на меня ночами. Голодал и работал: писал статьи, очерки, скетчи для фронтовых спектаклей, заметки, рассказы. В эти-то не веселые дни мне позвонили — редкий случай — не из ТАСС.

— Вениамин Александрович, — сказал приветливый молодой голос, — говорят из Управления. Моя фамилия Воронков Владимир Иванович.

— Слушаю.

— Хотелось бы встретиться, поговорить.

Я ответил, что очень занят, пишу срочную статью для ТАСС. Поговорить не отказываюсь, но прошу приехать ко мне.

— Одну минуту. — И после короткого молчания: — А еще есть кто-нибудь в квартире? — Да. Домашняя работница. Но мы можем поговорить в кабинете, она не услышит.

Снова короткое молчание, — очевидно, мой собеседник с кем-то советовался. Потом:

— Хорошо, приеду. Когда?

Уговорились — и он приехал, высокий, в штатском, — потертое пальто, старая кепка. Молодой, лет тридцати, с добродушным курносым лицом. Впечатление полной незаметности, обыкновенности. Снял пальто, и мы прошли в мой кабинет.

— Так кроме нас, никого больше нет в квартире?

— Есть. Домашняя работница. На кухне.

— Много работаете? — мягко спросил он, окинув взглядом кабинет, который был завален исписанной бумагой.

Я сказал, что сегодня должен закончить статью.

— И закончите. — Он одобрительно кивнул головой. — Я к вам ненадолго.

Но он пришел надолго. Часа полтора, а может быть, и больше, выпрашивал, с кем из писателей я дружен, у кого бываю, и сочувственно поцокал языком, узнав, что я потерял связь с семьей.

— Вот некоторые писатели думают, что надо предложить немцам мир, — сказал он. — Это правда?

Я ответил, что на днях разговаривал с Л.Н.Рахмановым, и он, делась со мной крошечным кусочком мяса, повторял:

— Только не мир, только не мир!

— И вы так думаете?

— А вам не попадались мои статьи?

— Но ведь можно писать одно, а думать другое?

— Можно. Но я пишу то, что думаю.

Мы разговаривали, и я постепенно — многолетняя привычка — стал как бы подставлять себя вместо него. Мне стало ясно, что он мало знает, не начитан, туповат и, вероятнее всего, перешел откуда-то (может быть, с завода) на эту работу. В сравнении со мной он, как говорится, «не тянул». Я волновался в ожидании его прихода, волновался, отвечая на его вопросы, а теперь вдруг успокоился. Не стал бы он так долго разговаривать со мною, если бы Управление намеревалось меня посадить!

В особенности интересовался он моими друзьями — это был прекрасный повод, чтобы отрекомендовать их советскими людьми в самом подлинном значении этого слова.

...Передо мной как будто качалась стрелка барометра — немного налево, немного направо. В основном она стояла на «ясно». Но иногда чуть вздрагивала и отклонялась. Он спокойно выслушал аттестацию моих друзей, но когда я назвал среди них Тихонова, мне показалось, что стрелка едва заметно качнулась. Но это был, без сомнения, обман зрения! Кто посмел бы заподозрить писателя с всею союзной известностью, политически безупречного, да еще недавно отличившегося во время финской войны. Конечно, мне это только почудилось!

Но вот мой собеседник вернулся к моим делам и заботам и наконец напрямую заговорил обо мне.

— В том, что вы — советский человек, — сказал он, — нет ни малейших сомнений. Именно в этом отношении мы, то есть Управление, полностью вам доверяем. Но хотелось бы, чтобы вы, так сказать, реализовали это доверие.

— То есть?

— То есть в каком смысле... Могли бы вы оказать нам помощь?

Я спросил, что он подразумевает под этим словом, и он, помедлив, ответил:

— Да вот хотелось бы время от времени встречаться с вами, Вениамин Александрович. Не часто, — поспешно добавил он, заметив, должно быть, что у меня переменялось лицо. — Раз в месяц, час-полтора. Ничего особенного, просто поговорить.

Я сказал, что у меня нет времени на встречи и что даже в эту минуту я сижу как на иголках, потому что мне к полночи надо кончить статью, а я еще только что начал.

Минут сорок он уговаривал меня:

— Ну что вам это стоит! Ведь мы никому зла не желаем. Кто же, если не такие люди, как вы, может нам помочь? Родина в опасности... — и т. д.

Больше я не ссылался на отсутствие времени и прямо сказал, что такой обязанности взять на себя не могу.

— Какая же это обязанность? Это добровольная помощь!..

Мы поговорили еще, он наставлял, спрашивал и, наконец, сказал почти добродушно:

— Ну, что делать.

И вынул из портфеля лист бумаги, на котором было напечатано крупно: «Протокол допроса» (может быть, не «протокол», а как-то иначе, не помню).

Странное дело: наш разговор и был самым настоящим допросом, но мне почему-то это и в голову не приходило. Разговор как-то растекался, уходил в сторону, возвращался. Теперь Воронков намеревался уточнить его, сократить и поместить на одном или двух листках бумаги. Мой собеседник мгновенно превратился в следователя, а я — в обвиняемого? В свидетеля?

Не торопясь, он писал абзац и протягивал мне. Иногда мы спорили: ему хотелось подрезать формулировки, в которых я аттестовал моих друзей как людей политически безупречных. Я настоял на своем.

* * *

В дурном настроении я принялся за работу после его ухода. Точно меня заставили проглотить что-то скользкое, отдающее запахом тления, и теперь надо было справиться с нравственной тошнотой, подступавшей к горлу. Воронков взял с меня расписку, что разговор останется между нами, — и это тоже томило меня — было бы легче, если бы можно было посоветоваться с кем-нибудь из друзей. И еще одно: меня поразило несоответствие этого посещения с тем, что происходило вокруг. Немцы в двух шагах от города, на стенах висят плакаты «Враг у ворот» (а рядом идиотско-бестактное воззвание Джамбула, начинавшееся словами «Ленинградцы, дети мои...» — хотя голодавшим ленинградцам было не до сытого акына), рядом с больницей имени Перовской на моих глазах закладывали мины, и такие же мины зак-

ладываются в сотнях или тысячах других мест, — а... Управление занимается вербовкой агентов, которых в Союзе писателей и без того было достаточно. И почему выбор пал на меня? Здесь что-то было.

Я остался после ухода Воронкова отравленный, с начатой статьей, с бессонницей и с горячим желанием бежать куда глаза глядят, потому что у меня не было ни малейшей уверенности в том, что разговор не может возобновиться через несколько дней.

Так и произошло.

Вернувшись с фронта (где я и в самом деле отравился, не положив в котелок с водой обеззараживающую таблетку), я услышал телефонный звонок.

На этот раз Воронков решительно отклонил предложение встретиться у меня.

— В Управлении, четвертый этаж, комната... Пропуск будет оставлен. В десять часов. — Тон был не допускающий возражений.

Я сказал, что приду.

У меня была назначена встреча с Марвичем, — он был, как и я, военкором ТАСС, а мы часто «делили тему»: я писал одну половину заказанной статьи, он — другую. Я ждал его в десять часов. Созвонившись, мы перенесли встречу.

Так что же делать? Не сказав никому ни слова, так и отправиться в Управление, из которого можно было и не вернуться? Ну нет! У меня были друзья, которым я мог смело рассказать и об этой расписке.

Деньги пропали в первые же дни войны. То, что мне удалось заработать в те месяцы, когда Ленинград еще не был отрезан, я переслал в Ярославль, жене и детям. Но остались какие-то колечки, серьги, браслеты. Я положил их в карман и отправился к Шварцу.

Евгений Львович Шварц был, несомненно, одним из самых значительных людей, с которыми я был знаком или дружен. Он был человеком одновременно и закрытым, и открытым. Усилия, непрестанно повторяющиеся, чтобы утаить эту двойственность, могли бы, мне кажется, обогатить нашу литературу, если бы они были направлены на нее, а не на сложные условия нашего существования. Но и в трагических обстоятельствах, окрасивших нашу жизнь, ему удалось многое, очень многое. В дальнейшем я постараюсь рассказать о нем.

...Разговор с Евгением Львовичем немного успокоил меня.

— Да как они смеют? — с возмущением сказал он.

Он ничего не посоветовал — да и что он мог посоветовать?

Без четверти десять я был в Большом доме, получил пропуск, поднялся на четвертый этаж, постучал... Никакого ответа.

Снова постучал. В коридоре было полумерно — экономия электроэнергии соблюдалась и в Управлении, — и я не узнал двух людей, быстро прошедших мимо. Но они, кажется, узнали меня. Обрывки разговора, смешок донеслись до меня, и я отчетливо расслышал свою

фамилию, сопровождавшуюся этим смешком. Тут же пришел, извинился за опоздание — «Завтракал!» — и открыл ключом дверь Воронков.

...Это было уже совсем другой разговор, не добродушный, а требовательно-резкий. Повторились вопросы — Союз писателей, моя работа — и вообще, и в частности, в ТАСС, друзья, и т. д. Но теперь вопросы были уличающие, связанные с нашим первым разговором, в котором я будто бы что-то утаил или исказил. Когда мы заговорили о Союзе писателей, он обвинил меня в том, что я даже не упомянул о ссоре А.Прокофьева с поэтом А.Гитовичем, и не поверил, что я слыхом не слыхал об этой ссоре.

— Да что вы втираете очки, когда это происходило на ваших глазах! — сказал он.

Но я говорил правду. Более того, о жизни Союза я знал гораздо меньше, чем он предполагал, даром что я был членом Секретариата. Меня эти отношения никогда не интересовали, а в ту опасную пору я инстинктивно старался отстраняться от них. Втолковать это следователю я, естественно, не мог. Да это было и небезопасно («антиобщественная позиция»), он, профессионально настроенный на выяснение и возможное использование этих отношений, просто не мог поверить, что они мне глубоко безразличны. Именно на этом несоответствии продержалась первая часть допроса. Воронков как бы стремился доказать, что я неискренен, что-то скрываю и, следовательно, виноват, — а раз виноват, так должен искупить вину. Чем же? Мирнолюбивым сотрудничеством, которое должно отнять у меня какой-то час в месяц и на которое я почему-то упорно не соглашаюсь.

Чем только он не старался меня соблазнить! Сперва обещаниями: Управление располагает материалами неслыханными, никому не известными, и они на выбор будут предложены мне. Тут же не на один роман хватит, а на собрание сочинений! Да я такое узнаю, что никому и не снилось!

Это предложение было легко отклонить. В ответ я прочел ему, нарочно стараясь говорить сложно, длинную лекцию о том, как пишутся романы. Примеры я бесстыдно приводил не только из собственного опыта, но и из биографии Тургенева и Льва Толстого. Вслед за литературными обещаниями последовали практические: я не мальчик, тридцать девять лет, известный писатель, которого надо беречь. Простой здравый смысл подсказывает, что для меня разумнее не ездить на фронт, а работать для ТАСС, оставаясь в Ленинграде.

Это было предложение, слабость которого он, по-видимому, сразу же сам оценил.

— Вы шутите? В какое же положение я поставил бы себя перед моими товарищами по ТАСС?

Он помолчал и заговорил о другом.

...Однако мое упорство начинало злить его не на шутку, Тем более, что никаких серьезных поводов для отказа я не предъявлял, а твердил главным образом о том, что «служу Советскому Союзу» своими книгами и новая профессия не поможет, а помешает делу.

— Чем же помешает?

Психологически помешает: для работы над художественной прозой необходима полнейшая сосредоточенность. И практически помешает: у меня плохая память, а между тем многое, очевидно, придется запоминать?

Мы разговаривали таким образом, должно быть, часа два, — он с нарастающей злостью, а я с нарастающей сдержанностью волнения, ничуть не мешавшей горячности, с которой я убеждал его, что не годюсь для такого тонкого дела, которое мне предлагалось.

Наконец — впрочем, было еще далеко до конца — он снял трубку.

— Владимир Иванович? — спросил он, и у меня мелькнула мысль, что он с какой-то целью называет собеседника собственным именем. (Вскоре я убедился, что у них были одинаковые имена.) — Вот разговариваем мы с Вениамином Александровичем. Упрямится он, отказывается, не согласен. — Тон был почтительный, он говорил с начальством.

Дверь открылась, и, войдя, за второй стол сел какой-то человек, низенький и неприятный, в форме, но без знаков различия, подпоясанный ремнем, на котором висела кобура с револьвером. В том, что кобура не пуста, я вскоре убедился, потому что, листая для вида какие-то бумаги, он как бы между прочим ввязался в допрос и положил перед собой револьвер.

Меня револьвер не испугал, на что, очевидно, был расчет, но лицо второго следователя не то что испугало, но многократно увеличило душевную напряженность. Это было лицо звериное, скуластое, с грубыми, твердыми, злобно поджатыми губами, с низким лбом, над которым торчком стояла толща прямых волос.

Со стороны могло показаться, что он мешал Воронкову. А на деле помогал: неожиданными вопросами сбивал меня, обрывал на полуслове...

...Я в те годы курил и, уходя из дому, сунул в карман мундштук в виде изящно изогнутой трубочки, украшенной шелковым шнурочком с узлами. Трубочку эту подарил мне мой дядя, старый тромбонист, много лет прослуживший в оркестре Марининской оперы. Не знаю, как передать чувство, с которым я крепко сжимал эту трубочку в руке (мы курили), — но для меня в ней каким-то чудом воплотилось все, что было до этого допроса, до этой внутренней дрожи, до этого возрастающего напряжения, которое приходилось скрывать, подавлять. И, крепко сжимая трубочку, я как бы держался за это прошлое, в котором были и дом, и семья, и старый добряк-аккуратист, и даже то, что

раз в году, в дни наших семейных праздников дядя (несколько лет мы жили вместе) будил нас игрой на своем тромбоне.

...Между тем после разговора с начальством атмосфера допроса круто переменялась. Почему-то Воронков снова заставил меня повторить имена друзей, и снова при имени Тихонова стрелка барометра закачалась. Закачалась, и вдруг он крикнул, стукнув кулаком по столу:

— А вы знаете, что один из ваших друзей сказал, что готов хоть голым, в чем мать родила, но оказаться за границей?!

Я спокойно ответил:

— Кто же, по вашим сведениям, решился сделать подобное заявление? Тывянов? Шварц? Тихонов? Рахманов? Зоценко?

— Это вы должны ответить.

— А я ничего подобного никогда от моих друзей не слышал.

Не стану подробно рассказывать о втором допросе, тем более что за ним вскоре последовал третий. Владимир Иванович снова позвонил Владимиру Ивановичу, повторил то, что «упорствует, отказывается Вениамин Александрович».

— Ну что же, пойдете, — положив трубку, сказал он.

* * *

Второй Владимир Иванович (к сожалению, забыл его фамилию, кажется, Лапшин) был не похож на первого. Плотный, в очках, лет тридцати, с квадратным лицом, на котором застыло выражение пыливости, он встретил меня вежливо, предложил папиросы, чай. Видно было, что он смертельно утомлен, преодолевает себя, — и мне стало страшно, что сейчас на меня обрушится эта усталость, и бессонные ночи, и сдержанная, но острая досада, что к тем важным делам, которыми он занимался, присоединилась еще и необходимость уламывать меня только потому, что с этим ничтожным делом не справился его подчиненный.

Было, должно быть, далеко за полночь, когда Воронков, у которого был виноватый вид, оставил меня в его кабинете. Может быть, память мне изменяет, но в кабинете стоял книжный шкаф, и сквозь стекла проглядывали корешки переплетов.

— Что ж, значит, не желаете нам помогать? — спросил он. — Считаете себя избранником богов, которому не к лицу черная работа?

Тогда я не знал, что в НКВД существует литературный отдел — может быть, под каким-нибудь другим названием. Вторым Владимиром Ивановичем был, без сомнения, начальником этого отдела — и подготовленным, начитанным, — это стало ясно в первые же минуты допроса. Он не стал, как Воронков, ловить меня на мелочах. Он опрокинул на меня всю мою работу за двадцать лет, представив ее как антисоветскую — тут-то и показал начитанность, изумившую меня. Давным-

давно я и думать забыл о статьях, в которых меня громили за буржуазное реставраторство, за формализм, мещанский индивидуализм, за «самооборону против марксизма», за «враждебность революционной эпохе», за идеологию саботажа.

Он последовательно выложил эти обвинения и присоединил к ним десяток других. Я был и остался — как он утверждал — скрытым врагом Советской власти, а теперь, когда мне предоставляется возможность хотя бы в малой степени искупить свою вину. я ломаюсь, отказываюсь, ускользаю.

Это было неожиданно, и он, должно быть, заметил, что я растерялся. Но, растерявшись, я каким-то чудом не «потерялся», поняв, наверное, всю опасность этой минуты. Это было так, как будто, не слушая его, я на какое-то неопределенное время, — продолжавшееся, может быть, две-три секунды, — ушел в себя, занялся собой — и удалось собраться.

Конечно, мне следовало спокойно и связно доказать ему, почему он не прав, а я заговорил слишком торопливо и бессвязно. Однако это был литературный разговор, в котором он, со всей своей начитанностью, сравняться со мной не мог. Обвинения были плоские. В подавляющем большинстве обвинения были рапповские и относились еще к тем временам, когда на них можно было отвечать. С этого я и начал. Хотя я и путался от волнения, однако внятно заявил, что все, что сейчас было сказано, я некогда читал в рапповских статьях, а РАПП, как известно, распущен, и вся деятельность его признана вредной. Однако и рапповцы, да и никто еще до сих пор не осмеливался утверждать, что я — враг Советской власти. Книги мои опубликованы, никогда ни одной своей строчки я не скрывал...

...Теперь, через много лет, вспоминая свою защитительную речь, я вспоминаю и то, что была произнесена она торопливо, в лихорадке, но направлена была к единственной, всем моим существом овладевшей цели — не соглашаться, отказаться, убедить, что я не могу, не могу, не могу... Если бы и захотел, не могу! Было ли в этом «не могу» мужество, присутствие духа, самообладание? Нет. Была только инстинктивная уверенность, что, если я соглашусь, — все кончено, жизнь не сможет продолжаться. Безобразная искаженность, вывихнутость, предательство, ложь прикончили бы меня в два счета. Я убегал от верной гибели на дрожащих, неуверенных ногах. Но убегал.

— А вы, оказывается, упрямый, — с блеснувшим злобным огоньком в глазах сказал час назад Владимир Иванович-первый.

— Вы тут такого наговорили... Мне только дунуть стоит, и от вас останется одно воспоминание, — с таким же бешеным промельком в глазах сказал Владимир Иванович-второй.

Но он уступал, отступал, отпускал меня — что-то переломилось в нашем разговоре, и я, едва веря себе, почувствовал этот перелом. В

глубине души я уже захлебывался от радости, и надо было только не показать эту радость. Он, казалось, размышлял, слушая или не слушая меня. Потом вызвал Владимира Ивановича-первого и, когда тот вошел, сказал мне:

— Можете идти.

Но я еще не уходил. Это было рабское чувство, но мне хотелось поблагодарить его за то, что он меня отпускает. И я сказал голосом, невольно зазвеневшим от радостного волнения:

— Не ожидал встретить такого глубокого знатока нашей литературы.

Он поклонился, не подавая руки, и ответил:

— Вы видите перед собой чекиста.

..И ведь что любопытно: Воронков пошел меня провожать, и мы еще не спустились с лестницы, как между нами уже установились совершенно другие отношения. Ему понравилось, что я устоял, и это неуловимо проскользнуло в уважительном тоне, в манере держаться, в том, что мы как добрые знакомые, закончившие неприятное дело, заговорили о положении на фронте, о последней сводке, даже, кажется, о погоде.

Он предложил мне машину, я не отказался. Уже наступило тяжелое туманное предзимнее утро. Мы простились, я поднялся к себе и, побродив по холодной, вдруг опостылевшей квартире, с пустой, бесчувственной головой принялся за очередную статью для ТАСС.

Я упомянул о том, что в эти дни меня спасли только мои «Два капитана». И действительно, в конце допроса Владимир Иванович ясно дал мне понять, что именно «Два капитана» и помешали ему расправиться со мной по-свойски. Он не расспрашивал меня о друзьях, но мои догадки по поводу Тихонова впоследствии полностью подтвердились. Против Тихонова в течение ряда лет «шилось» дело, и если бы его взяли...

Трудно вообразить, что произошло бы, если бы в центре нового «шахтинского процесса» оказался человек, о котором еще в 1934 году было сказано: «Жить он будет, но петь — никогда».

О том, что «в холодный белый мрамор он будет превращен» (Гоцци), давно догадались те, кто слышал, с каким азартом он оправдывал каждый новый арест, как энергично отрекался от самого близкого «загремевшего» друга.

«По делу Тихонова» был арестован, доведен пытками до сумасшедшего дома и осужден на пять лет Н.А.Заболоцкий. В лагере он узнал, что главный обвиняемый в 1939 году награжден орденом Ленина, и дал Верховному прокурору СССР телеграмму, в которой, ссылаясь на это сообщение, просил о пересмотре дела. Когда Тихонов был назначен председателем Союза писателей, в 1943 году, я, заглянув к нему (мы оба жили в гостинице «Москва»), только заикнулся о его

«деле», как он круто и бесповоротно повернул разговор. Он знал не только то, что все уже знали...

Впрочем, бегдо о нем написать нельзя. В его лице перед нами сложный пример психологической деформации, заслуживающий подробного рассмотрения*.

Никто, кроме Е.Шварца, не знал, почему я стремился возможно скорее уехать из Ленинграда. Не стану притворяться смельчаком, который не боялся ни голода, ни холода, ни немцев, сбрасывавших с самолетов листовки, призывающие убивать «жидов и коммунистов». Конечно, боялся, тем более, что на театральных тумбах еще сохранились обрывки афиш, объявляющих о моей пьесе «Актеры», которую смело можно было назвать антифашистской, хотя действие ее происходило на оккупированной Украине в 1918 году. Но еще больше боялся я новых допросов и ареста, казавшегося мне неизбежным.

Вот почему я благословил тот день, когда мне позвонили из горкома партии и сказали, что по распоряжению Шумилова (секретарь по агитации и пропаганде) я завтра, 10 ноября, должен явиться на аэродром в семь утра и что мой отъезд на Большую землю согласован с ТАСС.

Не стану рассказывать ни о перелете, ни о том, как случайно обменялся вещевым мешком с одним из работников конструкторского бюро секретного авиазавода, ни о том, как получил отпуск для розыска семьи, ни о том, как нашел ее в Перми — тоже случайно, благодаря знакомству (в санитарном поезде) с бригадным комиссаром Зориным. Все это — для другой книги, которую я, может быть, еще напишу. А сейчас — о другом.

После моего неожиданного отъезда в Ленинграде распространились слухи, что я уехал самовольно, из трусости, без ведома и разрешения начальства. В письмах блокадных лет могли сохраниться отзвуки этих слухов. Винить тех, кто их распространял, я не стану. Ведь они не знали, что вместе с опасностью, которую мы могли встретить с оружием в руках, я убегал от другой опасности, против которой был безоружен.

Вениамин КАВЕРИН

* Об угрозе ареста, довлевшей над Тихоновым, и трагедии талантливейшего поэта — «подмене творчества высокими административными постами» Каверин подробнее пишет в других главах книги.



ОСОБОЕ ИНТЕРВЬЮ

* * *

Почти полвека минуло от зловещей, памятной всему народу даты: «1937-й год». И многих-многих из тех, кого коснулась чугунная длань насилия — уже нет. И те, кто когда-то подвергал их пыткам, истязал, выбивая, вымучивая «добровольные признательные показания» тоже уже окончили свой земной путь. Но по-прежнему в Российской Федерации существует, также как и в любом государстве, структура, которая выполняет функции органов государственной безопасности, в которой работают, правда, люди совсем иного поколения, с иными, хочется думать, принципами, и уж конечно с другими, нежели в «37-м», идеологическими и нравственными установками.

Как они, эти чекисты 90-х, оценивают дела и поступки тех, 30–50-х годов?.. Нужно ли сегодня нам знать об этом?.. Нужно. Обязательно. И не потому, что одолевает нас прежний ужас перед «органами», а потому только, что и страна — д р у г а я, и мы, населяющие ее люди — другие. И, значит, тот, кто отвечает за ее безопасность — тоже д р у г о й.

Пусть нам поведаст об этом теперешний чекист.

Интервью журналистки газеты «Смена» Аллы **РЕПИНОЙ** с майором госбезопасности Евгением **ЛУКИНЫМ**.

НА ПАЛАЧАХ КРОВИ НЕТ?..

Этот странно звучащей поговоркой майор госбезопасности Евгений **ЛУКИН** назвал свою еще неизданную книгу о следователях НКВД

тридцатых годов. Только знак вопроса он ставить не стал. Предпочел многоточие...

Обычно мы имеем дело ни с человеком, а с функцией. Функция моего собеседника Евгения Лукина — руководить пресс-службой Петербургского управления Министерства безопасности Российской Федерации. И с журналистами он общается строго в рамках своих служебных обязанностей — созывает нас на пресс-конференции, диктует по телефону информации о задержанных преступниках. Но дело в том, что с этим человеком можно рассчитывать и на иное — неформальное общение. Потому как он (как бы это не в обиду ему сказать?) не слишком нормален для сотрудника госбезопасности. Майор Лукин параллельно существует как поэт Лукин. И, говорят, не самый последний поэт. Его конек — современные интерпретации древнерусских стихотворных произведений. Перевел «Задонщину», перевел «Слово о полку Игореве». Прежде Лукин работал в «пятерке» — Пятой службе УКГБ, официально борющейся с инакомыслием, но в большей степени, похоже, борющейся с самой собой и внутри себя. Одни сотрудники «пятерки» открывали в Ленинграде рок-клуб, помогали издавать сборник поэтов «Круг» и вообще отстаивали идеи свободомыслия перед Обкомом партии. Другие шантажировали, выгоняли с работы людей, сажали...

— *Нормально ли это для интеллигента — состоять на такой службе?*

— Прекрасно понимаю: наша интеллигенция крайне отрицательно относится к государственной службе как таковой, а уж тем более к работе в спецслужбах. Но такого не было и нет, например, на демократическом Западе. Говоря о сотрудниках спецслужб, мы забываем о том, кто же в них работал. Писатель Грэм Грин был сотрудником британской разведки.

— *Ну, совсем неудачный пример! Разве британская разведка хоть чем-то напоминала в те времена нашу отечественную инквизицию — ваше ведомство? В душителях свободы она вроде бы не числилась...*

— Хорошо. Приведу факты из отечественной истории. Тютчев, как известно, служил государственным цензором. Салтыков-Щедрин был заместителем министра внутренних дел России. Державин губернаторствовал в Олонецком крае. Я уже не говорю о советской традиции. В конце двадцатых годов кадровым сотрудником ленинградской госбезопасности был поэт Александр Прокофьев. В конце войны, говорили мне, следователем НКВД был Федор Абрамов. Позднее, судя по всему, не любил об этом вспоминать.

— *Вот видите, сами по себе вы и противоречите. Возможно, в прошлом веке интеллигент и не чурался работы на свое государство. Но после революции такая работа была позором для порядочного и образованного человека — любая причастность к «органам», к партийным комитетам и тому подобному.*

— Не все так просто и не все столь однозначно. Вы знаете, что ответил Брюсов на вопрос о том, почему он вступил в коммунистическую партию? Он сказал: вступил лишь потому, что большевики воссоздали империю... Интеллигенту не была чужда идея государственности, он не мог не понимать, что для обуздания стихии нужна твердая, сильная власть. Напрасно думать, будто бы интеллигент шел на сотрудничество с органами этого государства исключительно под давлением, под угрозами или шантажом. Органам, кстати, никогда и не были нужны люди, работающие из-под палки, из страха за себя или своих близких (я говорю сейчас только о кадровых сотрудниках). Эти люди слишком ненадежны. Органам нужны были люди убежденные. Такие, как Сергей Эфрон. И они приходили.

— *И что же, эти одержимые высокой идеей государственности люди были столь слепы, что не понимали, чем же на самом деле занимаются органы?*

— А вы полагаете, что внутри НКВД не было сомневающихся? Даже в тридцать седьмом раскрутить маховик репрессий было очень непросто. Известно, что Заковский, тогдашний начальник ленинградского НКВД, несколько приказов выпускал по управлению, в которых называл конкретных начальников, отказывающихся от операции по массовым репрессиям. Малообразованные сотрудники, с двух-четырёхклассным образованием, выполняли приказы рьяно, плохо понимая суть происходящего. Хотя есть и такой единичный случай, когда малограмотный человек из этой ситуации выскочил и не стал палачом. Он был начальником отделения в НКВД и, когда начались массовые репрессии, стал просто пить по-черному. Месяц не появлялся на работе, второй. Его и выгнали как беспробудного пьяницу. Высшее же руководство прекрасно понимало, что оно делает. Руководители в основном — свою карьеру. Но к этому времени интеллигентов в органах уже не осталось...

— *В вашей книге о палачах нет ни одного тилажа, вызывающего что-либо иное, кроме чувства омерзения. И вы же призываете не судить этих людей по сегодняшним меркам, каждому почти находите оправдание, юридическое оправдание — мол, действовал он по тем законам и по тем приказам. И не вина, а беда палача, что приказы были преступны.*

— Видите ли, это только сейчас законом о госбезопасности сотрудникам спецслужб дано право не выполнять приказы, противоречащие конституции. Им дано право рассуждать и сомневаться. А тогда ни о каком скепсисе речи быть не могло.

— *Но ведь те палачи, о которых вы пишете, эти приказы выполняли со своими собственными садистскими дополнениями. Впечатление такое, что на Литейном, четыре, в тех кабинетах, в которых вы до сих пор сидите, водилась какая-то особая, порочная порода*

людей. Либо это были тупые деревенские парни, либо авантюристы и мистификаторы из очень, кстати, порядочных и образованных семейств — середины там не было. И больше всех зверствовали именно дети из полунинтеллигентных семейств. Актер — сын высококлассного петербургского часовщика. Стряпчий — сын адвоката. Комсомольская богиня с завода имени Карпова — дочка петербургского аптекаря.

Садисты и палачи — друзья и подруги смольнинских чинов, их компаньоны по партийным дачкам и охотам. К тому же мародеры, если говорить о времени военам. Вы упоминаете в этой книге о вывезенных из Германии драгоценностях-трофеях, от которых ломались квартиры энкавэдэшных подруг... Пера Булгакова бы на эти сцены не хватило. И кто сегодня поверит в то, что аналогичное не продолжалось в пятидесятые, в шестидесятые, в семидесятые годы? А некоторые, как я понимаю, предлагают никого сегодня прошлым не корить. Все бывшие страницы перевернуть и начать жизнь спецслужб как бы с чистого листа, с неподмоченной репутации, не так ли?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте-ка я расскажу историю одного заблуждавшегося палача. После тридцати восьмого года, когда было сказано, что органы переусердствовали, его арестовали. И, как рассказывал потом он мне для этой книги, почувствовал он себя пешкой на шахматной доске, судьба которой совершенно не интересует игрока. Игрок отдавал приказы, пешка их исполняла, а кровь почему-то на ней, а не на нем. Дали этому человеку десять лет, но в начале войны освободили — по специальному постановлению Верховного Совета. Отправили его в тыл — на партизанское движение, организовывало которое, как известно, именно НКВД. И там, в тылу, он очень многое сделал для Победы. Свой орден Красной Звезды он заслужил. Думайте сами, как оценить этого человека. После войны он вернулся в органы, потом вышел на пенсию, потом преподавал историю в одном из ленинградских вузов.

— И что же?

— А умер он почему-то именно в дни путча, в августе девяносто первого... Другие палачи еще живы, доживают свой век среди нас. Тихими пенсионерами — в глубокой старости, иногда уже в маразме. Говорить с ними сложно. Вот и этот палач мне все повторял: темное прошлое ушло на задворки сознания, вспоминать об этом не хочу. И почти все оправдывают себя тем, что были заложниками Системы.

— Мы тоже должны их этим оправдывать?

— Нет, другим. Они выполняли приказы и законы, которые действовали в то время. И по Всеобщей декларации прав человека никто не может быть осужден за то или иное деяние, которое было совершено в результате исполнения национальных законов, действовавших на тот момент. Обнародование этих злодеяний — уже наказание...

— Я понимаю, что борцы с инакомыслящими семидесятых годов

— это совсем, совсем не то же самое, что следователи, отправлявшие людей на Левашовскую пустошь в тридцатых годах. Никого из них мы не судим (они — не нацистские преступники), но, если преследовавший (и далеко не одного) вольномыслящего литератора человек вдруг занимает ключевой пост в органах безопасности демократического государства, мы вправе спросить: имеет ли он на то моральное право? И почему мы обязаны забыть о его прошлом и рукоплескать невиданной законопослушности сего гражданина? Мол, прежде он исправно исполнял один закон, а сегодня столь же усердно будет выполнять другой, и честь ему за это и хвала, а также большая признательность от демократической общественности.

— Нет у меня ответов на все эти вопросы! Я твердо могу сказать только то, что они своим служебным усердием загнали общество в идеологический застой семидесятых—восьмидесятых. Они начнут отвечать за отправленные ими в исправительные лагеря жертвы, которые действительно были и за которые действительно больно. Но следующим шагом будет осуждение тех, по чьей вине происходит то, что происходит с нами сейчас. И кто-то, получается, должен будет ответить за кровь в национальных конфликтах. За экономическое разорение страны. За тот голод, который испытывают наши старики. Объявятся обличители, а они уже появились, которые начнут осуждать тех, кто привел механизм разрушения огромной страны в действие. Мы ведь пока не знаем о том, что будет у нас после следующих выборов. Может быть, наш обнищавший народ проголосует за неизвестно каких лидеров, которые напомнят ему о том, что Советский Союз был прекрасен и могуч, а Горбачев и Ельцин, скажут они, разрушили, уничтожили нашу державу и наше благополучие. И тогда мы примемся осуждать это прошлое, на сей день являющееся настоящим? Так вот, очень уж скользок тот радикальный путь расставания с прошлым, за который вы выступаете.

— Вы знаете, — продолжил Евгений Лукин, — я заметил одну странную закономерность. ■ разговорах о непростении или прощении НКВД-КГБ сегодня наиболее радикально настроены внуки причастных к репрессиям "радикалов". Этакий наследственный большевизм.

— Сейчас мы и до особой генетики договоримся...

— Я говорю только о своем наблюдении. Как-то так само собой вышло, что у обличающих КГБ журналистов, с которыми я сталкиваюсь, дедушки работали в НКВД.

— Ну и что?

— А то, что этот факт не заставляет вас немедленно бросать работу в демократических средствах массовой информации, каяться и говорить о том, что вы не имеете морального права проповедовать демократические идеи, поскольку у вашей семьи столь темное и преступное прошлое.

— *Суццяя нелепіца — адвечать за грехи своих прадедушек и дедушек.*

— Точно. Но почему же сегодня мы требуем покаяния от нынешних сотрудников органов — за преступления дедушек, к тому же еще и не родных? Следователь — исполнитель, занимавшийся делами диссидентов, не в ответе за существование статей 70 и 190, принятых Верховным Советом России в 1961 году. И, кстати, почему мы не требуем в таком случае покаяния от депутатов-законников, голосовавших в свое время за введение в Уголовный кодекс России этих статей? Может быть, опубликуем этот список? И внезапно обнаружим в нем тех, кто нынче бичует исполнителей из КГБ за выполнение безнравственных законов...

— *Итак, исполнители у нас ни в чем не виноваты, потому что они действовали по приказам своего руководства. А руководство делало то, что продиктовали ему законодатели, — они его и направляли. А законодателей в свою очередь направляла коммунистическая партия. И лично генеральный секретарь КПСС. И как бы так само собой получается, что ни на ком ни вины, ни крови нет. Кроме как на главном злодее, то есть на генсеке. Самого последнего исполнителя этой роли, коли он явится в Конституционный суд, строго допросят. И он, жертва обстоятельств, вынужден будет отвечать за смертные грехи своих дедушек по партии. Но защита этих дедушек — действовавшие на момент свершения грехов законы. Все вокруг — пешки. Все — исполнители. Можно убирать знак вопроса из нашего заголовка. Ставить точку — как печальную констатацию этого факта. Сама же наша с вами беседа — это сплошные риторические вопросы без ответов. Задам-ка я один конкретный: почему не издана ваша книга документальных рассказов о палачах?*

— Ее, видимо, пока нельзя издавать в России.

— ?

— В этой книге есть такие факты, о которых вообще нельзя сообщать нашему сумасшедшему обществу. Иначе из достоверных наблюдений будут сделаны фантастические выводы. Есть проблемы, к спокойному и здравомыслящему обсуждению которых общество абсолютно не готово. Так что, считайте, я сам себе буду цензором.

Кто его знает, может быть, и прав майор госбезопасности: не стоит нам враз наступать на все грабли, раскиданные нашими непутевыми предками?



СТИХИ СЕРГЕЯ МАЛАХОВА

В книге третьей серии «Распятые» / «Палачей судит время» Л., 1998, с. 33/ мы смогли дать только документ о том, как и когда последовала расправа с поэтом, но его лагерного творчества не имели. Считалось, что оно утрачено. Однако недавно дочь поэта Галина Качанова, разбирая дома старые вещи, обнаружила тетрадь с лагерными строками Сергея Малахова.

Мы получили, таким образом, возможность сделать образ поэта более глубоким и зримым.

КЛЯТВА РОДИНЕ

Я дом свой покинул, я мать позабыл,
Я вырвал из сердца отца,
Когда раздирающим громом трубы
Ты в битву позвала бойца.

Я ночи не спал, я крутые, как жечь,
Гнилые галеты глотал.
А если ты вовсе велела не есть, —
И это была не беда!

Под сабельным блеском, под звоном пурги
Ложилась дорога твоя.
Мне были врагами твои же враги,
Друзьями — твои сыновья!

И если навстречу чужому штыку
Тебя твоя доля вела, —
То капала кровь и моя по клинку
И падала на удила...

Но вот мы стоим на расстанном мосту,
И нас разделяет овраг,
И кличет меня часовой на посту
Позорною кличкою: — Враг!

Я грудь распластаю, я руку вложу
На сердце, что рвется, грубя:
Я только послушать тебя попрошу,
Как бьется оно за тебя!

Я знаю: ты вышла посева полоть
И жесткой рукою берешь.
Ты можешь убить мою жалкую плоть,
Но веру в тебя не убьешь!

Что станет со мною, что ждет впереди, —
Не знаю еще, но клянусь,
Что вырву я сердце свое из груди,
Когда от тебя отрекусь!

МАТЬ

Ты пришла на свиданье сутулой походкой,
В час когда раскрываются двери зараз,
В час когда подпоручик поигрывал плеткой,
Напряженно скосив напружиненный глаз.

Были красны от слез потускневшие взоры,
Растрепалась изморозь серых волос.
Материлися рядом бандиты и воры,
В час, когда тебе сына обнять довелось.

Пару булок с махоркой увязанных вместе,
Опустила на столик, и дрогнув чуть-чуть,
На прощанье надела серебряный крестик
На его волосатую белую грудь.

А когда увели, и шаги отзвучали,
Ты, всплеснувши руками, припомнила вдруг,
Что забыла про шарф: ведь ноябрь — в начале,
Он ведь может простыть на осеннем ветру.

И дрожащей рукой оправляя косынку,
Протянула поручику шарфик в другой...
Посмотрев на ползущую книзу слезинку,
Он приподнялся, молча махнувши рукой.

И не глядя в окно, ты услышала сразу
Резкий стук топора за тюремной стеной,
И не кончив и скомкав начатую фразу,
Все понявши, ты рухнула на пол сырой!

КОГДА ВЕРНУСЬ

Когда я войду: отодвинутся двери
На цыпочках, как перед гробом моим,
Когда-нибудь ты... И не смея не верить,
Подниметесь все вы один за другим.

Твой черный зрачок в золотистом овале,
Как черный алмаз, заключенный в кольцо,
Застыв, отразит в настороженном зале
Мое бородатое злое лицо.

Ты руки поднимешь, качнувшись навстречу,
Шагнешь и бессильно опустишься вновь,
Когда, заслонив твои узкие плечи,
Твой муж приподнимет суровую бровь.

Помедлив минуту, я выйду, шатаюсь,
И молча посмотрит, как в мареве сна,
Мне вслед неподвижно хорошая... злая...
Потерянная безвозвратно жена.

А рядом, прозрачные вскинув ручонки,
Как прутник, который согнула гроза,
Худая, с моими бровями девчонка
Застынет, расширив большие глаза.

И только когда заскрипевшие двери
Захлопнутся, переломив пополам
Всю прошлую жизнь, — я сумею поверить,
Что сердце свое никому не отдам!

И ноги свои отряхнув, выходную
Вторую захлопну широкую дверь...
...Когда я вернусь и войду: затоскую
И снова уйду, как разбуженный зверь.

В семейном архиве Малаховых сохранился маленький устный рассказ жены поэта Фаины Исааковны — «Копейка». Он как нельзя лучше обнажает нравственные черты «железных рыцарей Феликса», — черта их палаческой биографии...

Мы сочли, что «Копейку» следует увидеть и нашим читателям.

КОПЕЙКА

Это как раз вон на той остановке было в 36 году. Лето начиналось частыми дождями, кругом лужи были, сыро и холодно. А я в белых туфельках ходила, костюме светлом и в белых нитяных перчатках. Тогда так модно было летом перчатки носить, а я любила элегантно одеваться, да и сейчас люблю... Дедушку твоего Сергея в июле арестовали, а мне двадцать четыре года только было, я еще верила, что все можно выяснить, исправить, бегала по разным инстанциям, даже письмо Сталину писала. И в этот раз я тоже хлопотать ехала к одному писателю известному, поэтому и оделась как можно лучше. Вот стою я, жду автобуса, нервничаю, думаю, как я разговор вести буду. А рядом — энкаведешник подвыпивший, лицо красное, наглое, усы светлые, глазами сальными все на меня посматривает, улыбается. Стал он ко мне ближе подходить, а от него перегаром водочным так и несет. Он ко мне приближается, а я от него отхожу потихонечку к краю тротуара. Вижу — автобус идет, достаю кошелек, хочу мелочь приготовить, тут у меня копейка и падает в лужу. Думаю: «Не буду поднимать, невелики деньги, грязно, да и автобус уже рядом». Тут сволочь эта энкаведешная подходит ко мне близко и говорит тихо так: «Подними деньги, сука! На них герб Советского Союза, видел я как ты в грязь герб нашей страны втоптываешь!» Испугалась я, кинулась эту копейку несчастную прямо белыми перчатками из лужи вылавливать. Тут автобус подходит и обливает меня с ног до головы грязной водой. Стою я растерянная, отряхиваюсь, едва слезы сдерживаю, а мужик этот вскакивает на подножку, ухмыляется нагло, ус свой покручивает. Вот, мол, как я тебя, дамочка, наказал!

С тех пор во мне как будто что-то надломилось, вернулась я домой и по инстанциям бегать перестала, поняла, что это бесполезно. А скоро и нас с мамой твоей в ссылку в Можгу отправили...

Как видно, гены поэтического дарования передаются даже через поколение. Наталья Стругач — внучка поэта Сергея Малахова. Профессия у нее вполне прозрачная: она — врач. Вспоминая сегодня ее деда, мы решили протянуть эту духовную нить от него к Наташе и дать место некоторым стихам молодой поэтессы.

МОЕМУ ДЕДУ С ЛЮБОВЬЮ И ПЕЧАЛЬЮ

СТАЛИНСКИЙ ДОМ

Буду жить я в старом доме,
Что построен был в тридцатых,
За кирпичными стенами,
Под высоким потолком,
За дубовыми дверями...
Здесь ареста ночью ждали,
Чтоб не спать, чай гоняли,
Обжигаясь кипятком.

А потом зимой блокадной
Собирались у буржуйки,
Жгли паркет в печи убогой,
Мебель, рамы от картин,
Чтоб согреться, чай морковный
Разливали тонкой струйкой.
И, рассвета не дождавшись,
Умер здесь старик один.

Никаким евроремонтом
Не отбелишь эти стены,
Страхи прошлых поколений
Оживают по углам,
В сапогах и тонком френче
Молча бродит привидение,
И скрипят полы ночами,
Вторая страшным тем шагам.

* * *

О светлом будущем мечтали вы
и для себя никто не пожил.
Но под сапог попали Сталина
И он вас первых уничтожил.

Из ваших тел создал машину —
Карательное государство.
Бюрократическую тину
На месте солнечного царства.

Мы всё хотим спасти Отечество,
но истину спасти не сможем
покуда счастье человечества,
улыбки детской нам дороже.

Наталья СТРУГАЧ

ЧЕРНЫЕ ДНИ В ЕГО ЖИЗНИ...

*Вспоминая Самуила Яковлевича
Маршака*

В стране разгорался необычный пожар. Поводом послужила статья «Об одной антипартийной группе театральных критиков», опубликованная в газете «Правда» 28 января 1949 года. Театральные критики Юзовский, Гурвич, Борщаговский, Варшавский, Бояджиев осмелились высказать замечания о пьесах на современные темы. За это они подверглись уничижительному разному. Их, нелестно отозвавшихся о драматических произведениях «передовых, лучших» писателей, объявили «носителями глубоко отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма». Обвинили в мошенничестве, в «гносном поклепе на русского советского человека». Отсюда и вывод: «очистить атмосферу искусства от антипатриотических обывателей».

В начатой кампании легко угадывалось одно обстоятельство — между строк подчеркивалось нерусское происхождение «групповщиков»; нет-нет, искомого слова здесь — упаси Бог! — не было, но только безнадежный глупец, слепой или глухой мог не понять, кто имеется в виду.

Статья в центральном органе державной коммунистической партии без подписи. По тогдашним меркам это означало — текст директивный, подлежит немедленному и неуклонному исполнению всеми органами литературы и искусства. Однако в столичных литературных кругах знали, что сверхсрочную сталинскую «идею» хитроумно воплотил в безымянной публикации не кто иной, как Анатолий Владимирович Софронов. В справочнике Союза писателей он скромно значился: «драматург, поэт». Но в годы сталинского произвола, впрочем и позже, в

годы застоя, он, занимая пост секретаря СП СССР, охотно исполнял поручения «верхов» и был исправным полицией-гонителем всего честного и благородного, что сохранялось в среде интеллигенции. Опусы Софронова признавались в статье, конечно, вершиной советской драматургии, а пьеса «Московский характер», поставленная по начальственному приказу на сцене Малого театра, охарактеризована так: «То, что заложено в пьесе Софронова, столь велико, столь радостно, столь дышит верой в нашу жизнь, столь оптимистично, что об этом нельзя умолчать». Самуил Яковлевич Маршак постоянно «интересовал» Софронова, а после выступления «Правды» появился повод заняться им специально, чем Софронов и не преминул воспользоваться.

Итак, команда дана. «Вредных паразитов, подтачивающих ростки полезных злаков», принялись искать повсюду. Не обошли и наше издательство — Детгиз. Московский комитет партии мгновенно создал комиссию, обязав ее проверить «подбор и расстановку кадров».

Ревизоры из комиссии подвергли злобному осмеянию хорошо знакомую ребятам-дошколятам читанную и перечитанную веселую «Азбуку в стихах и картинках» «Автобус номер двадцать шесть». Недопустимо пассажиров обыкновенного автобуса — советских людей — превращать в зверей, птиц, рыб и наделять неприличными чертами. Детгизовцам было рекомендовано хорошенько «вчитаться» в знакомый текст Маршака:

Автобус номер двадцать шесть.
Баран успел в автобус влезть.
Верблюд вошел, и волк, и вол,
Гиппопотам, пыхтя, вошел...

Индюк спросил: — Который час? —
Козел сказал: — Не слышу вас. —
Лиса сказала: — Скоро семь. —
Медведь сказал: — Я всех вас съем! —

Навозный жук жужжит: — Боюсь! —
Орел сказал: — А ты не трусь! —
Петух пропел: — Какой герой! —
Рысь проворчала: — Рот закрой! —

Свинья заспорила с ежом.
Тюлень поссорился с моржом.
Удав кольцом сдавил свинью.
Фазан забился под скамью...

... Наш издательский дом в Малом Черкасском переулке, близ Лубянки, все сильнее обволакивался дымом надуманных обвинений. Аппаратчики из литературного департамента на Поварской, официально именуемого Союзом советских писателей СССР, науськанные

тем же Софроновым и его шатней, требовали от Детгиза публиковать широким фронтом близких им по духу «взрослых» писателей. Упорно навязывали имена прозаика Михаила Бубеннова или поэта Сергея Смирнова и иже с ними. И чтобы покруче доканать издательство, рядом с «безродными космополитами» появилась «обойма». «Обойма», дескать, всем завладела и близко никого не подпускает. Так, технической детали, железной рамке с механизмом, подающим патроны в ствол винтовки или пистолета, литературные сатрапы придали отвратительный, дурно пахнущий смысл. В центральной печати появился памфлет:

А входил в обойму кто?
Лев Кассиль, Маршак, Барто.
Шел в издательство косяк:
А.Барто, Кассиль, Маршак.
Создавали этот стиль —
С.Маршак, Барто, Кассиль.

Подошла очередь, и на Поварской взялись за Комиссию по детской литературе Союза писателей. Ее возглавлял Маршак. На этот раз отличилась «Учительская газета». Обзор «О критиках и критике в детской литературе» («Учительская газета», 26 февраля 1949 г., № 15 (3310) скалькирован с «Правды»: «...с особой пристальностью следует приглядываться... к попыткам в отдельных случаях столкнуть ее (детскую литературу. — Б.К.) на враждебный нам путь космополитизма и гурманского эстетства». О Чуковской: критик-формалист, оценивающий детскую литературу «с холодным равнодушием чиновника из пробирной палаты». Об Ивиче, писателе, литературоведе, военном журналисте-фронтовике: «антипатриот», «сноб», «изворачиваясь и маскируясь, хладнокровно уничтожает новые имена в детской литературе».

...Послевоенную жизнь нашего общества окрашивало мрачное явление. О нем под страхом смерти никто, нигде и никогда не смел не только высказаться, но и подумать. «Сталин и еврейский вопрос». Светлана Ибсифовна Аллилуева, дочь Иосифа Виссарионовича, в малоизвестной у нас книге «Только один год» писала: «Мне слишком хорошо было известно, что отцу везде мерещится “сионизм и заговоры”». Н.С.Хрущев в пылу откровенности признался, что на самом верху «... ставился вопрос вообще о еврейской нации и ее месте в нашем социалистическом государстве». Сам же Сталин, превзойдя в иезуитстве средневекового Лойолу, упрямо осуществлял свой план.

13 января 1948 года ночью на глухой улице Минска ударами в висок был убит народный артист Михоэлс. С января 1949 года развязана кампания борьбы с космополитизмом. В августе 1952 года ликвидирован Антифашистский еврейский комитет, казнены видные борники культуры и среди них детский поэт, человек с нежной душой

ребенка, Лев Моисеевич Квитко. Осенью 1952 года — дело «убийц в белых халатах», арестованы врачи, лечившие Сталина, взяты под подозрение медицинские работники определенной национальности. И апофеоз — выселение (депортация) за Урал 1,5 миллионов евреев из европейской части Советского Союза. Чем это вызвано? Вразумили. «Предстоит война против США, пора возвратить захваченную американцами лучшую и большую часть поверженной Германии. Следует заблаговременно очиститься от “5-й колонны”, убрать потенциальных пособников противника». Но судьбе угодно было распорядиться по-иному. Акция не состоялась. В марте 1953 года вдохновитель ее пал, сраженный параличом.

Что же Маршак? Над его головой Берия, Рюмин со опричники занесли секиру и ждали сигнала. Сигнал не поступал. Почему? Возможно, кремлевского диктатора удерживало растущее сопротивление гуманитариев мира, недовольство Международной корпорации юристов. Имя прославленного поэта давно перешагнуло отечественные границы и высоко ценилось во многих странах. Но, возможно, и...

Как обычно, я приехал к Самуилу Яковлевичу домой на улицу Чкалова, неподалеку от Курского вокзала, к 8-ми утра. Несмотря на ранний час, он уже был у себя в кабинете за письменным столом. Кабинет — громко названо, угловая рабочая комната, скорее мастерская, с одиноким окном, глядящим во двор. День настал, а сумеречно. Полно книг и папок — в книжном шкафу, на обветшалом диване. Стол с телефоном и громоздкой пепельницей, без единого свободного клочка — белые листки и обрывки папиросных коробок, наскоро исписанные крупными четкими округлыми буквами, типографские гранки со следами краски, раскрытые страницы книг. Роскошный беспорядок, понятный лишь ему одному...

Похудевший, ссутулившийся, он сразу, едва я перешагнул порог, жестом показал на низкое кожаное кресло, впритык уместившееся у входа, и, осиливая кашель, ошарашил упреком:

— Голубчик, вы совсем не щадите меня, старика, вот уже полчаса жду вас, — и, чуть передохнув, продолжал сердиться, — корректура ужасная, текст набран тесно, начинается высоко, а кончается в самом низу страницы, не хватает места для одной строки.

Я был потрясен. Недруги шельмуют его печатно и устно, донимают анонимными телефонными звонками, угрожают, а он, занемогший, совершенно невозмутим. Корректура вступительной статьи к сборнику «Город мастеров» ему, видите ли, дороже собственной жизни.

И тут совсем неожиданное. Опираясь обеими руками на палку, он с трудом поднялся из-за стола, близоруко сквозь толстые стекла очков посмотрел на мое посеревшее лицо и принял меня успокаивать. Да, представьте, не я его, а он, добрейший Самуил Яковлевич, ни за что ни про что избиваемый режимом, уговаривал меня и друзей-това-

ришей не переживать за него. Он, как всегда, делает свое дело, и никто не заставит его изменить долгу писателя. «Пусть знают!» И будто в подтверждение сказанного я услышал: «Саша звонил». В том находил он поддержку, я понял.

Александр Александрович Фадеев с сыновней высокоочтимостью относился к Маршаку и сделал все, чтобы не отдать его палачам.

Кто мог предположить, что пройдут два года с небольшим, в природе и обществе наступит оттепель, и Фадеев, испытывая ужас от событий прошлого, раскаиваясь в собственной вине и понимая, что его «жизнь... как писателя, теряет всякий смысл» (слова из предсмертного письма А.А.Фадеева. Газета «Правда», 20 сентября 1990 г. «Последняя исповедь Александра Фадеева»), приговорит себя к смертной казни. За сутки до рокового выстрела (это произошло 13 мая 1956 года) он встретился один на один со своим самым близким человеком. О чем они говорили, никто и никогда не узнает, но, по свидетельству домашних, после беседы с Маршаком Александр Александрович долго не мог успокоиться.

...Черные дни в жизни Самуила Яковлевича Маршака. Он выстоял, выдержал. Остался верен всемогущему русскому слову, служению отечественной литературе. И этим он нам дорог и памятен.

Борис КАМИР

Об авторе: Борис Исаакович Камир с 1940 года почти полвека работал в издательстве «Детская литература» (Москва), был зам. главного редактора, заслуженный работник культуры РФ.

ТА САМАЯ КОЛЫМА



О судьбе людей, которые волей насильственного режима были брошены за колючую проволоку лагерей, о том, что ими было пережито, — мы знаем прежде всего из воспоминаний самих жертв сталинских репрессий. Но те, кто работали вблизи мест заключения и никогда не были лишены свободы, лишь в редких случаях рассказывают о том, что им довелось видеть и слышать.

Воспоминания Феодоры Михайловой (1910—1998) — это именно такой, можно сказать, особый случай.

Феодора Михайлова была на той самой Колыме, где погибли Бруно Ясенский и Осип Манделъштам и еще тысячи других. В ее воспоминаниях возникает картина того страшного быта, который на годы и годы оставался для «зеков» их последним домом, откуда выход был только в могилу.

Она родилась в Петербурге в 1910 году, здесь прошла ее жизнь, за исключением того периода, когда она, вместе с мужем, горным инженером, работала на Севере, в системе знаменитого Дальстроя, который строил социализм на костях арестованных рабов. Свои воспоминания она ранее не могла опубликовать по цензурным условиям. Они переданы нам ее сыном.

* * *

Сейчас мне уже за восемьдесят, а все, о чем я хочу рассказать, происходило в годы моей молодости...

Мой муж только что окончил в Ленинграде Горный институт, у нас

было уже двое детей, материально жили стесненно и решили ради заработка завербоваться на Дальний Восток. В отделении Дальстроя нас оформили — мужа в качестве геолога, меня как младшего коллектора, и мы, оставив сыновей на родителей мужа, уехали во Владивосток.

После недельной поездки по железной дороге мы погрузились в порту на пароход «Николай Ежов». Нас разместили в нижнем трюм-твиндеке. Его справедливо называли «Свиндек». Это большое неуютное помещение.

В первые же часы отплытия пассажиры вышли на палубу полюбоваться морем. Оно с каждой минутой свирепело. Гребни волн то подбрасывали судно, то опускали его словно в глубокую яму. Палуба уходила из-под ног. Всем было предложено уйти в каюты. Но и там с каждой минутой становилось все труднее. В трюм набиралась вода.

Как потом узналось в Магадане, мы попали в 12-балльный шторм. Тринадцатого декабря 1938 года были, наконец, брошены якоря у берега бухты Нагаева. У причала нас встретили и отвезли в большой барак. Там выдали теплую одежду: ватные стеганные штаны, телогрейки, полушубки, грубые шапки-ушанки, валенки и краги — большие рукавицы из овчины с раструбом.

Хмуρο и холодно, хотя и больших морозов в Магадане нет. Больше чем минус двадцать — двадцать пять не помню. Магадан предстал перед нами несколькими двух- или трехэтажными домами. Остальное — постройки-баракы и палатки.

Не успели мы отойти от утомительного морского пути, как нас уже отправляли в поселок Берелех, предстояло ехать 350—400 километров в кузове грузовой машины. На кузов натянута брезентовая палатка. По бортам лавки-сиденья. Тут же находилась и маленькая печка. Дрова сырые, дыма больше чем тепла. Чем дальше от Магадана, тем крепче морозы. Они приводили нас в отчаяние. Холод забирался под одежду, мерзли и затекали ноги. Дым ел глаза. Наш шофер из заключенных вел машину кое-как, часто останавливался. Был, очевидно, из тех, кто не любил «вольняшек», приехавших за «длинным рублем». Так к вольнонаемным относились уголовники.

По своей наивности я думала, что в Берелехе нас с мужем поселят в отдельную комнату, где мы сможем хоть чуточку обмыться, отдохнуть, выспаться. Казалось, не будет конца этой более чем двадцати-часовой поездке. Наконец добрались.

В Берелехе мы заняли с мужем узенькую кровать в мужской комнате. На наше счастье один постоялец был в командировке. В комнате грязно, вода в графине превратилась в лед. Дрова из тайги привозили с перебойми. Не хватало транспорта и людей. Вблизи поселка все вырублено. Лес уже далеко. Машины часто застревали в пути. Колесные шины не выдерживали сильных морозов, лопались.

Где-то все же раздобыли дров, обогрелись, пообедали в поселковой

столовой. Вся пища — сухие овощи и мясные консервы, но мы всему были рады. Если б еще и посолить, но соль не завезли. Хорошо и так. Встретились с главным геологом Борисом Ивановичем Вронским. Получили назначение. Нам предложили работу на разведке рудного золота в пределах прииска Мальдяк, значит, еще одна поездка — тридцать километров на санях. К нашей утепленной одежде добавили два тулупа. Морозы в тех местах около пятидесяти градусов. Я приморозила на руках пальцы, с трудом их оттерли. Моя мечта об отдельной комнате не осуществилась. Жить и работать пришлось в бараке. Он разделен на две половины. В одной живут заключенные (статья бытовая). Трое работали в штате разведки, дневальный обеспечивал дровами и водой, раз в месяц ездил в Берелех за продуктами, готовил еду.

На полу, на камнях лежала большая железная бочка; ее верхнее отверстие с вмонтированной дверцей было топкой. На бочке стоял большой бак, в нем круглосуточно таял лед. Таким образом добывали воду в течение многих месяцев. Колол и развозил по поселку лед один из заключенных.

Другую половину барака занимал один из заключенных, начальник разведки, прораб, и тут же мы с мужем заняли угол. Соорудили на вьючных ящиках постель, сделали из матрацков полог.

Все, что я написала о нашем пути, не отношу к подвигу. Нет. Нам действительно трудно было. Но я не об этом. Я много думала (это уже будет потом) о людях, оторванных от своих близких, от любимых занятий, привычных мест и, что самое страшное, обвиненных без вины и прозванных «врагами народа». Если мы — вольнонаемные, приглашенные на работу в суровый край, претерпели столько трудностей, то что же перенесли в такой сложной длинной дороге осужденные? Везли ведь их не в плацкартных вагонах, а в теплушках, набитых людьми до отказа. Как эти люди перенесли плавание по Охотскому морю? Оно очень неласковое и в теплые месяцы.

Я плавала по нему неоднократно. Я потом узнала, как везли политзаключенных по тяжелой трассе Колымы. В открытых грузовиках, стоя, или гнали по этапу под конвоем грубых, бездумных солдат военной охраны. Эти тупые службисты, получив ружье, позволяли себе чинить над несчастными любые расправы за самое невинное нарушение. Били несчастных прикладами, не глядя на возраст. Кроме всех мук к узникам везде подсаживали уголовников. Последние не любили «контру», как они выражались. Отбирали у бедолаг все, что можно было забрать, вплоть до последней пайки хлеба. Жестоко издевались, оскорбляли; у политических ни с какой стороны не было защиты. Изошренное хамство, недоедание, лютые морозы, сильное переутомление не все выдержали.

Много погибло прекрасных людей. Я была во многих местах колымского края, но нигде не видела кладбища. Где хоронили людей?

Возможно, бросали в отработанные шурфы, канавы или просто кое-как присыпали землей...

Над поселком в течение долгих месяцев стоит густой морозный туман; тогда даже руки протянутой не видно. Весь поселок Мальдяк из конца в конец можно пройти за десять минут.

На приiske жил представитель Первого отдела Филимонов. Жил он в небольшом аккуратном домике. Молодой. Носил новую военную форму, оружие. Филимонов неусыпно следил за порядком живущих в поселке. Невежественный паренек считал себя в поселке главным. Ему партия поручила это и он готов оправдать ее доверие. Он всегда присутствовал в клубе, предстал перед всеми умелым организатором. Иногда, очень редко, разрешали выступить в нашем клубе заключенным артистам. Все радовались, хотелось в этой глуши услышать настоящих исполнителей. На одном из таких вечеров выступал исполнитель песен. Я со своей восторженностью бурно аплодировала.

После окончания вечера, не успели мы дома раздеться, вошел воровец. «Пойдем», — сказал он. Не помня себя, я пошла. Мы вошли в хорошо натопленную комнату. За столом сидел Филимонов. Это был совсем не тот парень-рубашка, каким он бывал в клубе. Серьезный, со сверлящим взглядом. Не предложил мне сесть. Глядя на него, было ясно: этот тип может любого стереть в порошок, лишит свободы. «Кому вы аплодировали?» Началось длинное нравоучение. Он враг народа и недостоин похвалы, — продолжал напыщенный вояка. Долго я слушала о Великом Вожде. О том, что зря не сажают и подобное. Всю ночь мы с мужем не спали, ждали: вот-вот придут за мной.

Запомнился мне еще один случай. Все происходило в том же клубе. На сцене стоял немолодой заключенный-артист. Вышел на сцену и Филимонов, он всегда это делал, особенно когда выступали осужденные. Филимонов ловко вытащил из кармана серебряный портсигар, открыл его и протянул артисту — закурить хочешь? «Если позволите», — сказал он, и протянул руку. В тот же миг раздался щелчок, портсигар был закрыт и положен в карман. Довольный своей находчивостью, этот мерзкий недоумок засмеялся и, обратив лицо к сидящим в клубе, сказал: «Вот как с ними надо!» Все молчали, испытывая стыд. Помнили мои аплодисменты и вызов к Филимонову. Люди боялись друг друга.

Трещит свирепый мороз. При выдохе шумит воздух. В открытом забое прииска, словно муравьи, копошатся люди. Идет вскрытие торфов — снятие золотоносной рыхлой горной породы. Трудятся политические. Боже, как их много. В 37-м году мы знали о массовых арестах, вплоть до больших военных чинов, но такое количество «врагов народа» только на одном приiske Колымы трудно было себе представить. Их в то время насчитывалось в Магаданской области более десяти. А

сколько же таких людей по Советскому Союзу? Неужели вся страна обнесена колючей проволокой?..

О нечеловеческом отношении к политзаключенным я больше узнала, когда мы вручали несчастным сто граммов спирта и бутерброд с красной икрой, она там была очень дешевая и в большом количестве. Женщинам-сотрудникам выдали спирт, черный хлеб и икру. Все это «причастие» мы вручали заключенным с целью побудить их работать лишние два часа. Их рабочий день определялся десятью часами. К нам подходили не люди, а нечто невообразимое. Одежда изношенная. Ноги поверх обуви обмотаны полотенцами, тряпками. Так же утеплены и головы. Немытые, изможденные лица (вода добывается трудно); сверкают одни белки и зубы, у кого сохранились. Сопровождаемые вохровцами, несчастные подходили к женщинам и брали трясущимися руками наше подношение: тут же выпивали и ели бутерброд. Невероятно тяжкая картина навсегда осталась в моей памяти. Один пожилой узник, выпив рюмку, сделал движение в сторону женщины, похоже, что он хотел поцеловать ее руку. В ту же минуту к нему подскочил вохровец и ударил его прикладом. Несчастный упал. К нам двигались окованные люди, мы были заняты своим делом и не увидели, что было с упавшим. Только дома, вспоминая тот жуткий случай, хотелось не плакать, а кричать: за что, за что человек должен переносить такие страдания. Неужели они сознательно обрекли себя на каторжное существование, возненавидев своих соотечественников, Родину и стали на путь предательства, измены?..

Всякого рода ортодоксы так и думали, веря словам: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Вероятно, так и должно быть; может быть когда-нибудь и будет. А пока я вижу какое-то подобие людей.

Я работала по переписи населения. Если не ошибаюсь, в 1939 году. Мне выделили помещение в бараке, куда и впускали небольшими партиями заключенных, среди них я не помню ни одного с бытовой статьей. Около меня стояла охрана. Не понимаю, для чего она мне была нужна. Идущие к моему столу были так ослаблены, что от любого прикосновения к ним могли упасть. Заполняю бланк. В графе «специальность» неизменно слышу: профессора геологин, биологин, врачи, писатели, инженеры, доктора наук, заслуженные деятели наук любых специальностей. Только одна графа записывается мною одинаково. Осужден по пятьдесят восьмой. Страшная, имеющая различные пункты, от чего зависит срок: 10—25 лет.

Вспоминая лютую, долгую зиму Колымы, до сих пор не могу понять, где люди брали силы, как выдерживали долгий рабочий день без всякой техники. Лом, кайло, лопата и тачка — вот и все. Единственное, что помогало — оттаивание грунта. Жгли костры. Около этого огня можно было хоть как-то и обогреться.

В колымском крае, на прииске Дарпир добывали россыпное олово, там же разрабатывалось и рудное месторождение. Оно находилось в стадии разведки. Худенький невысокий человек везет тачку с грунтом. Этим человеком был Анатолий Капитонович Болдерев — великий кристаллограф с мировым именем. Он обращает свое внимание на необычный камушек. Ученый наклоняется, чтобы его поднять, но тут же подбегает вохра и замахивается на остановившегося. Извините, здесь касситерит — оловянная руда... «Шо. Який тоби касрит?» — кричит солдат. В это время проходит начальник участка, он подходит к Анатолию Капитоновичу и берет камешек из его рук. Затем приглашает Болдерева в контору и впервые узнает, с кем разговаривает. Начальнику участка удается перевести ученого сначала к себе в присковую контору, а потом Анатолия Капитоновича отправляют в Магадан в минералогический отдел Северо-Востока. В Управлении работали бывшие ученики Анатолия Капитоновича, они с большим уважением отнеслись к своему учителю и прекрасному человеку. Не помню уже точно, но надо было прочесть какую-то лекцию, которую мог провести и начинающий геолог. Но лагерное начальство командировало для этого крупного ученого. Ехали в сильный мороз, попали в наледь. Машина провалилась, шофер погиб. Анатолию Капитоновичу с трудом удалось выбраться из машины. Мокрый, обледеневший, он не дошел сто метров до барака. Упал. Похоронен А.К.Болдерев в Магадане. Так погиб выдающийся ученый.

Исчезают туманы. Сильнее шум на волю вырвавшихся речек. Близится весна. Отогрелись, умылись каторжане. Рабочий день продлен. Прииск готов к промывочному сезону россыпного золота. Кинулись на прииски, на рудники чиновники из Магадана. Они ходят вальжно по забоям, следят за работой заключенных; там и свой неусыпный страж. Дают главному геологу указания, хотя, сидя в теплых кабинетах в управлении, ничего толком не смыслят ни в геологии, ни в эксплуатации. Вохровцы покрикивают на заключенных, заставляют их быстрее бегать к промывочному прибору с груженными тачками. Присковые службы закрыты вплоть до медпункта. Все подчинено промывке золота. Женщины стоят со специальными приспособлениями возле колод. По ним струится мощная струя воды, размывая комья рыхлой золотоносной породы. Ее надо быстро перемешивать, чтобы драгоценный металл не ушел в отвал, а оседал на цыновках на дне колоды.

Долгие месяцы злобствует зима. Кажется, что природа не найдет в себе сил и никогда не воскреснет. Но всему свой век. Солнце все выше. На северных склонах сопок еще лежит снег, воздух тайги напоен запахом кедрового стланника. Журчат ключи в распадах. Птицы иногда летят так низко, что слышен шум от их крыльев. Работающим в забое заключенным они несут кусочек жизни, глоток свежего воздуха.

Не доступно им, работающим в забое, зеленое буйство тайги. По-

стоянный конвой не дает человеку права сделать даже два свободных шага в сторону. А как необходимо после долгой суровой зимы вдохнуть запах таежных трав, цветов, лишайников. Как много прибавляют сил разнообразные северные ягоды, голубика, морошка. На невысоких кустарниках растет покрытая синевою жимолость. Варенье из этих ягод не сравнимо ни с чем. Склоны сопки усыпаны крупной спелой брусникой. У подножья сопки — поляны со множеством грибов. Их так много, что, присев на одном месте, сразу наполнишь ведро отборными маслятами.

И все это богатство, так необходимое для жизни, недоступно для тех, кто назван «врагом народа».

Их кормят какой-то бурдой, в то время когда можно совершенно бесплатно есть свежую кету и горбушу. Когда, преодолевая бурное течение, мели, рыба стремится на нерестилище. В реках из-за плотно скопившейся рыбы не видно воды. Бери руками, выбирай, какая понравится. Но у кого бы дрогнуло сердце, видя, что кормят каторжан той же рыбой, пересоленной до горечи. Кому бы пришло в голову вывести в лес хотя бы один раз обессиленных людей, дать им подышать новорожденной тайгой, увидеть красоту Севера! Предоставить один день как благодарность за их каторжный труд, за выполнение плана. Ведь это они дают стране огромное количество дешевого драгоценного металла...

Подобное рассуждение может себе позволить очень наивный. Такого не бывает даже в сказках Шварца. Мысли мои — сплошная крамола. Об этом не только нельзя говорить, но и думать-то страшно. Слава Богу: всё это в прошлом. Коль уж человек наказан, то нет, надо это наказание усиливать. Держать людей около серой земли, в серых бараках, мало пригодных для жилья. Зимой невыносимая стужа — летом одолевают комары, мошкара. А потом окажется: осужден по ошибке!

Политзаключенных, как правило, посылали на самые тяжелые работы. И лишь в редких случаях разрешали им трудиться по специальности.

В Магадане, примерно в пятидесятом году, во ВНИИ работали шесть крупных геологов. Для них существовал, с обязательным выполнением, лагерный режим. Уходить на ночь в зону, днем на улицу не выходить. С вольнонаемными не здороваться. Упаси Бог подать им руку, не вести никаких разговоров, не касающихся работы. Не пользоваться буфетом, столовой, библиотекой. За выполнением всего положенного следил сам директор и сотрудники, которым поручалась слежка. Питались осужденные тем, что приносили с собой. Только кипятком им полагался. Из шести заключенных был назначен бригадиром Александр Григорьевич Вологдин, член-корреспондент АН. В его обязанности входило строго следить за своими товарищами, не допускать никаких вольностей. Почти каждое утро бригадир вызывался в кабинет директора, который, развалясь в кресле, напоминал о запретах.

«Для таких, как ты, — говорил хозяин института, — мы масло, вы вода, это не смешивается». Бедный ученый выслушивал все это стоя. Кроме А.Г.Вологодина были: Шахов Феликс Николаевич, работавший до ареста в Омске. Богадский Вячеслав Вячеславович из Красноярска. Разведчик запасов полезных ископаемых Баженов Иван Кузьмич, Владимир Николаевич Верещагин, Юрий Михайлович Шейнман.

Северо-Восточное геологическое Управление было очень заинтересовано в консультации крупных специалистов. Знали и о грубом отношении к заключенным. Кроме всего, не верили в справедливость ежовских и бериевских судов-троек того времени.

Научно методическим отделом (СВГУ) руководил в высшей степени образованный человек — Владимир Федорович Алявдин — ученик А.К.Болдерева. Он стал вести переговоры с лагерным начальством и с директором ВНИИ о переводе шести геологов в свой отдел. В лагере согласились. Напыщенный руководитель, не ведая о большой потере для института, не сопротивлялся.

В отделе готовились к встрече новых сотрудников. Им выделили большую комнату, поставили столы, обеспечили бумагой, чернилами, химическими колбами. Поставили электроплитку.

Обсуждался вопрос: кто будет снабжать специалистов литературой и покупать им все необходимое. Эту заботу поручили мне. В первый день встречи Владимир Федорович представил меня. Я знала, как велики эти люди, знала и то, что им многое запрещено. Я стояла, вытянув руки по швам, произнесла, робея, «здравствуйте». Подать руку ни они, ни я не осмелились. Все шесть человек одеты в мрачную лагерную очень изношенную одежду и обувь. Шахов был одет в зимнее старое пальто. Оставшись с ними наедине, я спросила, есть ли у них чайные ложечки. Есть одна, ответил кто-то; они еще не утратили чувства юмора. Я купила в ювелирном магазине шесть серебряных ложечек, они стоили очень дешево. Моя покупка их очень смутила. Как я узнала спустя время, они решили, что меня, столь ловко начинающую с чайных ложечек, надо опасаться. Дама эта определенно поставлена Первым отделом. В день их прихода к нам человек пятнадцать решили и собрали для них определенную сумму. Я имела довольно много денег и могла покупать им необходимое питание, одежду, обувь. Кроме того, мы договорились с геологами-полевиками, брали у них малоношенные куртки на собачьем меху, телогрейки, обувь. Эти вещи шли на списание. У входа в их комнату со стороны коридора была их вешалка. Мы присматривались — кто больше нуждается в одежде, снимали старое и вешали лучшее, вкладывали в рукава ватников теплое белье, ставили теплую обувь. Договорились с уборщицей, бывшей заключенной, она ежедневно приносила из столовой хорошие обеды. Первое время моих подопечных все смущало. «Откуда это?» «Не знаю, не знаю, — отвечала Аня. — Обедайте на здоровье».

Пальто Феликса Николаевича не выбрасывали, поверх него вешали другую одежду, понимали, что это пальто являлось частицей его семьи, дома. С каждым днем геологи чувствовали заботу о себе доброжелательных людей. Мне они скоро стали не только доверять, но и относиться с большим теплом. Они интересовались моей семьей, рассказывали о своих близких, показывали фотографии своих близких. Сильно переживал о семье Верещагин. Его жена с двумя маленькими сыновьями приехала на Колыму. Остаться ей вблизи мужа не разрешили. Направляли подальше. И только благодаря Алядину ее отправили в более теплый район Колымы, где она и работала геологом до освобождения мужа.

В нашем отделе геологи-заключенные не подвергались такому унижению, как во ВНИИ, но им не разрешалось днем выходить на улицу. Их прогулкой была ходьба на работу и обратно. Четыре километра ходили без конвоя. Это уже было благо. Доступ к специальной литературе жестко ограничивался. Книги из библиотеки я получала по завизированному списку Цареградским, начальником СВГУ. Значительно сложнее было получить материалы в Геофонде. Доставленная литература просматривалась определенным лицом, который ничего не смыслит ни в литературе, ни в людях. Заключение давалось одно: не положено. На страницы с описанием месторождения (ради этого текста и бралась книга) надевался конверт из плотной крафт-бумаги, все прошнуровывалось и ставились сургучные печати. В таком виде я вручала геологам литературу. При этом испытывала стыд и обиду. Однажды, протянув книгу — «кота в мешке» — семидесятилетнему Ивану Кузьмичу, я ткнулась головой в его плечо и буквально зарыдала. Он тоже разволновался и стал успокаивать меня. Он знает — не моя это идея. На душе было тяжело. Все чувствовали себя натянуто.

Хочется сказать еще о некоторых людях, ставших мне добрыми друзьями. В СВГУ работал очень интересный человек — Устиев Евгений Константинович. До его ареста он преподавал на кафедре петрографии Ленинградского университета. Не знаю, какой у него был срок. Через этого человека в нашу семью вошла замечательная девушка Лёдя. Она отсидела в лагере 10 лет. Лёдя — дочь профессора, являлась студенткой геологического факультета московского ВУЗа. Родители девушки погибли в лагере, младшие сестры и брат выжили. Много тяжелого рассказала Лёдя о десяти годах, вычеркнутых из ее юности.

Сложилось у нас теплые и интересные отношения с Анастасией Федоровной Ефимовой — палеофитологом, которая, не совершив никакого преступления, была лишена свободы на долгий срок. Я познакомилась с ней после ее освобождения. Муж ее погиб без вести. С детьми встретилась уже взрослыми.

Вернусь к своему отделу. Я продолжаю носить геологам опечатанные книги, забочусь о людях как могу и смею. Специалисты встреча-

ются с вольнонаемными и. безусловно, читают то, к чему их не допускают всякого рода кретины.

Магадан, 1953 год. Еще все засыпано снегом, солнце пригревает сильнее. Идет к теплу. Кажется, ничто не нарушает установившегося ритма жизни людей. И вдруг страшный взрыв: везде — в рабочих кабинетах, в квартирах, на улицах из черных тарелок-репродукторов разносится тревожный голос: серьезно болен Сталин. Ежеминутно люди следят за сообщениями из Москвы.

А через совсем короткое время из тех же репродукторов разносятся траурные марши. Повсюду митинги, портреты Вождя, окаймленные траурными лентами. Плачут: одни искренне, другие по инерции; особенно на глазах у начальства: кто знает, как оно все обернется?..

Недолго длится людская скорбь. (Хотя некоторые и сейчас печалются по прошлому.) Новый кремлевский правитель объявляет на весь мир о злодеяниях Сталина и его приближенных. Становится ясным, кто истинные враги народа.

Надо было хоть немного знать, видеть, чтобы понять состояние заключенных в те дни. Находились они в огромном напряжении, неуверенности, с робкой надеждой на избавление от неволи.

Близится весна. Много выяснилось, изменилось за короткое время. Встревожены люди. Ждут того единственного дня...

Он настал — этот великий день. Из приемной Митракова — начальника Дальстроя, приглашают осужденных специалистов. Так просто не позовут. В добрый час. Шесть человек пошли по улицам города (наш отдел находился в другом здании). И никто не посмеет их задержать, остановить. Сотрудники отдела — никто не приступает к работе. Слишком велико событие. Даже «неверующие» находятся в растерянности.

В отсутствие Владимира Николаевича Верещагина вызвана на встречу с мужем — женщина-декабристка. Так её называли. Прилетела она в Магадан на каком-то грузовом самолетике. Все ждут свободных людей, без позорного клейма — «пятьдесят восьмая». Еще до прихода шести человек мы знали: свободны. Я вошла в их комнату, разумеется, не в минуту их возвращения

Невозможно забыть тот день, как и невозможно вспомнить его без слез. Все шесть человек молча сидели за своими столами, не сняв верхней одежды, растерянные, безучастные. И только семидесятилетний Иван Кузьмич, опустив голову на руки, горько плакал.

Жила в них робкая надежда — справедливость восторжествует. Но все произошло так неожиданно. Еще два часа тому назад никто и представить себе не мог такую перемену. Несколько минут тишины. Комната стала наполняться людьми, поздравления, смех, а больше слез. Обнимались, целовали женщинам руки. О, как долго они мечтали, желая поблагодарить спасавших, принимавших участие в их легкой жизни. В лагерь специалисты больше не вернулись. Размести-

ли их в гостинице. В тот вечер в моей семье освободившиеся ужинали. Пять геологов быстро уехали из Магадана. Владимир Николаевич на некоторое время задержался. Он ждал жену, которая заканчивала геологический отчет.

У меня с этими людьми была регулярная переписка. К сожалению, не очень долго. Все они быстро ушли из жизни... Дольше других жил Верещагин. В Ленинграде мы жили в одном доме, дружили семьями. Я всегда их помню.

О геологе Предтеченском: с ним я не встречалась. Знала, что Андрей Александрович отбывал свой срок на Колыме по «красноярскому делу», которого не было, как и не было никаких других преступных дел.

Создавались «преступные группировки» не только угодливыми ту-пицами. Хватало подлецов среди умных, понимающих, к какому «светлому будущему» идет страна. Кто захочет портить себе карьеру? Жить хочется спокойно, сытно. А сколько, мягко сказать, несмелых? Эти не пойдут доносить на друга, но и не защитят его, случись что...

Честные, мыслящие, не совершив ничего недозволенного — стали врагами народа. Каторжниками. Их бесплатный труд обогащал Союз верушимый. Погнали по этапу лучший цвет интеллигенции. На стройки века, лесоповалы, добычу полезных ископаемых.

Золотая Колыма, золота тьма. Страна нуждается в драгоценном металле. План его добычи назначается Москвой. Невыполнение задания грозит тяжелой карой. Эксплуатационники вынуждены добывать золото хищническим путем. Разрабатывались участки с богатым содержанием металла.

Вспомнился один случай там же, на Колыме, на прииске Дарпир. Это было оловянное россыпное месторождение. Главный геолог прииска Константин Рабель эксплуатировал касситеритовые залежи (руда олова) с различным содержанием. План был сорван. Рабель арестован и обвинен в сокрытии богатств недр с целью передать их одной из вражеских стран.

В течение года геологи хлопотали, доказывали властям истину, и Рабеля удалось освободить. Было на Дарпире и рудное месторождение. Находилось оно в стадии разведки. Вскоре оба месторождения законсервировали. Дешевле стало покупать олово в Китае.

Все внимание было уделено россыпному золоту. Приисковое руководство изнемогает от переутомления, не говоря уже о заключенных. Все для выполнения плана и он выполняется и перевыполняется. Все чаще появляются фамилии награжденных орденами, медалями. Геологи, начальники приисков — заслуженно. Разумеется, становится все больше орденосцев среди высшего командования Дальстроя. Как правило, отмечались высшими наградами надсмотрщики, командированные из теплых кабинетов Магадана. Славно проводили время эти «помощники». Рядом тайга с глухарями, куропатками, озерной ры-

бой. Жили в доме начальства. Условия прекрасные: ходи по забою, присматривай. Вечером при снятии золота из промывочных приборов, только ахают, удивляясь такому количеству металла. Но тяжким трудом армии репрессированных добывалось это богатство. С предельной жестокостью эксплуатировали людей.

Постепенно Северо-Восток принимал очертания поселков, строилась Магадан. И все это благодаря золоту, которое добывали узники.

Это им низкий поклон. Их многострадальные души необходимо навечно запечатлеть на страницах истории освоения Магаданского края. Им, оклеветанным, заплатили за каторжный труд расстрелами.

В недрах Колымского края есть вся таблица Менделеева. В те далекие годы интересовало одно: золото.

Возник тут же рудник Бутугычак, сильно радиоактивное урановое месторождение. На нем работали какие-то особо опасные преступники. К ним применили номерную систему. И называли этих людей не по фамилии, а на спинах их одежды был пришит большой номер. Зрелище потрясающее.

Я понимаю, что ничего нового не сообщила ни о том времени, ни о людях, попавших в беду. Весь ужас лагерного ада с предельной точностью описал Солженицын и другие писатели. Я лишь сказала о конкретных людях, с которыми меня свели обстоятельства. Я была очевидцем этой дикой истории.

Какой бы период времени ни прошел, память — это удивительное свойство ума — возвращает нас в те страшные годы...

Труден путь к золоту, начиная от первой Колымской экспедиции, возглавлявшейся Юрием Александровичем Билибиным. Его имя — первооткрывателя крупнейшего месторождения россыпного золота — справедливо записано на страницах истории Колымского края. Много других имен — геологов, геодезистов, маркшейдеров и других — достойно названы Героями Труда.

Своим состраданием к политическим заключенным я вовсе не умаляю труд работавших по найму.

Северо-Восток начинал благоустраиваться с нуля. На первом месте — добыча золота. Договорники получали жилье, малопригодное для нормального существования. Питание — сухие овощи, консервы, полный голод духовной пищи. Свирепые холода никого не щадили.

Существенное преимущество перед экаами — труд не подневольный, а оскорблениям подвергались и свободные. В Магадане руководители внимательно следили за выполнением плана, а когда добыча металла находилась под угрозой, приезжали на прииски толкачи из высшего начальства. Я видела, как зам. нач. Дальстроя Гакаев материал и бил по лицу нач. прииска — горного инженера, вольного.

Не все добровольцы, приехавшие работать на Север, одинаково отнеслись к тяжелым условиям труда и быта. Некоторые быстро уеха-

ли на материк. Таких оказалось немного. Люди молодые, энергичные, любящие жизнь во всех ее проявлениях, те отдали Колыме 20–30 лет и больше. Уезжали с Севера с большой грустью и всегда вспоминали с любовью суровый край. Он сильно преобразился. И каждый видел в этом изменении частицу своего труда.

На смену старикам приезжали свежие силы, они продолжали благоустройство территории Магаданской области.

Отмечен 50-летний юбилей истории развития золота Колымы.

К этой дате издан фотоальбом «На берегу двух океанов».

На прекрасных цветных фотографиях много льдов, водного пространства, снега и необыкновенно яркого цветения тайги и сопок в короткое лето. Восхищают выросшие города на местах бывших палаточных поселков, величественный город Магадан.

На сердце соседствует и радость, и грусть. Вспоминается разное...

Фотоальбом издан в 1987 году. А многое о развитии истории Колымы представлено полуправдой: не говоря о том, что ни одного слова не написано о заключенных, принимавших огромное участие в создании промышленности на Колыме. Но и очень осторожно говорится о преданном работнике Дальстроя Э.Берзине, о его безвременной кончине. Эта «безвременная кончина» — расстрел. Не все сказано и о геологах первой Колымской экспедиции Ю.А.Билибина. Ее участник Д.Казанли был арестован. Другой поисковик той же экспедиции — приговорен к расстрелу и каким-то чудом был оправдан. Речь идет о геологе Д.Вознесенском.

Безусловно, подобное событие было известно в дни празднования пятидесятилетия освоения Колымы.

Лишь в 1996 году отважились на откровенный разговор о жестокой правде. В Магадане проведена научно-практическая конференция по истории «большого террора» на Колыме, о годы беззакония.

Сооружен памятник «Скорбь и судьбы». На него невозможно смотреть без слез и волнения.

Все позади. Но не забыть измученных людей, одетых в лохмотья. Я преклоняюсь перед их мужеством и величайшим страданием. Забывать то кошмарное и не говорить о нем невозможно.

Феодора МИХАЙЛОВА

IRJA NIEMI

СОВЕТСКАЯ ВОСПИТАННИЦА

NEUVOSTOKASVATTI

NEUVOSTOELÄMÄN ÄÄRIPIIRTEITÄ
MINÄ-MUOTOON KUVATTUINA

16—20. luku

OY SUOMEN KIRJA
HELSINKI

В книге 3-й этой серии («Палачей судит время») я рассказал о судьбе подружки моей юности, а позднее советской финской писательницы Кертту Нуортева. Она была арестована в 1937 году, отсидела положенные ей годы, но в 1942 году вновь понадобилась НКВД, однако уже не в качестве «врага народа», а как разведчица.

Кертту, имевшую высшее литературное образование, далекую от такого рода «творчества», сумели убедить в том, что ее прежний арест был ошибкой, а теперь в ее помощи — нуждаются. После нескольких месяцев подготовки ее доставили в блокадный Ленинград и затем сбросили с парашютом в Финляндии, невдалеке от Хельсинки.

Но разведчицы из писателя, журналиста, редактора — не получилось. Спустя несколько месяцев ее арестовали. Суд приговорил ее к смертной казни. Однако за долгие месяцы пребывания в тюрьме, обдумывая годы, что остались позади, слыша рассказы финских коммунистов, которые работали в Коминтерне, но не попали в лапы НКВД, она переосмыслила пережитое и написала книгу. Она написала в ней о себе, о жите «самого свободного в мире народа» в Советском Союзе; о том, что истинно происходило в нем в довоенные годы. Раскрыла трагическую правду, скрываемую от всего мира пресмыкающейся партией прессы.

Книга эта под псевдонимом «Ирье Ниэми» имела ироническое название «Советская воспитанница»; подзаголовок гласил «Советская действительность, как я ее видела». Т а к а я книга вполне устраива-

ла финское военное руководство и ее издали в 1944 году в Хельсинки как средство, дискредитирующее противника.

Тогда же, в 1944 году, Керту Нуортева, все еще пребывавшая в тюрьме в числе других осужденных, после наступившего перемирия была передана советской стороне. Но свободы она не получила.

Ее вновь предали суду. И опять по зловещей 58-й статье, по пункту «измена родине». Приговорили к 10 годам заключения. И всего, что пришлось ей перенести, молодая женщина не вынесла. Два года ее держали в тюремной психиатрической больнице, но остальные восемь лет заставили отбывать в лагере.

Через пять лет после выхода «на волю», обитая в Караганде, она умерла. Ее книгу удалось из Финляндии получить. Она хранится ныне в Российской национальной библиотеке и нам представилась возможность опубликовать некоторые ее страницы.

В них предстает образ человека, который до своего первого ареста с потрясающей наивностью верил во все сталинские догмы и даже в самый разгар политических репрессий, расстрелов, был глубоко убежден в том, что «у нас ни за что не сажают», и что в славной стране Советов не бывает «без вины виноватых».

Господа из Лубянки показали ей тогда — в к а к о й стороне лежит истина. И даже сегодня, после реабилитации за **первый** приговор, она не имеет ее за второй: высокие юристы из Верховного суда отвечают, что Керту Нуортева таковой в данном случае не подлежит.

По их логике п р а в д у о сталинских зверствах недопустимо было раскрывать даже в другой стране. Не Советской...

Захар ДИЧАРОВ

ШПАЛЕРКА

...Тюрьма, куда меня привезли, было место, известное еще при царской власти: «Шпалерка». Во время революции народный гнев не оставил камня на камне от этого здания. В разрушенном состоянии оно стояло до 1932, когда финские перебежчики построили здесь высокую 8-этажную каменную казарму. В народе остроумно замечали:

— Какой самый большой дом в Ленинграде? — Исаакиевский собор, оттуда виден даже Кронштадт! Нет. «Шпалерка». Оттуда видны Соловки.

Меня отвели в большое охраняемое помещение, где за перегородкой сидел дежурный и две канцелярские барышни, которые при моем появлении повернулись лицом к двери. В сознании еще не укладывава-

лась мысль, что я арестована: ну, конечно же, не позднее чем завтра меня выпустят. На монотонные вопросы дежурного отвечала подчеркнуто бодро и с улыбкой. Не могла воспринять происходящее всерьез.

Только после взятия отпечатков пальцев я вышла из себя.

Чиновник, хватая за руку и окрашивая пальцы в липкой черной краске, нажимал их поочередно, делая отпечатки на бумаге. Теперь я зарегистрирована как преступница. Преступница. Хотя и вышла бы завтра на свободу, в архиве навеки останутся опознавательные знаки. Было ощущение: никогда мне не смыть этот вязкий отпечаток.

Нервное напряжение, которое еще поддерживало мое бодрое состояние, прорвалось, когда меня закрыли в будке величиной в один квадратный метр. Ощущая только безграничную усталость, уснула почти сразу. Через пару часов меня разбудили и повели по извилистым коридорам и бесчисленным лестницам на территорию женской тюрьмы, где старая женщина-охранница провела меня в душ. Здесь последовала унижительная процедура: осмотр тела. Затем отвели в помещение, называемое карантинном, и оставили одну. Там я увидела на двери нацарапанную на кирпичной стене надпись: «Входящий, не печалься. Выходящий — не радуйся», которую можно встретить в любой советской тюрьме. Только позже я осознала, что это могло значить.

Пробыла в помещении пару часов. Было уже утро. Женщина-охранник привела меня на этаж, в общие камеры, где были три двери из толстых металлических прутьев. Большой ключ звякнул, тяжелая дверь грохнула и охранница втолкнула меня вовнутрь.

Глаза стал слепить солнечный свет, который прорывался сквозь высоко расположенное решетчатое окно. Когда глаза привыкли, увидела в конце помещения большую группу женщин, сидящих на длинной скамейке. Кто-то воскликнул:

— Еще одна! Куда ее разместим?

Вопрос был существенным. В камере было всего двенадцать кроватей, а я была уже двадцать пятой сокамерницей. Ох, не думали мы тогда, какими бывают действительные трудности с поселением.

Ко мне подошла вначале бледная с еврейскими чертами лица дружелюбная женщина, староста, старшая по камере. Она удивилась, что у меня ничего с собой не было, кроме полотенца, зубного порошка и кусочка мыла. Женщины окружили меня, приняв мои вещи, отвели к окну. Вопросы лились со всех сторон. Кто я, почему арестована? Что было недавно в газетах? Продержится ли Мадрид? Дрейфует ли на льдине Папанин? Какие сведения поступили о летчике Леваневском? Нашли ли его?

В этой людской массе привлекали две женщины, которые сидели у стола, не участвуя в общем гвалте. Они сформировали своеобразную пару. Одна была пожилая, с виду интеллигентная, изящно одетая, волосы уже седые; напротив, у сидящей старой женщины были смоля-

ные черные волосы и необычного цвета темнокожее лицо. Она была единственная арабка в Советском Союзе, арабист восточного факультета при Ленинградском университете. Ее в шутку звали Шехерезадой. Другая женщина была выпускница института Пастера, микробиолог, по фамилии Карновская.

Когда из меня полностью выкачали все новости, начали обсуждать, куда меня разместить. Все двенадцать кроватей были такими узкими, что на них вдвоем было тяжело спать вместе. И я была уже двадцать пятой лишней в любом случае. После долгого разговора проблема была решена.

Я получила место на скамейке у окна. Попыталась заставить себя съесть несколько ложек дымящихся щей — но затем убрала миску в сторону. Почувствовала себя такой беспомощной сиротой. Не сам арест и все то, что с этим связано точило душу, поскольку я была уверена, что все это было ошибкой, и что вскоре все прояснится, меня пугало это незнакомое общество, где каждый знал друг друга и где действовали свои законы. Седовласая Карновская, теплый взгляд которой несколько раз я замечала на себе, подошла ко мне после обеда и взяла под свое крыло. Но и ей я не смогла и не сумела задать вопросы. Разговор шел только на общие темы. Боковым зрением наблюдала за шумящими группами, чтобы определиться в этом незнакомом окружении.

ПЕРВАЯ НОЧЬ

Наступил вечер. И началось устройство на ночлег. Головы кроватей установили на некотором расстоянии друг от друга и соединили их досками. Образовался второй этаж. Рядом со мной спала Карновская.

Днем я удивлялась про себя: почему никого не позвали на допрос? Но в полночь начался шум. И если бы меня даже усыпили, я и тогда бы не смогла уснуть: всю ночь кого-то уводили или приводили обратно. Карновскую забрали от меня и она пробыла там около шести часов.

Но мне не спалось: терзало какое-то необъяснимое чувство стыда. Я видела аресты и считала их ужасными и позорными. Я спала в напряжении, гадая, что близкие и друзья обо мне думают. Ведь были у меня друзья, которые были арестованы и выпущены на свободу. Конечно, пыталась думать о них по возможности только хорошее, но в глубине моего существа гнездились недоверие по отношению к ним, поскольку в Советском Союзе никого не задерживают зря. И если они осуждены, значит и в наших глазах они осуждены.

Мысли вернулись домой. Спят ли и они-то: Матти и маленький

Теллерво... Как Матти объяснил Телле мое отсутствие? Как он надел красный свитер Тютте, когда пошел на прогулку. Сегодня собирались идти втроем на Елагин остров. Мысли метались беспорядочным клубком: то устремлялись домой, то повторяли потрясающие впечатления последних суток.

Где-то под утро провалилась в беспокойном забытьи.

РЕЖИМ ДНЯ

Проснулась от крика. Время еще шесть; крик охранника был обычным во время утренней побудки.

И все педантично встали и начали выстраиваться в очередь на помывку. В камере между двумя окнами был кран с водой и под ним с широкими краями медная мойка. Ее чистка до блеска была заданием поочередно дежурившим. Они также разбирали конструкцию из сооруженных кроватей, приносили воду, мыли темно-каменный пол и надраивали стол.

Вновь проснулись сомнения. Подвижные дежурные, две 18–19-летние девушки, которые около стола чистили прокисшим хлебным тестом медные чайники, рассказывали, что служили в Осоавиахиме, в группе, которая занималась травлей насекомых. В газетах буквально недавно сообщалось, что люди из этой группы отравили зерновые склады. Глядя на таких простеньких и несуразных девчушек, с трудом в это верилось, но, очевидно, НКВД знало это лучше?.. Когда миловидная Карновская рассказала мне о микробиологии, лаборатории, где у нее в пробирках хранились закрытые вирусы чумы и всякие эпидемии, то и она попала в глазах камерной общественности в эту группу — несмотря на все ее материнское дружелюбие, с которым она взяла меня под свое крыло. Старосту Фриду арестовали за участие в правой оппозиции.

В камере было постоянное маленькое общество, которое делилось на закрытые кружки. Молодые 18–20-летние девчушки образовали свою девичью компанию, партийные функционеры отделились в свою группу, остальные объединились по общим интересам, а также по национальным признакам.

У Надежды Павловны, с которой мы сидели на крайней кровати, я вполголоса спросила об одной женщине; узнала, что зовут ее Аля, а историю ее следующая.

Аля была работником медицинского университета, психиатром. Несколько лет назад, еще во время учебы в университете, она намеревалась выйти замуж за сокурсника, который уже практикантом уча-

ствовал в научно-исследовательских экспедициях на севере. Надежда Павловна была тогда медсестрой в университетской больнице и была знакома с боими еще на свободе, характеризовала его как исключительно честного человека и искреннего коммуниста. Вернувшись из экспедиции, он прочитал в «Ленинградской правде» резкую обвинительную статью о себе и впал в депрессию. Аля была рядом и пыталась его взбодрить. Муж не мог успокоиться, и когда Аля отвлеклась по хозяйству, какое-то инстинктивное чувство, не крик и не движение, но заставило ее оглянуться: муж стоял на окне и выпрыгнул на улицу. Когда Аля, наконец, успела с шестого этажа прибежать во двор, она смогла только вызвать скорую. Муж скончался у нее на руках. Вот тогда она и поседела. Спустя пару дней расследование показало, что обвинения, напечатанные в газете, беспочвенны.

— Несмотря на эту трагедию, — продолжала Надежда Павловна, — Аля умеет отлично поддерживать настроенные других. У нее действительно способности психиатра формировать у других веру в жизнь и достигать доверия близких. И работы у нее здесь, слава богу, хватает.

С потрясением слушала эту историю. Тогда в нашу компанию влилась и Карновская. И от нее я услыхала другую историю — тоже довольно типичную.

Среди занимающихся утренней гимнастикой была молодая шведка.

— Вы скоро почувствуете ее как старого друга, — прервала Карновская мои наблюдения. Спросила: читала ли я статью Заковского* в «Правде». В то время в моде были газетные выступления, в которых сообщалось, как ловко враги засылают шпионов. Когда я ответила утвердительно, она напомнила мне очерк про одну красивую шведку, Марту, которая, пройдя разведшколу в Швеции, была послана в Россию, вышла замуж за штабного офицера и выкрала из его планшета важные чертежи.

— Можете представить мое изумление, когда я попыталась удостовериться в правдоподобности этой вероломной статьи, увидев Марту, — она с улыбкой указала на девочку.

— Вы, следовательно, не верите в то, что это правда? — спросила я с сомнением.

— Золотко мое, научитесь хоть немного доверять своим способностям. Может ли обученный шпион так себя вести?

Оскорбясь, я стала утверждать, что шпион не должен казаться шпионом.

Но было правдой и то, что, глядя на эту 19-летнюю девочку, я и

* Л. М. Заковский /1894–1938/. Начальник Управления НКВД по Ленинградской области. Расстрелян 29 августа 1938 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР по обвинению в том, что «являлся агентом германской и польской разведок... а также входил в право-троцкистскую организацию и проводил провокационную и вредительскую деятельность».

сама не могла представить, что рядом находится опасный шпион. Карновская добавила:

— Когда узнаете Марту получше, то сможете сделать правильное заключение о статье Заковского.

Я была больше чем смущена; была душевно разбита. Я привыкла полностью доверять всему, что пишут в газетах, но Марта была такой беззащитной и прелестно наивной; поверить в то, что она способна так притворяться — невозможно. Меня не меньше удивляло и то, что все они себя считали невинными. Почему же нас всех арестовали?

ДУХ КАМЕРЫ

В первый же день меня удивил неунывающий дух камеры. Это еще больше смешало мои и так уже запутанные мысли, потому что ведь с тюрьмой обычно связано что-то тревожное. Все были в приподнятом духе, никто не сосредоточивался сильно на плохом. Объяснение этому настроению с одной стороны было — инстинкт самосохранения. Попадание в тюрьму было тяжелым испытанием. У каждой была семья и дом; были матери, которые вынуждены были оставить детей. Если постоянно задумываться о своей тяжелой участи, то вряд ли это можно было бы выносить изо дня в день. Неписанный, но железный закон гласил: не касаться таких тем, которые будут утяжелять мысли.

С другой стороны, безусловно, была вера в победу справедливости. Мы только по невероятной случайности оказались здесь. Никто не верил, что мы не выйдем на свободу. Сомневающимся не было.

Иногда говорят о женщинах, как о хрупких сосудах, но у женщины есть внутренняя сила, которой нет у мужчин. Это хорошо показал голод в Ленинграде во время войны, сильные мужчины умирали как мухи, но женщины выживали. Так же и здесь в тюрьме. Мужчинам достаточно было пробыть пару дней, как на них был хорошо виден тюремный отпечаток. Они были небритыми, и одежда, которая раньше была в городе на прогулках чистой и опрятной, теперь висела на них, как на гвозде. Когда нас вели на допрос, то встречали многих мужчин. Походка была медленной и вялой, заплетающейся, ни разу не попался мужчина, который бы сохранял выправку.

Но женщины — были женщинами.

НЕ САМАЯ МЛАДШАЯ

Третий день был значительным в моей судьбе. За решеткой оказались две новенькие.

За решеткой стояла удивительная пара. Одна была очень высокая

и красивая женщина в необычном шелковом платье, очевидно, из Парижа. Ее каштановые волосы были рассыпаны на плечах и у темени закреплен огромный батистовый бант, похожий на пару крыльев. В руках она держала кружевной носовой платок. Улыбаясь, она стояла за решеткой, как вырезанный из журнала ангел. Рядом с ней стояла довольно маленькая, крепкая женщина, у которой были черные, как смоль, волосы и строгие глаза под темными бровями. Представилась польской.

Ее приход озаменовал «польскую волну». Аресты ведь происходили по национальностям. Вначале была польская и немецкая волна, затем поочередно: эстонцы, финны, латыши, харбинцы, иранцы и т. д. С Ядвиги начались массовые аресты поляков.

— Простите, вы могли бы быть так любезны и объяснить, где я сейчас нахожусь? — спросила другая новенькая музыкальным мягким голосом, в котором был очевидный иностранный акцент.

И вскоре мы смогли услышать объяснение к этому удивительному вопросу: ведь Шарлотта Хелбот — парижанка, эстетка по изобразительному искусству, как она представилась, вовсе не знала, что ее арестовывают. Она получила приглашающий билет в НКВД. Это был не единственный случай, когда иностранцев приглашали таким образом. Благодаря этому билету она попала в здание. Зашла в помещение, где ее попросили подождать; человек, к которому ее пригласили, был занят, она подождала пару часов; никто ей ничего не говорил. Потом ее спросили: она Хелбот? и попросили следовать за ними. Они шли по коридорам и лестницам. Ее отвели туда, где она никогда не бывала, к мосту, который вел на другую сторону. Она увидела, что начались железные двери и решетчатые окна. Она смотрела с удивлением ей и в голову не могла прийти мысль, что ее ведут в тюрьму. Она была впервые в ДПЗ*. Ее отвели в душ. Она онемела от изумления. Не могло войти в сознание, что в НКВД людей ведут сначала в душ, прежде чем пригласят для беседы к высшему руководству. Там она подверглась осмотру тела. Затем отвели в карантинное помещение и оттуда прямо в камеру. Никто ей не объяснил, что она арестована. НКВД любит сюрпризы. Шарле (так мы ее стали вскоре называть) говорила на очень красивом французском языке и прекрасно на немецком. Единственный язык, на котором она вообще не говорила, был английский. Она рассказала, что брат ее был владельцем франко-американской паровой компании. Ее специализацией в изобразительном искусстве был импрессионизм Франции, который она изучала и в Берлине. В Советский Союз она прибыла в 1935 году по туристической путевке. В этой поездке она так полюбила советскую жизнь, что решила остаться здесь жить. Попросила продлить паспор-

* ДПЗ — Дом предварительного заключения.

тную визу и написала во Францию, что хочет остаться в СССР. Проживала в гостинице «Европа» и учила русский язык. Брат прислал телеграмму, заставляя вернуться: если не вернется, то семья откажется от нее. Когда она отказалась, брат прервал отношения с ней. Больше никакой помощи ей не присылали. Она попросила о советском гражданстве и получила его. Была до ареста в Государственной Публичной библиотеке на службе, получала 250 рублей. Скачок от той прежней, роскошной жизни был велик, на зарплату в 250 рублей надо было жить очень скудно. Больше ничего она не объясняла, но этого не было достаточно, чтобы человек мог так быть очарован жизнью в Советском Союзе и остаться, несмотря на всевозможные запреты. Но и тогда в ней было что-то мистическое. За три месяца ее ни разу не выводили на допрос. У меня была температура, когда ее впервые забрали. Мы уже подружились, поэтому было естественным, что Шарле после допроса пришла ко мне на койку. Она была бледна и возбуждена. Обвинение было довольно тяжелым: международный шпионаж. В пользу Англии. Я засмеялась.

— Как тебя можно обвинить в английском шпионаже? — Она рассказала, что сама из английского рода и проживала в Англии у своей бабушки. В Германии ее также заподозрили как английскую шпионку.

— Ну а почему тебя теперь обвиняют в английском шпионаже? — спросила я снова.

— Они знают о моем пребывании в Англии, — ответила она быстро. — Что мне надо делать? Меня скоро отведут в одиночную камеру. Меня допрашивал сам Заковский, который требует моего перевода.

Я не смогла ничего ответить. Через четверть часа её опять забрали. Затем прошло два месяца.

Однажды по другую сторону двери я увидела ее в сопровождении двух красноармейцев с вытасченными наганями. Возникло тяжелое настроение — мы знали, что когда забирают с вытасченными наганями заключенного, то ведут на военную коллегия для осуждения — это было обычной процедурой. Поняли участь Шарле. Больше мы ничего о ней не слышали.

СНИМАЮ ПЛАТЬЕ

Первые ночи, когда других уводили на допросы, я не спала, глядя на электрическую лампочку, бледный свет которой слабо освещал камеру, но был достаточно сильным, чтобы вызванные на допрос смогли одеться, а охранник в коридоре мог видеть, не совершает ли человек самоубийства.

На третью ночь глаза поневоле сомкнулись.

Сразу стали будить:

— На допрос!

Быстро оделась. От Карновской услышала подбадривающие слова. Я не нуждалась в них: настроение было довольно легкомысленным; все ведь выяснится теперь. Проходя к двери, увидела, как Фрида приподняла голову.

— Кертту, не забудьте спросить про Папанина!

Красноармеец провел меня в главное здание. Спустились вниз на два этажа по каменным ступеням, и пошли по длинным каменным коридорам. Потом опять лестницы, поднялись, наконец, в коридор со сводами, что соединял тюрьму с главным зданием НКВД. Теперь я оказалась в хорошо освещенном коридоре, где на скамейках сидело много «больных», ожидающих допроса. Охранник приказал стоять и повернуться лицом к стене. Какое-то время стояла, когда услышала:

— Кертту Нуортева?

Спрашивающий был в гражданской одежде. Когда ответила утвердительно, он кивнул:

— Следуйте за мной!

Он был моим следователем. Мы прошли на третий этаж, в его кабинет и я, присев по его предложению на стул, который был установлен в метре от стола, смогла рассмотреть мужчину, в чьих руках пока находилась моя судьба. Он был невысокого роста, средних лет, тощий, усталое с мятыми чертами лицо и ласковые светло-синие глаза. Перебирая на столе бумаги, он начал расспрашивать биографические сведения, записывая ответы в анкету. Выяснив всех родственников в Советском Союзе и за границей, а также имена родителей матери и отца (тут вышла заминка, я не знала девичьих фамилий обеих бабушек, потому что я их никогда не видела) и профессии, попросил перечислить имена всех финнов, которых я знала.

— Перечислите всех финнов, с которыми знакомы или которые знают вас.

Сижу и начинаю вспоминать всех тех, которые приходили на ум. Он все записывал на память.

Увидела на углу газету и вспомнила про наказ Фриды.

— Товарищ следователь, вы не знаете, что нового в газетах о льдине Папанина?

Он поднял голову, нахмурил брови с грозным видом и сказал:

— Расскажите лучше о своей контрреволюционной деятельности!

Было ощущение, как будто облили меня холодной водой. О контрреволюционной деятельности! Я не могла представить, о чем идет речь. Попросила его объяснить, что он имеет в виду.

— Мы знаем все, — сказал он резко. — Бесплезно отпираться и что-либо скрывать. Мы арестовали всех входивших в тайный союз.

Вздохнула с облегчением: ну, столь нелепое обвинение можно легко опровергнуть!

— Вы серьезно обвиняете меня в том, что я считаю беспочвенным?.. Вы ведь должны знать...

Он оборвал меня сразу:

— Требую немедленного объяснения! Не стоит и пытаться разговаривать таким тоном, у нас все козыри на руках. Весь тайный союз раскрыт.

Стала совсем беспомощной. В камере я слышала всевозможные истории, и в долгие ночные часы пыталась понять, почему я арестована, но такая нелепость была выше моего понимания. Я слышала об арестах некоторых финнов, но только не из очень близкого мне круга людей.

Сделала снова безнадежную попытку, попросила следователя направить разговор на что-то определенное:

— Но все же объясните... У меня ни малейшего представления, о чем идет речь. Здесь какая-то ошибка...

Он не ответил ничего и начал писать. Сидела около часа чуть поодаль от стола. Примерно после часового молчания он спросил:

— Ну что, будете говорить?

Тряхнула головой и сказала:

— Мне нечего сказать вам, так же как и час назад.

Он продолжил опять свои записи и сказал:

— Ну, можете идти в камеру и подумать.

Когда собралась уходить, он еще раз подошел ко мне:

— Помните, что вы находитесь в НКВД и обвинение довольно тяжелое. Ваша судьба зависит от того, как себя поведете на допросах. Если все расскажете, то суд будет смягчающим.

Он сказал — суд. Впервые это слово вошло в сознание. Хотела продолжать разговор, но он отвернулся. По тому же маршруту вернулась в камеру.

Присев на кровать, рассказала о допросе и начала плакать. Василиса усмехнулась:

— Не принимайте все так серьезно. Они обычно так начинают. Допросы всегда начинаются с какого-то обвинения. Они хотят внезапно заставить человека говорить о том, что у человека на совести. Главное, что вы сами знаете, что ничего не делали. Что они смогут против вас найти?

Участие Василисы утешило. Улеглась спать. Всю ночь людей уводили на допросы, и среди них была маленькая еврейка Рахиль. Я даже немного поспала до утренней побудки. Все успели уже вернуться к этому времени, кроме нее. Наконец пришел охранник и ввел Рахиль. Видно было, что она крайне потрясена. Василиса попросила рассказать, как проходил допрос. Рахиль стала рассказывать и вдруг разозлилась:

— Как ты могла так безумно поступить, что стала называть имена знакомых! — вдруг обратилась она ко мне.

— Почему? Как же можно не рассказать то, о чем спрашивают и то, что знаешь? По мне, так могли бы спросить все от самого рождения до сегодняшнего дня.

— Но ты понимаешь, что теперь этих людей будут подозревать в связях с тобой.

— Ну и что? Что плохого в том, что они знают меня?

Тогда Рахиль сказала, что раньше и у нее взяли все имена, и на проведенном допросе она узнала, что многие из них арестованы прошлой ночью — приобщены к воображаемому союзу.

Слушала, но разум не мог переварить столь абсурдного утверждения. Неужели людей можно обвинить только на основании знакомства?

Впоследствии, когда я разговаривала с разумными людьми, стала отбрасывать эти чувства, которые у нас у всех появлялись на начальном этапе ареста. Хоть мы и разговаривали сердечно, но нет, не могла свыкнуться с мыслью, что в нашей советской жизни необходимо бороться: что говорить, а что нет; было абсолютно ясно, что необходимо отвечать на все то, о чем спрашивают. Отошла от нее.

С этого дня я почувствовала себя настоящей заключенной.

ТЕХНИКА ДОПРОСОВ

Летели недели. Каждый день приносил новеньких, иногда сразу десятых. И также часто перемещались из камеры «готовенькие»; их дела передавались в другие тюрьмы.

Ощущения становились все более тягостными. Новенькие прибывали с предварительных допросов с перечнем тягчайших преступлений. Каждой предъявляли обвинение прокурора по меньшей мере по трем статьям: 58, пункты 6, 7, 8, 9, — шпионаж, вредительство, попытка террора, саботаж. И все-таки, большая часть из них была из самой обычной рабочей среды — вначале польки, потом немки, эстонки, литовки, латышки, финки, еврейки, иранки...

Одна полька попала на допрос сразу. Утром, когда она вернулась, рассказала, что ее били. Ей дали заранее написанный протокол, в котором говорилось, что она ходила в польское консульство и ее политическая полиция завербовала в разведку. Такой протокол ей показали и предложили подписать. Она резко отказалась, тогда ей приказали встать в угол. Когда она снова отказалась, то ее стали бить.

Мрачно слушали мы эту легенду.

— Врет! — бросила врач Аля.

Женщина беспомощно посмотрела на окружающих, почувствовала враждебность, которая исходила от слушавших. Контрреволюционное вранье, решили все единодушно. Никто не поверил ни единому слову из ее рассказа.

Нас было в камере 87 человек, и приготовление к ночлегу занимало много времени. Прошел почти час, прежде чем в камере наступила тишина. Но в ту ночь не успели мы заснуть, как с другой стороны двора раздался кошмарный крик. Оба окна у нас были открыты — даже зимой в сильные морозы мы вынуждены были держать их открытыми. Ужасный крик этого мужчины, похожий на вой раненого зверя, пронизывал до костей. Девушки, которые спали около шкафа на скамьях, полезли на окно посмотреть, но ничего не было видно. Слышен был только мучительный крик и грубый мужской голос, который постоянно повторял:

— Расскажите об этом! Расскажите об этом!

Это продолжалось часами. Крик иногда смолкал и переходил в стоны, затем через некоторое время переходил на кошмарный животный вой.

В ту ночь нас часто вызывали на допросы. До этого многие шли охотно, но теперь нам становилось страшно. На следующий день подвели итоги нашего разговора и вспоминали ночной случай: кто знает, может эта полячка и не врала? Тягостное настроение увеличивалось, когда Тамара, польская девушка, теперь не возвращалась с допроса. Ее забрали в ту же ночь, но она не вернулась к утреннему чаю. Настал обед, но Тамара не появилась. В нашем углу становилось совсем мрачно. Прошло довольно много времени, когда она в сопровождении охранника вернулась, вся бледная. Охранник приказал дать ей побыстрее обед. Тамара, прихрамывая дошла до стола, и мы, конечно, начали бомбить ее вопросами.

Еле ее удалось уговорить поесть, как тут же за ней пришли. Она была такой усталой, что вряд ли могла стоять, но за восемь суток ее приводили только покушать утром, днем и вечером. В остальное время заставляли стоять. Когда она свалилась в обмороке, ее обливали холодной водой и снова ставили. На восьмые сутки она подписала протокол.

Не много прошло времени, как мы поверили в рассказ полячки. Ежедневно происходили случаи, когда темнеющие синяки говорили о том, как проходил допрос. Допросы стоя, которые длились пару недель, стали обычной практикой. И кошмарные крики раскалывали ночной воздух из находившейся напротив комнаты допросов, сопровождаемые жуткими ругательствами. Полностью набитая камера в этот момент становилась одним чутким ухом — был ли голос уже знакомым: может супруг или брат? Пока и к этому не привыкли.

Следователи пользовались различной методикой. У нас была одна

пожилая эстонка. Эдла Майер, член коммунистической партии Эстонии, политэмигранткой прибыла в Советский Союз. Она была фанатичным партийным деятелем, как и многие другие политэмигранты.

Ее допрос проходил так.

Следователь говорил:

— Вы коммунист. Консульства проводят разведывательную работу против нас и нам необходимо набрать материал, чтобы предотвратить ее. — Следователь показывает толстую пачку на столе. — Мы не дадим их вам читать, но как коммунист вы обязаны по отношению к партии принести эту жертву.

Эдла Майер сразу подписала.

Она не рассказала нам об этом сразу — но все удивились тому, что она вернулась с допроса сияющей.

Когда разговор заходил о политике, она резко заявляла, что страна переживает трудные времена, находимся на пороге войны, и каждый должен принести в жертву то, что страна от него требует. Однажды рассказала о том, как она подписала протокол. Доктор Аля и я тогда одобрили ее поступок — свой долг надо было исполнить и личных жертв нельзя бояться. Другие, особенно Василиса Райева, просто бушевали. Как можно было так требовать!

Но постепенно, настроение Эдлы Майер стало меняться, она стала немногословной, стала отходить поплакать. Потом она попросилась у начальника корпуса на допрос, чтобы прочесть все, что она подписала. Она похудела сильно, стала угрюмой, пока однажды ее не увезли с большой партией. К следователю она не попала. Мавр свое дело сделал. Мавр мог уйти.

Однажды утром всегда сердечная, милая миниатюрная Надежда Павловна вернулась с допроса. Она рухнула на косяк решетчатой двери обессиленной. Аля поспешила ей помочь, привела к нам в угол. В истерическом возбуждении Надежда Павловна рассказала, как краснощекий молодой следователь, по возрасту как ее собственный сын, обозвал ее «проституткой» — уличной девкой. И на блатном языке, от которого покраснел бы и портовый работяга, говорил гадости, не переставая. При ее возвращении в камеру в коридоре стояла большая группа следователей, все молодые, и когда увидели из окна черные «воронки» (как говорили в Ленинграде), которые привезли новых задержанных, залихватски начали смеяться: «Наш хлеб прибыл...»

— Что это все значит? Господи, куда идет страна?..

И голова, виски которой уже украшала седина, упала на руки.

Руки сжимались в кулаки — против кого, против чего — в чем причина?

Через пару дней Надежда Павловна снова вернулась с допроса. Она больше не плакала. Бледная, беззвучным голосом она рассказала о перекрестном допросе. Доктор И., который был ее старым дру-

гом признался, что был японским шпионом и выудил в разговоре с Надеждой Павловной секретную информацию. Надежда была на военном предприятии медсестрой.

Мы знали, что она получит тяжелую статью. Здесь не нужно было составлять искусственный протокол.

Через три недели я снова попала на допрос. Тот дружелюбный с виду допросчик предложил сесте.

— Вы решили говорить? — спросил он.

— Мне нечего сказать.

— Вы не подумали о том, что я приказал вам подумать.

Посмотрела на него невинными глазами.

— Как я могу думать о каком-то тайном союзе, о котором и не слышала?

Он бросил суровый взгляд и закричал:

— Стоять!

Сейчас мне было ясно по рассказам в камере. Встала в угол лицом к нему. Стояла всю ночь, одиннадцать часов без движения. Он был довольно сонным, сидел за столом, временами дремал. Между дремотой иногда спрашивал:

— Будете говорить?

Никаких объяснений, серьезных вопросов, ничего, только: «Говорите!»

Было тяжело, не так физически, как психологически. Он представлял советскую систему, и НКВД для нас, получивших советское воспитание, было весьма уважаемым заведением; мы не знали кошмаров ЧК и ГПУ. Если у советской системы были какие-то сомнения по отношению ко мне, то здесь я только сама могла помочь разобраться. Пыталась найти общий язык, чтобы это дело прояснить, но мне не давали говорить. Пыталась напрячь свои бедные мозги, но натыкалась только на черную стену впереди.

После одиннадцати часов стояния смогла пойти в камеру «подумать»...

МОЙ ПРОТОКОЛ

Разговор всегда возвращался к одному и тому же: что это? Было ясно, что пытки и произвол — это вредительство. Но когда слышали, что то же самое происходит и в Москве, Одессе, Петрозаводске, в селах, то и это объяснение казалось искусственным — не могли не знать «наверху» о такой огромной чистке.

Как реагировать?

Маленькая смуглая московская женщина утверждала, что в стране произошел «дворцовый переворот», новая линия, окончательный уход с того пути, который начертал к социализму Ленин: необходимо удалять те элементы, которые смогут стать помехой новой сталинской политике.

— «Профилактические мероприятия». Слишком часто возникает за последние годы стремление к демократии, — засмеялась она горько.

И когда сегодня думаешь о той «Святой России», которой стал Советский Союз, о той новой имперской политике, близкий пример чему «зимняя война»*, то вынуждена повторить эти слова, потому что те годы удалили именно те элементы, которые могли бы противиться шовинистической политике.

Мы, молодые, вздрогнули. Перехватило дух, как такое можно говорить вслух о Сталине. Прекратили все разговоры с ней, и в своем углу углубились в вопрос, который стал снова темой разговора:

— Как мы объясним детям, если нас осудят?

У каждой был ребенок, кроме Али и Марины.

— Если скажу сыну, что не виновна, то у него возникнет горечь против Советской власти. Но чтобы воспитать его в духе строителя страны, должна буду признать, что я виновна... — заключила с задумчивым взглядом Карновская.

— Нет, но в какую моральную пропасть, Ида Львовна, мы попали, если о таком вынуждены говорить! Ненормально! Неразумно! — горячо оспаривала Василиса.

Но она получила небольшую поддержку, многие согласились с Карновской, и все равно это стало невозможным... Как выйти из противоречий?

Много больных вопросов, которые заполняли все мысли. Я твердо решила их задать на допросах. Хотела выяснить у следователя, насколько гибельна эта чистка для страны, какая польза тем, кто против нас. Становится больно думать, как сказочно наивно готовила свое выступление, твердо уверенная, что найду ответ, если достаточно четко обосную свои доводы.

Правда, я не была единственной такой наивной.

С напряжением пошла на допрос. Помещение то же, но за столом был другой следователь. По знакам отличия — выше чином. Он показал рукой сесть, продолжая писать. Затем он поднял голову и спросил:

— Какую агитацию вы проводили против коллективного хозяйства?

* «Зимняя война» — война между СССР и Финляндией: 30.XI.1939 г. — 18.III.1940 г.

По голове как ударили. Откуда-то возникло ощущение, что такое уже было со мной — да, это было на собрании, где придумывали «вождение за нос». Все выступление, которое готовила, застряло в горле. Я как-то глупо пролепетала, что этим не занималась. Мной овладело чувство бессилия и безразличия. Следовательно протянул мне написанную бумагу и сказал:

— Прочтите и подпишите!

На бумаге было написано:

«Вопрос: Знакомы ли вы с осужденными за контрреволюционную деятельность Арво Ниemi, Орво Линго, Тайсто Аро, Ольгой Лайтила, Антеро Коски, Отто Ойна, Елли Лехто?»

Ответ: Да».

Заглянув в список, увидела, что перечень имен друзей находился в том порядке, как я сама указала. Частично слышала об их осуждении, про Орво Линго не знала, что он арестован. Сказала об этом следователю:

— Я ведь не знаю, за что их арестовали.

Затем подняла голову, метались вопросы, хотела объяснений.

Следователь продолжал писать, ничего не говоря.

«Вопрос: Намереваетесь ли Вы и после того, как Вам уже все известно, так как другие члены тайного союза открыто признались в деятельности организации, отрицать свое участие?»

Я резко встала.

— Я никогда этого не подпишу! Как вы можете такое писать? Это все ложь, ложь!

Схватила карандаш и хотела все перечеркнуть. Но он в последнюю секунду успел схватить за руку. Резким движением он толкнул меня в угол.

— Стоять! Вы оскорбляете советские следственные органы! Шлюха! — Море брани, которое последовало затем, по своей дикости было фантастичным: ничего такого и вообразить не могла...

Потеряла сознание... Когда пришла в себя, то стоять больше не заставили, а вернули в камеру. Все спали. Из открытого окна слышались пронзительные крики, чувствовала разъедающий ужас. Матти тоже ожидала такая судьба. Где Теллерво?

Ответа не было и не могло быть...

Кертту НУОРТЕВА

Перевод с финского А. Иголайнена

ОБЭРИУТЫ ПОД ЦЕНЗУРНЫМ ПРЕССОМ

(По секретным документам
Главлита)

...Но непокорных сдавим
Как злобной силы проявленье...

Конст. Вагинов

Осенью 1927 года шесть молодых ленинградских поэтов, называвших себя прежде «чинарями», «заумниками», членами то «Левого фланга», то «Академии левых классиков», нашли наконец название для своего содружества — ОБЭРИУ (первоначально ОБЕРИО — Объединение Реального Искусства; «Е», для большей экзотичности было заменено на «Э», «У» было вставлено «для смеха»: «потому, что кончается на «у»»). Позднее обэриутов стали называть «неофутуристами», но больше подошло бы к ним, может быть, имя первых (если не считать вымышленных капитана Лебядкина и отчасти Козьмы Пруткова) русских поэтов-сюрреалистов.

Были они, впрочем, очень разными, не входил формально в эту группу Николай Олейников, хотя «обэриутее» его, кажется, не было. Публичные театрализованные выступления поэтов, нередко со скандальным оттенком, как и вся их деятельность в рамках объединения, была кратковременной, насчитывая немногим более 2 лет. Символично, что закончилась она в 1929 г., в «год великого перелома», точнее, «перешибя», как принято теперь говорить. «Перешиблены» были, как хорошо известно, в начале 30-х годов все литературные союзы и группы, насильственно согнанные в 1934 г. в единый Союз советских писателей, подчинявшийся отныне декретированному свыше «методу социалистического реализма». Понятно, что союз поэтов-авангардистов погиб раньше других. Одними из первых, еще до наступления «Большого террора», стали они и жертвами политических репрессий: в конце 1931 г. арестованы были Даниил Хармс, Александр Введенский, Игорь Бехтерев, Александр Туфанов, высланные, за исключением

Бехтерева, по особому постановлению ОГПУ, из Ленинграда. До конца своих дней они оставались под подозрением и почти все ушли из жизни в самом «поэтическом» российском возрасте — от 30 до 40 лет. Ровно до роковой черты русских поэтов — 37 лет — дожили Введенский и Хармс (первый погиб в 1941 г., во время насильственной депортации из Харькова, второй — через год в тюремной психиатрической больнице), до 40 лет не дожил Олейников, арестованный в 1937 г. и в том же году расстрелянный. В возрасте 35 лет умирает, правда в «своей постели», чем мы вполне «можем гордиться», если вспомнить известное стихотворение А.Галича, посвященное Борису Пастернаку, Константин Вагинов. До 55 лет удалось дожить Николаю Заболоцкому, но почти 10 лет из них вычеркнуто годами лагерей и ссылок (1938—1948). Такая вот печальная «статистика»...

За последнее десятилетие, когда сняты были цензурные ограничения и препоны, вышло множество исследований, посвященных этим поэтам, издано свыше десятка различных сборников их произведений, неравноценных, увы, по качеству подготовки. В 1994 г. вышла, наконец, в большой серии «Библиотеки поэта» наиболее авторитетная антология — «Поэты группы “ОБЭРИУ”», великолепно подготовленная с точки зрения текстологий и комментаторского мастерства трудами и тщанием крупнейших «обэриутоведов» — М.В.Мейлаха, Т.В.Никольской, А.Н.Олейникова и В.И.Эрля. С 1997 г. выходит в издательстве «Академический проект» 4-томное собрание сочинений Д.Хармса. Обнародованы в последнее время засекреченные прежде документы, касающиеся первого и последующих арестов «обэриутов», прояснены многие загадочные обстоятельства их гибели.

Почти неизвестна, однако, цензурная судьба произведений обэриутов: это и понятно, если учесть, что многие документы бывшего Главлита или уничтожены, или «не рассекречены» до сих пор. Кое-что, тем не менее, автору этих строк удалось разыскать в архивах этого ведомства. Найденные документы и положены в основу предлагаемого сюжета.

* * *

Имена печатавшихся в 20-х — начале 30-х годов Вагинова и Заболоцкого мелькают в цензурных делах постоянно и, разумеется, в крайне неблагоприятном для них контексте.

Впервые имя К.К.Вагинова встречается в них в 1923 г. — в «политредакторском» отзыве на так и не вышедшую в свет «Антологию молодых авторов», которую собиралось напечатать Ленинградское отделение Госиздата РСФСР. Высказав ряд идеологических замечаний по поводу стихотворений Елизаветы Полонской, политредактор (читай — цензор на тогдашнем языке) добавляет: «Сомнительны с той же стороны и кое-какие стихи Вагинова — не особенно благополучно

у него с «обреченной страной» (само собой разумеется, это Россия, а почему она кажется Вагинову обреченной — неизвестно), и его пессимизм не внушает симпатии...»

Крайне тяжело проходили в цензуре все три романа Вагинова, печатавшиеся в 1928–1931 гг., — «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова» и «Бамбочада»; последний написанный им роман — «Гарпаго-ниана», законченный им в 1933 г. и поданный в «Издательство писателей в Ленинграде» — так и не увидел света при его жизни. Как бы оправдывая свое название («Козлиная песнь» означает по-гречески трагедию), наиболее драматично сложилась судьба первого романа Вагинова: он привлек внимание ОГПУ еще на стадии подготовки рукописи к отдельному изданию — потому, может быть, что это ведомство обратило внимание на журнальный сокращенный вариант романа, напечатанный незадолго до этого «Звездой» (1927, № 10; замечу, что с журналом Вагинов был связан теснейшим образом: в 5-м номере за 1929 г. впервые печатался и второй роман Вагинова — «Труды и дни Свистонова», в 1-м номере за 1933 г. нашла место последняя прижизненная публикация — несколько стихотворений из книги «Звукоподобие»). Об этом свидетельствует документ, датированный 27 мая 1928 г., обнаруженный в бывшем Ленинградском партийном архиве:

«Совершенно секретно. Срочно»

Главное политическое управление

Полномочное представительство при ЛВО

В отдел печати Ленинградского обкома

ВКП(б)

По имеющимся сведениям, Ленотгизом предпринято издание романа Конст. Вагинова «Козлиная песнь», идеологическая неприемлемость которого находится вне сомнения».

Тем не менее, роман вышел в свет в 1928 г. в кооперативном издательстве «Прибой». ОГПУ, осуществлявшее полицейскую сверхцензуру, посчитало это серьезным проступком контролеров печати. Оно оповестило Леноблгорлит, что роман им конфискован и потребовало объяснений от цензоров, напрасно пропустивших этот роман, в порядке предварительного контроля.

Уже тогда органы тайной политической полиции начинали считать себя самой высшей силой и прибегли к прямой конфискации уже напечатанного трехтысячного тиража, большая часть которого была уничтожена. Роман попал в издававшиеся Главлитом «Списки книг, подлежащих изъятию из общественных библиотек и книготорговой сети». Это означало, что по одному экземпляру романа могли оставить для «спецхранов» лишь несколько самых крупных библиотек СССР: в остальных все экземпляры подлежали уничтожению. Точно такую же

участь разделил последний роман Вагинова, вышедший при его жизни в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 1931 г., — «Бамбочада»: он также фигурирует в главлитовских проскрипционных списках. В 1932 г. Коллегия Леноблгорлита обсуждала продукцию этого издательства, которая была признана «неудовлетворительной в качественном отношении». Оно «...закончило 1931 г. политическим прорывом, завершив его изданием двух идеологически вредных книг, — «Бамбочадой» Вагинова, искажающей советскую действительность, и «Веселым богом войны» Б.Шмидта, сборником стихотворений, проникнутых идеалистическим мировоззрением и буржуазным пацифизмом...».

В другом документе ленинградские цензоры, критикуя ГИХЛ за выпуск «вызвавшего серьезные сомнения» романа Всеволода Иванова «Путешествие в страну, которой еще нет» («в нем мы видим не изображение советской действительности, а карикатуру на нее...»), добавляют: «В некотором отношении роман напоминает пресловутую “Бамбочаду” Вагинова».

На первый взгляд, не очень понятно: почему все-таки Вагинов так раздражал и цензоров, и официальных критиков?..

Но цензоры нутром, точнее, «верхним чутьем» уловили, насколько чужда поэтика вагиновских романов (как и произведений его собратьев по обэриутскому цеху) установленному эталону. В тоталитарных обществах сама художественная форма становится объектом внимания идеологов и надзирателей за литературным процессом.

По той же причине постоянно подвергался цензурным нападкам другой печатавшийся в 30-е годы поэт, входивший в ОБЭРИУ, — Николай Заболоцкий. До ареста в 1938 г. ему, хотя и с большим трудом, удалось провести сквозь цензурные рогатки две книги — «Столбцы» (1929) и «Вторую книгу» (1937).

Поэт, активно сотрудничавший в «Звезде», отрывок из поэмы «Торжество земледелия» напечатал впервые в № 10 за 1929 г. Попытка опубликовать ее полностью вызвала бурю как в цензурных кругах, так и в погромной литературной критике. Номер «Звезды» (1933, № 2–3) был задержан на так называемом «последующем контроле» — «...из-за помещенной в журнале поэмы Н.В.Заболоцкого* “Торжество земледелия”, крайне путаного в идеологическом отношении произведения».

Поэма была все же опубликована, но с большими купюрами и искажениями текста.

Поднаторевший в таких делах правоверный критик В.Ермилов сразу же откликнулся статьей в «Правде» (21 августа) под названием, говорящим самое за себя: «Юродствующая поэзия и поэзия миллионов», назвав ее «клеветой на колхозное движение и проповедью кулацкой идеологии».

* Правильно: Н.А.Заболоцкого.

Вместе с потаенными цензурными циркулярами такие статьи оставили выход уже набранной в корректуре книги стихов Заболоцкого, которая должна была выйти в Ленинграде в 1933 году. Имя поэта предается остракизму. В 1937 г., еще до ареста Заболоцкого, М.М.Зошенко решил выступить в несколько необычном для себя жанре, написав для ленинградского журнала «Литературный современник» статью «О стихах Заболоцкого». Согласно «Ежедекадной сводке важнейших вычерков и конфискации, с 1 по 10 января 1937 г.», посланной Ленгорлитом в Обком партии, статья Зошенко была «... задержана в рукописи и возвращена для исправления, поскольку в ней по существу бралась под защиту известная кулацкая поэма Заболотского (так! — А.Б.)»

Видимо, Зошенко не пошел на «исправления», и статья его так и не появилась в печати. Излишне говорить, что после ареста Олейникова начинается полоса полного замалчивания самого имени поэта: как и другие его собратья по обэриутству, он был, если вспомнить оруэлловский термин, объявлен *«нелицом»*.

Как уже говорилось ранее, обэриуты практически не увидели при жизни своих опубликованных «взрослых» произведений. Коллективный сборник, получивший по одному из стихотворений Д.Хармса название «Ванна Архимеда», подготовленный в 1929 г., так и не увидел света. Частично помешали издательские барьеры, до собственно цензуры сборник так и не дошел, но основную негативную роль сыграли существенные расхождения между обэриутами и «младоформалистами», собиравшимися принять участие в сборнике. «Главными обидами 1929-го, — вспоминала Л.Я.Гинзбург, — был отказ ГИЗа от сборника по современной поэзии и наш собственный отказ от «Ванны Архимеда» (с обэриутами) ... В этом боевом, молодом, несколько вызывающем, вообще ответственном сборнике исторический смысл имели только стихи — Заболоцкий, Введенский, Хармс, остальное оказывалось довеском».

Но главной причиной неудачи, как можно полагать, явилась та, что инициаторы издания сборника опоздали, поезд, как говорится, ушел: именно с 1929 г. заканчиваются игры с «попутчиками» и некоторыми авангардистами (в наибольшем фаворе у властей были на первых порах футуристы), начинается эра полного единомыслия в литературе, «национальной по форме, социалистической по содержанию»... По той же причине безуспешной оказалась последняя попытка обэриутов, в данном случае Олейникова, напечатать в советском журнале свои произведения. Как сообщается в отчете Ленгорлита за июнь 1933 г., им из № 6 «Звезды» «...сняты стихи Н.Олейникова и вводная статья к ним. Мотивы снятия — некритическая подача произведений Олейникова, сатирическая направленность которых неясна и недоходчива до широкой читательской массы».

Бросается в глаза поразительное сходство доводов и самой лексики отзыва цензуры с претензиями, которые на протяжении десятиле-

тий выдвигались ею и официозной критикой к творчеству Зощенко: не случайно в том же отзыве о 6-м номере «Звезды» за 1933 г. упоминается печатавшаяся в нем его повесть «Возвращенная молодость», из которой цензура вычеркнула несколько «неудобных мест». Надсмотрщики за литературой постоянно обвиняли писателя в «мещанстве», «пошлости» и «бездуховности», спекулятивно приравнивая автора к его персонажам, «не замечая» придуманной им (как и Олейниковым) литературной маски.

* * *

«Исторические романы и детские книги — для многих сейчас способ писать вполголоса. Самоограничение этих жанров успокаивает совесть писателя, не договорившего свое отношение к миру»; — записала Л. Я. Гинзбург в 1929 г. К этим жанрам, составляющим в советских условиях некую «эскапированную нишу», можно было бы добавить и фантастику, и переводы, в которые уходили крупнейшие русские поэты. Но это был не только «способ писать вполголоса», но и способ физического выживания. С каким отвращением говорила всегда Ахматова о «переводческой каторге», с не меньшим — Хармс, приходивший в отчаяние от надетого на себя подневольного ярма «детского писателя»... Иное дело, конечно, что такой вынужденный уход в сопредельные, а порой и далекие области творчества приводил к появлению блистательных переводов мировой поэзии и прекрасных книг для детей. Как известно, обэриуты — Олейников и Хармс, главным образом, — создали немало произведений, вошедших как принято говорить, в «золотой фонд» детской литературы. К участию в ней привлек их С. Я. Маршак, создавший уникальное сообщество людей, влюбленных в детскую литературу. Он и его сотрудники выискивали талантливых авторов в самых разных кругах — и в среде так называемых «простых», «бывалых» людей, обладавших литературными способностями, — моряков, путешественников и т. д., и среди поэтов-авангардистов, которые в начале 30-х годов были выброшены на обочину, а, точнее, вообще за пределы литературного процесса.

Маршаковская группа, «литературно-педагогический коллектив единомышленников», как назвала ее Лидия Чуковская, была полностью разгромлена в 1937 г., но «генеральная репетиция» разгрома проведена была в 1932 г. — именно в связи с обэриутами, «окопавшимися» в детском секторе Ленгосиздата, чья «... подрывная деятельность выразилась в изготовлении и распространении литературных произведений, являющихся по своему содержанию идеологически вредными, враждебными целям воспитания подрастающего поколения».

Все они были арестованы и проходили по 58-й статье «за организацию на основе имеющихся у них контрреволюционных убеждений» ан-

тисоветской группы в Детском секторе ЛЕНГИЗа. Расправе предшествовала «артподготовка»: статьи Н.К.Крупской о «чуковщине», ряда рапповских критиков, выступавших против волшебной сказки и игрового начала в книгах для детей, и, увы, Ольги Берггольц, молодой тогда и целеустремленной комсомолки, напечатавшей в многотиражке Ленгосиздата статью под названием, не оставлявшим никаких надежд: «Белогвардейцы в детской литературе». Еще в 1929 г. «Литературная газета» обратила внимание на то, что «Маршак... культивирует немислимые, чудовищные вещи, которые ни по формальным признакам, ни, тем более, по своему содержанию, ни в какой мере не приемлемы». Тогда же в дело включился Главполитпросвет, руководимый Крупской, наблюдавший за составом массовых и детских библиотек. Во время периодически проводившихся так называемых «очисток» их от контрреволюционной и «антипедагогической» литературы детские книги обэриутов непременно попадали в число изымаемых. Издававшийся Главполитпросветом журнал «Красный библиотекарь» регулярно помещал «Списки книг, не рекомендуемых для массовых библиотек». В один из них (1930, № 1, с. 73–75) попали равняя книга Заболоцкого «Зменное яблоко» (М.-Л., ГИЗ, 1927) с такой ремаркой: «Неправдоподобный рассказ», а также отдельно изданный в том же году рассказ Хармса «О том, как старушка чернила покупала» — с таким доводом: «Вполне бессмысленный рассказ о старушке, которая, когда ей понадобились чернила, пыталась купить их у продавца рыбы, в мясной лавке, овощной и т. д.».

Возвращенные из ссылки обэриуты вновь начали сотрудничать с Лендетиздатом, но единственная «ниша» продолжала оставаться далеко небезопасной. Чаще всего в цензурных документах встречается имя Олейникова, в частности, в связи с редактированием им на первых порах, а затем активным участием (в основном под псевдонимом «Макар Свирипый») в двух лучших детских журналах — в знаменитых «Чиже» и «Еже», выходящих в Ленинграде соответственно в 1930–1941 и 1928–1935 гг. Сами «аполитичные», «безыдейные» названия журналов вызывали раздражение — тем более, участие в них поэтов-обэриутов, что отбрасывало, конечно, тень на сами издания, делало их подозрительными по части идеологии. Они просматривались буквально на просвет. Уже первые номера «Ежа» подверглись заушательской критике.

Детские книги обэриутов, хотя и посвященные порой «революционной тематике», выглядели как-то подозрительно в глазах цензурного начальства. Не раз переиздававшаяся книга Н.Олейникова «Боевые дни» подвергалась постоянной цензурной «чистке»: из нее вытравлялось все, что не совпадало с «текущим моментом». Так, в 1935 г. задержано было уже на стадии верстки очередное издание «Боевых дней» (до этого, начиная с 1928 г., книга выдержала 6 изданий): «Мотивы задержания: в книге имеется ряд политических неудовлетворительных постановок — «Долой войну» звучит как основной лозунг Октября.

Борьба за власть ведется только солдатами, почти без участия рабочих; недооценка организации сил революции; изображение юнкеров — защитников Временного правительства — как несчастных, обманутых, растерянных, немедленно сдающих свои позиции. Книга переделывается». В 1937 г. запрету подверглась его же книга «Удивительный праздник», которая должна была выйти под названием «1 Мая». Вполне понятно, что после ареста обэриутов все без исключения их детские книги попали в запретительные списки Главлита и были уничтожены (если не считать нескольких экземпляров, сохранившихся в библиотечных узниках — спецхранах крупнейших библиотек).

Участие обэриутов в детской литературе переполнило чашу терпения приставленного к маршаковской группе цензора, пославшего своему и партийному начальству два доноса, датированных 9 октября 1935 г. и 2 ноября 1937-го, имевшие такую «шапку»:

«СЕКРЕТНО»

Начальнику Ленгорлита.

Копия: в Обком ВКП(б). Особый сектор.

Докладная записка о положении в Ленинградском отделении
«Издательства детской литературы»
цензора Чевычелова.

Во втором доносе, посланном, когда Олейников и многие другие авторы и редакторы детского сектора были уже арестованы, он, в частности, писал:

«Заведомо антисоветские типы в Лендетиздате оберегались, выдвигались в актив. Так, например, исключительную любовью Маршака, помимо троцкистки Васильевой, пользовались непосредственные воспитанники Маршака — Белых и Пантелеев. Первый из них в прошлом году был осужден органами НКВД за распространение собственного, исключительно гнусного контрреволюционного произведения. Писатели Хармс и Введенский в прошлом участвовали в подпольной организации, построенной на платформе восстановления монархии. После отбытия наказания они до сих пор остаются авторами издательства... Более того — когда Введенскому было отказано в выдаче ленинградского паспорта, издательство исходатайствовало ему паспорт через Москву.

Кроме отмеченных выше авторов маршаковского «актива», из которых почти все арестовывались ранее или арестованы сейчас, имеется еще несколько авторов, кои пользуются до сих пор хорошим приемом издательства (...) Наиболее ответственные политические темы поручали людям, которые заведомо не могли с ними справиться. Так, книгу о Ленине поручили ныне арестованному Олейникову, в которой он открыто объявлял своим девизом: «Да здравствует пошлость!». Издаются недоброкачественные и даже политически вредные книги на современные советские темы. Так, переиздаются книги Олейникова «1-е Мая» и книга «Боевые дни», извращающие революционные события 1917 г. Обе эти книги в цензурном порядке были изъяты нами из производства». Цензор предлагает «...разоб-

лачить до конца всю вредительскую издательскую практику маршак-ской школы и самого Маршака, очистить издательство от всех чуждых и подозрительных людей и ликвидировать как можно быстрее последствия вредительства (...) с уроками диверсионной работы группы Маршака ознакомить других цензоров, поскольку методы вражеской группы в Лендетиздате могут иметь место и в других издательствах».

«Редакция была разгромлена, — вспоминает А.И.Любарская, адресат ряда шуточных посланий Олейникова, о роковом сентябре 1937 г. — Маршака в те дни в Ленинграде не было. Он вернулся из отпуска к страшной беде — гибели его учеников и друзей, доверивших ему свою судьбу».

* * *

Имена обэриутов, как и их творчество, на четверть века полностью выпали из литературного обихода. Точнее, можно даже говорить о полустолетии, поскольку, несмотря на наступившую «оттепель» (не говоря уже о «застое») и их формальную реабилитацию, о них говорили сквозь зубы и крайне неохотно. В это время смогли издать лишь довольно полного Заболоцкого и некоторые «детские» стихи Хармса. В 1-м томе славившейся своим либерализмом «Краткой литературной энциклопедии», начавшей выходить в 1962 г., вообще отсутствуют имена Введенского и Вагннова, хотя последний вроде бы и не «проходил по 58-й» (в 9-й «дополнительный» том все же позднее удалось включить небольшую справку о нем).

Имена Олейникова и Хармса в дальнейшем появляются, но об «обэриутстве» их предпочитают не говорить: они проходят по ведомству «преим[ущественно] детской поэзии». С большим трудом пробивались в печать немногие стихи Олейникова. Об этом свидетельствует, в частности, цензурный отзыв о ленинградском ежегоднике «День поэзии» за 1964 г. Цензор Т.И.Панкреев в докладной записке начальнику Леноблгорлита А.М.Арсеньеву сообщал, что «...содержание книги вызывает ряд возражений политического характера». «Мы являемся современниками грандиозных свершений советских людей. Страна разворачивает могучее соревнование за достойную встречу 50-летия Великого Октября. И, естественно, читатели ждут волнующих произведений о наших отцах, смело пошедших на штурм твердынь капитализма, построивших социалистическое государство...»

Как мы видим, «блюститель истины» не ограничивался, однако, «вычитыванием и вычеркиванием» текстов в детских книгах, но и прибегал к прямым политическим доносам, которые в большинстве случаев приводили к физическому «вычеркиванию» авторов этих текстов из жизни. Тем самым он подтвердил справедливость утверждения Генриха Гейне, говорившего что «там, где начинают с уничтожения книг, неизбежно заканчивают уничтожением людей».

Арлен БЛЮМ

ГОСПОДИН СПЕЦХРАН

Лет семьдесят тому назад такого слова в русском языке не существовало, — Спецхран или Отдел специального хранения. Оно появилось в социалистическую эпоху во множестве библиотек СССР, а особенно — в главных, таких, как Ленинская в Москве, Государственная публичная библиотека и Библиотека Академии Наук в Ленинграде.

Спецхран... Это была «святая святых», доступ в которую был разрешен с особого соизволения административных и партийных органов, стало быть — далеко не каждому.

* * *

У любой книги, как и у человека — своя судьба. Какой бы ни была древней цивилизация, — с л о в о, почему-либо запрещенное, скрытое, — существовало всегда. Рожденное вольным, свободным оно по чьему-то суровому приказу становилось тайным: с л о в о м-у з н и к о м...

А — дальше?

А дальше — либо на годы и века оно оставалось в заточении, либо подвергалось уничтожению — незримо для всех или же для всеобщего обозрения: сжигалось. Публично.

Семьдесят лет жил и процветал на Советской земле Закон. Особый Закон для книг-узников. Только подчиняясь его параграфам, глаз человеческий имел право заглянуть в заветные страницы. Но как часто в толще того или иного тома читатель не находил искомым страниц. Книгу, не преданную огню — отдавали на расправу партийным цензорам-хирургам. Они исторгали из нее нежеланные — мятежные, по

ния». Матвей Петрович — профессор, заведующий кафедрой теоретической физики Ленинградского Университета, талантливый популяризатор науки, с которым мы вместе обитали в камере внутренней тюрьмы НКВД в 1937 году — был расстрелян, а книги его — упрятаны.

На полки Спецхрана БАНа были уложены также труды крупнейших наших литературоведов В.М.Жирмунского, Г.А.Гуковского, Б.М.Эйхенбаума. Почему, по какой причине? Да очень просто — либо они сами (как Г.А.Гуковский), либо кто-то из редакторов издания попадали под ярлык «врага народа».

Но тем, что на ту или иную книгу, ввергнутую «во Спецхран», накладывалось клеймо «запрещенной», дело не ограничивалось. Дошло до того, что в выдаче книг, присланных **лично** на имя адресата из-за границы, тому бывало отказано. Они передавались на «специальное хранение». Ученым с мировым именем — Д.С.Лихачеву, М.П.Алексееву, директору Института русской литературы В.Г.Базанову приходилось умолять, чтобы им давали хотя бы «на просмотр» адресованную им литературу...

Список запрещенных авторов был пестрым; он непрестанно пополнялся: Каменский и Сологуб, Гумилев и Корней Чуковский, Зайцев и Замятин... Они стояли на полках до «особого разрешения» пользоваться ими удачливому читателю, или — «списывались». Именно так, вполне деликатно, называлась процедура уничтожения того, что полагалось казнить. Среди них почетное место занимали книги Иосифа Бродского.

С годами Господин Спецхран, разумеется, тучнел и полнел. Как сообщает К.В.Лютова*, к 1990 году только в Отделе специального хранения Библиотеки Академии Наук числилось 326 тысяч книг. Огромная армия воинов Мысли!

Это были не миллионы и миллиарды слов, — это было взятое в цепи **С л о в о**.

И то, что ныне этих цепей нет — высокий символ современного бытия.

Захар ДИЧАРОВ

* Лютова К.В. Спецхран Библиотеки Академии наук. Из истории секретных фондов. СПб., 1999.

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ

... О том, что существует книга с таким названием, я узнал случайно. В одном из номеров газеты «Русская мысль», что издается в Париже, в маленькой заметке «Розыски» было сказано: «Комитет “Они были первыми” в Праге и издательство “Быстров и сыновья” ищут любую информацию о судьбе Ивана СОЛОНЕВИЧА, автора книги “Россия в концлагере”, изданной во второй половине 30-х годов в Праге, в Болгарии, во Франции и Англии, в Германии и США... Также разыскиваем потомков и наследников Николая КИСЕЛЕВА-ГРОМОВА, автора книги “Лагеря смерти в СССР”, которая была издана в середине 30-х годов в Чехословакии и потом в Германии и во Франции».

Я пустился в поиски этих книг. Книга Ивана Солоневича нашлась в Российской национальной библиотеке; книги второго автора найти не удалось.

Отпечатанная на плохой серой бумаге, книга эта, крупного формата, похожа на толстый журнал. Я прочитал все ее 512 страниц. Их было трое — Иван Солоневич, его сын Юрий и его брат Борис. Арестованные в 1933 году, они были брошены за колючую проволоку то в Соловки, то в Беломорско-Балтийском лагере. В этих страницах — всё о тех мрачных временах, о лагерных зонах, об их населении, о муках и смертях.

«Россия в концлагере»... Спустя два года после ареста Солоневичи сумели совершить побег из лагеря в Финляндию, откуда они перебрались в Берлин. В 1936 году книга увидела свет задолго до появления работы А.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Мы даем здесь отрывок из книги Ивана Солоневича, послесловие и текст «От издателя» П.Р.Ваулина (Вашингтон. США, 1953).

Захар ДИЧАРОВ

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ

Этап

Каждую неделю ленинградские тюрьмы отправляют по два этапных эшелона в концлагеря. Но так как тюрьмы переполнены свыше всякой меры, ждать очередного этапа приходится довольно долго. Мы ждали больше месяца. Наконец отправляют и нас. В полутёмных коридорах тюрьмы снова выстраиваются длинные шеренги будущих лагерников, идет скрупулезный, бесконечный и в сущности никому не нужный обыск. Раздевают до нитки. Мы долго мерзнем на каменных плитах коридора. Потом нас усаживают на грузовики. На их бортах — конвойные красноармейцы с наганами в руках. Предупреждение: при малейшей попытке к бегству — пуля в спину без всяких разговоров. Раскрываются тюремные ворота, и за ними целая толпа, почти исключительно женская, человек пятьсот. Толпа раздается перед грузовиком, и из нее сразу взрывом несутся сотни криков, приветствий, прощаний, имен. Всё это превращается в какой-то сплошной нечленораздельный вопль человеческого горя, в котором тонут отдельные слова и отдельные голоса. Всё это — русские женщины, изможденные и истощенные, пришедшие и встречать и провожать своих мужей, братьев, сыновей. Вот где, поистине, «долюшка русская, долюшка женская»... Сколько женского горя, бессонных ночей, невидимых миру лишений стоят за спиной каждой мужской судьбы, попавшей в зубцы ГПУской машины. Вот и эти женщины. Я знаю — они неделями бегали к воротам тюрьмы, чтобы узнать день отправления их близких. И сегодня они стоят здесь, на январском морозе, с самого рассвета; на этап идет около сорока грузовиков, погрузка началась с рассвета и кончится поздно вечером. И они будут стоять здесь целый день только для того, чтобы бросить мимолетный прощальный взгляд на родное лицо. Да и лица-то этого, пожалуй, не увидят: мы сидим, точнее валяемся, на дне кузова и заслонены спинами чекистов, сидящих на бортах. Сколько десятков и сотен тысяч сестер, жен, матерей вот так бьются о тюремные ворота, стоят в бесконечных очередях с «передачами», сэкономленными за счет самого жестокого недоедания! Потом, отрывая от себя последний кусок хлеба, они будут слать эти передачи куда-нибудь за Урал, в карельские леса, в приполярную тундру. Сколько загублено женских жизней вот так, мимоходом, прихваченных чекистской машиной. Грузовик еще на медленном ходу. Толпа, отхлынувшая было от него, опять смыкается почти у самых колес. Грузовик набирает ход. Женщины бегут рядом с ним, выкрикивая разные имена. Какая-то девушка, растрёпанная и заплаканная, долго бежит рядом с машиной, шатаясь, словно пьяная и каждую секунду рискуя попасть под колёса. — Миша, Миша, родной мой,

Миша! ... Конвоиры орут, потрясая своими наганями: — Сиди на месте! Сиди, стрелять буду! Сколько грузовиков уже прошло мимо этой девушки и сколько еще пройдет! Она нелепо пытается схватиться за борт грузовика, один из конвоиров перебрасывает ногу через борт и отталкивает девушку. Она падает и исчезает за бегущей толпой. Как хорошо, что нас никто здесь не встречает. И как хорошо, что этого Миши с нами нет. Каково было бы ему видеть свою любимую, сбитую на мостовую ударом чекистского сапога... И остаться бессильным. Машины режут. Люди шарахаются в стороны...

Иван СОЛОНЕВИЧ

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Иван Лукьянович Солоневич, автор «РОССИИ В КОНЦЛАГЕРЕ» и многих других прекрасных книг, прожил поистине трудную и богатую жизнь. Он родился 14 ноября 1891 года и с 16-ти лет стал самостоятельно работать, продолжая учиться. Он много пережил, много видел, много испытал. И надо было быть таким самобытным, честным, упрямым, надо было пройти всё то, что он прошел, чтобы написать такую всеобъемлющую книгу, которая так правдиво и ярко показала всю нашу Россию, стонущую в страшном коммунистическом концлагере. «Отец мой — крестьянин», — говорит о себе Иван Лукьянович. Поэтому можно сказать, что он вышел из народа. Но лучше сказать иначе. Иван Лукьянович никуда из народа не вышел, он так и остался в народе. Кем бы он ни был по своей профессии, как бы он высоко ни восходил по культурной лестнице интеллигента, по духу он так и остался навсегда крестьянином. Стоит только вспомнить, с какой любовью описывает он крестьян — мучеников тюрем, этапов, концлагерей, чтобы это понять. Он писал душой и кровью. Ненависть его против коммунизма так же полна и совершенна, как и его любовь к России. Вот почему чекисты много раз арестовывали его, три раза приговаривали к смертной казни и трижды покушались на его жизнь за границей. Одно из этих покушений закончилось гибелью его супруги Тамары Владимировны и его секретаря. Иван Лукьянович умер 24 апреля 1953 года. Жизнь этого поистине великого человека является примером того, как надо ненавидеть врагов России и любить родную землю. Книга Ивана Лукьяновича «РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ» — это безусловно самое лучшее, самое правдивое из всего того, что написано о жизни в современной России. Она должна стать настольной книгой каждого русского человека в эмиграции. Потому я и печатаю

ее, чтобы каждый человек мог приобрести эту книгу: «РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ» является страшной книгой не только для коммунистических палачей в самой России; она одинаково страшна и для местных марксистов, троцкистов, социалистов и прочей несущей погибель нечисти. Русские люди! Читайте эту книгу, чтобы понять всё происходящее у нас на Родине. Читайте сами и давайте читать другим, чтобы все видели, что коммунизм не может «совершенствоваться». Коммунизм всё тот же, что и 40 лет назад. Те же концлагеря. Та же колхозная кабала. Те же чекистские убийцы. Только всё это действительно «усовершенствовалось» и стало еще более страшным. Читайте и боритесь!

П. Р. ВАУЛИН

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Время событий, описанных в этой книге — четверть века тому назад. Но эти 25 лет ничего не изменили в самой сущности того, о чём она написана. Эта книга сегодня так же нова, как и 25 лет назад. Да и не было с тех пор ничего лучшего на эту тему. Было много напечатано книг о России в коммунистическом концлагере. Большинство их только описывало, и лишь очень немногие объясняли. Но ни одна из них так и не объяснила. «РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ» объясняет. Даже для тех, которые сами прошли между жерновами, всё испытали, всё видели, всё знают — даже для них многое становится яснее, почему было, есть и будет именно так, а не как-либо иначе, пока наша Родина находится в руках коммунистических «скорпионов в банке».

Юрий СОЛОНЕВИЧ*

СПРАВКА

Из документов архивного фонда УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и области установлено, что

СОЛОНЕВИЧ Иван Лукьянович
родился 1 ноября 1889 года в д. Новоселки, Гродненской губ (Польша),
окончил 2 курса Университета
(юридический факультет), литератор,
до ареста проживал по адресу:
г. Москва, ст. Салтыковка, Луго-
вая ул., д. 12.

* Сын автора.

Арестован 9 сентября 1933 года.

Обвинялся в том, что занимался шпионской деятельностью в пользу Германии, являясь антисоветски настроенным, организовал к/р группу лиц, дважды ставившей своей целью вооруженный нелегальный переход границы СССР, имея непосредственную связь через германского сотрудника посольства ВИРТ— переправлял ценности и материалы своей жене в Германию с тем, чтобы при переходе границы приступить путем использования их в печати к компрометации Советского Союза, т. е. в пр. ст. 58—6 и 58—10.

Постановлением Тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 28 ноября 1933 года осужден к ссылке в концлагерь на 8 лет.

В августе 1934 года, отбывая наказание, совершил побег из лагеря НКВД.

Солоневич И.Л. реабилитирован Заключением Военной Прокуратуры Ленинградского военного округа от 20 июля 1989 года.

Иван СОЛОНЕВИЧ (1851—1953)

Библиография

Наша страна:

Т. I. Великая фальшивка Февральской и др. статьи, 1954.

Т. II. Диктатура слоя. Буэнос-Айрес, 1954; 1956.

Белая империя. Шанхай, 1941.

Две силы. Роман из советской жизни. Борьба за атом.

Владычество над миром.

Посмертное издание. Журнал «Свободное слово Карпатской Руси», 1968.

Диктатура импотентов. Буэнос-Айрес. Социализм. Его пророчества и их реализация, 1949.

Народная монархия. «Феникс». 1991, Буэнос-Айрес.

Роман во Дворце труда. Буэнос-Айрес, 1953.

Россия в концлагере. Прага и др. Нью-Йорк, 1953.

Политические Советские зарисовки. Голландия. Россия. София, 1958.

Хозяева. Буэнос-Айрес, 1952. Рис. Ю.Солоневича.

Что говорит Иван Солоневич? Буэнос-Айрес, 1954.

С п и с о к использованной литературы

История советской политической цензуры. М., 1997, РОССПЭН.

Писатели Ленинграда. Библиографический справочник. Лениздат, 1982.

Русские писатели. Библиографический словарь. 1800–1917 г. М., тт. 1, 2, 3, 4, 1992–1999 г.

Документальные источники:

Центральный архив ФСБ Российской Федерации, г. Москва.

Архивно-следственный отдел Управления ФСБ по г. С.-Петербургу и Ленинградской области.

Пушкинский Дом (Институт русской литературы РАН).

Архив Российской национальной библиотеки, С.-Петербург.

Архив Библиотеки Российской Академии наук.

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО, ВЗЯТОЕ В ЦЕПИ <i>Захар Дичаров</i>	4
ЗНАМЕНИТОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ <i>Захар Дичаров</i>	26
АРЕСТЫ... АРЕСТЫ... <i>Михаил Ванюков</i>	34
СОРАСПЯТИЕ АХМАТОВОЙ <i>Алексей Павловский</i>	38
АННА АХМАТОВА И ТЕНИ ЭПОХИ <i>Захар Дичаров</i>	44
«Я ЗВЕЗД КОММУНИЗМА НЕ СМОГ РАЗГЛЯДЕТЬ...» (О <i>БОРИСЕ БРИКЕ</i>) <i>Захар Дичаров</i>	50
ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА <i>Захар Дичаров</i>	56
«ДЕТСКАЯ ЗОНА» УСОЛЬЛАГА И СТРАНА СОВЕТОВ <i>Анна Бердичевская</i>	61
О ЛЬВЕ ГУМИЛЕВЕ <i>Захар Дичаров</i>	67
«Повода для ареста не давал» <i>Лев Варустин</i>	68
СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ <i>Даниил Гранин</i>	91
ДИАЛОГИ <i>Захар Дичаров</i>	103
ПУНКТ «ПЯТЫЙ» — КРОВЬ И ЗЛОДЕЙСТВО	141
I. Вспомним <i>Захар Дичаров</i>	141
II. Соломон Михоэлс и его театр <i>Евгений Биневиц</i>	143
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА — ТЮРЕМНЫЙ ПОЭТ <i>Захар Дичаров</i>	147
ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ	157
ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО <i>Евгения Щеглова</i>	162
РАСПЯТОЕ СЛОВО. ДОКУМЕНТЫ <i>Захар Дичаров</i>	168
ХРАНИТЕЛЬ ВЕЧНОСТИ (от составителя) <i>Захар Дичаров</i>	178
Возвращение из небытия <i>Борис Казанков</i>	179

СТРАХ <i>Вениамин Каверин</i>	186
ОСОБОЕ ИНТЕРВЬЮ	197
На палачах крови нет? <i>Евгений Лукин</i>	197
СТИХИ СЕРГЕЯ МАЛАХОВА	203
Моему деду с любовью и печалью <i>Наталья Стругац</i>	207
ЧЕРНЫЕ ДНИ В ЕГО ЖИЗНИ... (<i>Вспоминая Самуила Яковлевича Маршака</i>) <i>Борис Камир</i>	209
ТА САМАЯ КОЛЫМА <i>Феодора Михайлова</i>	214
СОВЕТСКАЯ ВОСПИТАННИЦА <i>Кертту Нуортева</i> (<i>Перевод с финского А.Иголайнена</i>)	227
ОБЭРИУТЫ ПОД ЦЕНЗУРНЫМ ПРЕССОМ (<i>По СЕКРЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ Главлита</i>) <i>Арлен Блюм</i>	244
ГОСПОДИН СПЕЦХРАН <i>Захар Дичаров</i>	253
РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ <i>Иван Солоневич</i>	256
Список использованной литературы	261

РАСПЯТЫЕ

Писатели — жертвы
политических репрессий

Выпуск 6

СЛОВО, ВЗЯТОЕ В ЦЕПИ

Составитель

Захар Львович Дичаров

Главный редактор *С.В.Цветков*

Редактор *М.В.Гонне*

Художник *Н.С.Цветкова*

Выпускающий редактор *Е.П.Николаева*

Технический редактор *Г.В.Мисюль*

Корректор *А.М.Гроссман*

Компьютерная верстка *Л.М.Кузьмичевой*

Лицензия ЛР № 070937 от 15 мая 1998 г.

Сдано в печать 21.08.2000. Формат 60x84 1/16

Печать офсетная. Офсетная бумага № 1

Гарнитура Литературная. Усл. печ. л. 15,35

Тираж 1500 экз. Заказ № 114

Издательство

Русско-Балтийский информационный центр

БЛИЦ

191011, Санкт-Петербург, Думская ул., 3

Т.: (812) 279-52-91 (отдел реализации);

факс: (812) 314-87-85; e-mail: blitz@blitz.spb.ru

www.blitz.spb.ru.